

АБДУЛЛА КАХХАР

ОГНИ КОШЧИНАРА

Авторизованный перевод
А. САДОВСКОГО и С. МАЛАШКИНА



1

— Как волка ни корми, он все в лес глядит, — запирая кладовую на замок, ворчала старуха. — Зажидрел от хорошей жизни, вот и бесится. Видно, соскучился по равному халату и веревочному поясу, в лохмотьях ходить захотел.

Сидыкджан не раз слышал такие слова от тещи, но никогда не возражал ей, будто они относились не к нему, а к кому-то другому. Сегодня он не выдержал и ответил теще едко, насмешливо:

— От остатков еды ненасытного, мать, не очень-то разжиреешь.

Старуха разозлилась. Подняв с земли корзину с хлопковым волокном и прялку, вынесенные ею из кладовой, она пошла в свою комнату, сердито ворча.

На террасе сидела жена Сидыкджана и кормила ребенка. Она молча слушала перепалку мужа с матерью. Но когда Сидыкджан встал и направился к калитке, на улицу, она остановила его:

— Пойдите! Сначала решайте, потом уходите.

Сидыкджан остановился, посмотрел на жену. Поблуднев от волнения, она вскочила, положила ребенка в люльку и начала сильно, рывками качать его.

— Что ты сказала? «Решайте, потом уходите»? Я же никуда не собирался уходить. Если хочешь, чтобы я ушел, так говори прямо. Ничего у меня нет в этом доме, кроме вот этого ребенка. Да и он наполовину твой... Хочешь, чтобы я ушел?

— Откажитесь от своего намерения. Не откажетесь — уходите!

— Я же говорил тебе, что и отец твой согласен. Не веришь — спроси у него.

— Отец пусть как хочет, а я не согласна!

Сидыкджан махнул рукой и, не сказав больше ни слова, вышел на улицу.

А в доме старуха все ворчала, ругая непокорного зятя, потом принялась за дочь:

— Лучше бы тебе, сука, сдохнуть, чем приласкать бродячего пса. Он отгрызет тебе голову. Добро бы только твою одну...

Дочь, не отвечая, вся сжалась, тихо и горько заплакала. Она не в первый раз слышала такие слова от матери; они, как острый нож, кололи, вопзаясь в самое сердце. Но ничего не ответила она в эту горькую минуту. Она вынуждена была держать язык за зубами. Задумавшись и роняя слезы, она вспоминала свою великую вину перед родителями, которая заставляла ее безмолвно сносить все обиды.

Было это несколько лет назад, весной... Наседка сидела на яйцах в кладовке и вдруг закудаhtала, вылетела во двор, как очумелая, и порхнула на ту сторону дувала — в сад Сабирджана-кары. Девушка перелезла в соседский сад и погналась за наседкой. Но курица забралась в густые заросли шиповника на берегу большого арыка и притаилась. Девушка долго, но тщетно старалась выманить ее из зарослей и только измучилась: поколола и поцарапала о колючки руки и ноги, порвала подол шелкового платья. В то самое время Сидыкджан, батрак Сабирджана-кары, раскрывал на другом берегу арыка инжировые деревья и украдкой наблюдал за девушкой. Сидыкджан заговорил с ней. Она отмалчивалась, боясь отца: вдруг отец узнает, что она не только была в соседском саду, но и разговаривала с Сидыкджаном? Отец был очень строг и частенько учил дочь плеткой. И все же девушка скоро позабыла и строгого отца и наседку, притаившуюся под шиповником. Она не нашла суровых слов, чтобы сразу оттолкнуть от себя озорника, и он все смелее заигрывал с ней, а она только тихо бормотала: «Какой вы нехороший».

С того дня Сидыкджан, работая в саду, весело напевал. Девушка невольно прислушивалась к его голосу, и он волновал ее, пробуждая в ней мечты, непонятные и смутные. Они росли с каждым днем все больше и боль-

ше, радуя и в тоже время пугая ее. И, забегая в соседский сад, она уже не думала ни о чем; ей нравилось встречаться с опасностью и вовремя убегать от нее. В течение весны и лета, по своему ли желанию или потому, что Сидыкджан «никак не отставал», девушка побывала еще несколько раз в соседском саду. Осенью ей стало ясно, к чему привели шутки и заигрывания с Сидыкджаном. В тот самый день пришли сваты из одного богатого дома. Девушка мысленно представила себе все, что должно было неизбежно разыграться на другой день после свадьбы, и ее охватил смертельный страх. Она повалилась в ноги тетке, сестре отца, и призналась ей во всем.

Старуха едва не потеряла сознание. А девушка до позднего вечера просидела в чулане. Покорившись своей горькой судьбе, она, как приговоренная к казни, ожидала возвращения отца и распухшими от слез глазами изредка поглядывала через щелку на улицу. Вечером вернулся отец. В доме установилась страшная тишина. Потом послышались плач и ругань матери, сердитое покашливание отца. И снова стало тихо. Тишина, как петля палача, душила девушку. Так прошло довольно много времени. Девушка с ужасом ждала, когда ее позовут к отцу. Наконец шумно, со скрипом распахнулась дверь чулана и на пороге показалась тетка. Она дрожащим голосом прошептала:

— Шарафат, доченька, идем, отец простил тебя.

Шарафат посмотрела на тетку большими блестящими глазами, но не двинулась с места: то ли она не поняла, то ли не поверила. Разве отец простит?.. Видя, что Шарафат все еще не верит ей, тетка подошла к ней и, взяв за руку, шепнула:

— Идем, услышишь своими ушами.

Сведя племянницу вниз на террасу, она кивнула головой в сторону открытого окна. Шарафат на цыпочках подошла к окну и опустила на корточки, чтобы заглянуть в комнату. Там сидели родители. Мать плакала и сморкалась, а отец раздраженным голосом говорил:

— Не тебе учить меня уму-разуму. У меня хватало его раньше, хватит и на будущее. Все богатства, земля и вода приобретены мною не руками, а умом. Сидыкджан — пищий, без роду, без племени? Верно. Но что будешь делать, если сейчас время такое и все у них, у

вищих, в руках. Сама видишь, что они только вчера встали на ноги, а сегодня уже наступают нам на грудь; завтра наступят на горло. Так-то вот. Хочешь жить? Если хочешь, так постарайся избежать смерти.— И он, подумав, добавил:— Если время твое ушло, живи другим временем и... приспособляйся к нему!

На следующий день рано утром мать послала к сватам надежного человека сообщить, что дочь Зуннуна-ходжи не желает, мол, выходить за их сына, что у нее имеется свой избранник, а насильно выдавать за нелюбимого новые законы не позволяют. Сам Зуннуна-ходжа с важностью заявил: «Мне давно хотелось породниться с человеком, кости которого окрепли в труде, в я очень рад, что моя дочь почувствовала склонность к батраку Сидыкджану, а не к кому-нибудь другому». И в доме сразу начались хлопоты и приготовления к свадьбе.

Сидыкджан вошел в дом Зуннуна-ходжи. Но мать девушки никак не могла примириться с этим браком. Она постоянно попрекала дочь, говорила, что та опозорила весь род, выйдя за нищего, за батрака. Однако начавшаяся вскоре земельная реформа оправдала надежды Зуннуна-ходжи. Шарафат осмелела и стала резко отвечать на постоянную воркотню матери.

— Если бы не Сидыкджан, у отца отобрали бы рисовые поля, что в урочище Тарнау-баша,— как-то сказала она.

Слова дочери поразили старуху, и она, стараясь позабыть о прошлом зятя, примирилась с тем, что произошло: «всякое дело от аллаха». Главой семьи был по-прежнему Зуннуна-ходжа, хозяйством же зорко и крепко управляла старуха. А зять Сидыкджан работал, как вол.

Давно уже облетели цветы его любви к жепе. Поселившись в доме ее родителей, он вскоре понял, что она зла и легкомысленна. Замуж вышла за него по несчастью, и даже рождение ребенка не смягчило ее характера. Сидыкджан старался не обращать внимания на ее капризы.

Так тихо и спокойно шло время. Но спокойствие это кончилось: вот уже шесть месяцев идут в доме споры и распри. Нарушительницей мира, по мнению матери Шарафат, была мать Сидыкджана, Хадича-хола.

Всю жизнь Хадича-хола прожила в большой бедности. Как все люди ее положения, она быстро состарилась, но не поддавалась старости, была еще крепкой и бодрой. Сидыкджан подростком ушел из родного дома в кишлак Бахрабад и стал батрачить у Сабирджана-кары. А мать с младшим сыном Абиджаном остались там, предпочитая лучше жить в бедности, чем слушать попреки за каждый кусок хлеба. Она часто навещала старшего сына, но, когда он стал зятем богача, почувствовала себя курицей, высидевшей утенка. В доме Зунпуна-ходжи она бывала очень редко, не более одного-двух раз в год.

Прошло полгода с того дня, как Хадича-хола в последний раз приходила к сыну. Она пробыла у него целый день и вышла в обратный путь на закате солнца. Сидыкджан немного проводил ее, а когда вернулся домой, его охватила тоска. Он представил себе проселочную дорогу, темнеющее небо, одиноко и печально идущую мать. Почему он не отвез ее на лошади? Или не предложил ей остаться переночевать у него? Ведь она пришла издалека и только для того, чтобы повидать его. От этих мыслей у Сидыкджана запыло сердце. Он вышел во двор, вывел из конюшни коня, быстро оседлал его и, не обращая внимания на сердитый окрик тещи «куда?», выехал за ворота и поскакал. Догнав одиноко бредущую мать, Сидыкджан посадил ее на коня позади себя и повез в Бахрабад.

Когда он, отдохнув немного с дороги, собрался в обратный путь, зашел Урманджан.

Отец Урманджана — Али-ака был самым близким другом отца Сидыкджана. Оба они уже умерли, а их семьи еще больше сблизились; Сидыкджан и Урманджан росли вместе, как братья.

После земельной реформы бывшие батраки организовали сельскохозяйственную артель и выбрали Урманджана председателем. Урманджан все время звал Сидыкджана в свой колхоз в Бахрабаде: говорил с ним по-хорошему, дружески, а иной раз, видя, что его слова не доходили до сознания Сидыкджана, повышал голос и даже бранил его. Но из этого ничего не получа-

лось: Сидыкджан словно прирос к хозяйству тестя, так сильна была его покорность; воспитанная в нем с юных лет. В конце концов Урманджан охладел к другу. Редко теперь встречаясь с ним, он держался подчеркнуто холодно. И на этот раз, неожиданно увидев Сидыкджана, Урманджан угрюмо сказал:

— Считать тебя богачом не могу — нет у тебя даже лишней рубахи; считать нищим тоже нельзя — не ходишь с сумой, не побираешься.

Приняв это за дружескую шутку, Сидыкджан добродушно засмеялся. Но его смех рассердил Урманджана.

— Чего смеешься? Над собой смеешься-то, — сказал он тихо, но таким тоном, словно ударил плетью. — Да, да, посмейся над своей глупостью, — разум твой давно лежит в сундуке Зуннуна-ходжи и совсем заплесневел. Ну, чего вытаращил глаза? Сколько-нибудь ты умом соображаешь? В кишлак новая жизнь пришла, а ты ее не видишь. Строятся колхозы, идет борьба с кулаками, кровь льется. А во имя чего? Не знаешь. Не знаешь и того, что сделали, что делают твои товарищи — батраки и бедняки. Открой пошире глаза и посмотри вокруг. Спроси себя — почему оторвался от своих? Неужели ты, Сидыкджан, не знаешь, что, кто оторвался от своего стада, попадает в пасть волка? Ведь здесь, в нашем кишлаке, прежние твои товарищи считают тебя кулацким прихлебателем, они стыдятся назвать тебя своим земляком!

Сердце Урманджана, видно, давно было переполнено гневом. Он долго носил его в себе и вот теперь не стерпел, обрушился на бывшего друга.

Сидыкджан сидел, низко опустив голову, готовый провалиться сквозь землю, и молча слушал жестокие, но глубоко справедливые слова.

Урманджан ушел только в полночь. Сидыкджан остался почевать у матери. Остаток ночи он провел без сна — одолевали тревожные мысли. Сидыкджан вспомнил всю свою жизнь — батрачество у Сабирджана-кары, жизнь в доме богатого тестя и пришел к выводу, что остался в том же униженном положении, в каком был и у Сабирджана-кары. Потом он сравнил себя с другим своим приятелем, бедняком Хайдаром. Когда-то они вместе батрачили у Сабирджана-кары, переживали

горе и радость. В день свадьбы Сидыкджана Хайдар постеснялся войти в дом, сидел вместе с оборванными мальчишками и пищими во дворе и ел плов. Теперь Хайдар — секретарь сельсовета. Он приходит на свадьбы и поминки, как первый человек в кишлаке, садится на почетное место рядом со стариками и должностными лицами. И все зовут его не иначе как Хайдар Усманиев, товарищ Усманиев.

Почему же он, Сидыкджан, не присматривался к тому, что произошло и происходит в родном кишлаке и в других? Значит, и вправду, его разум, как сказал Урмаджан, заплесневел в сундуке Зуннуна-ходжи?

После долгих размышлений Сидыкджан решил вступить в колхоз.

О своем решении он сказал Зуннуна-ходже. Тот подумал и ответил:

— Вы мне и зять и сын. Что вам по душе, то и делайте.

Вот это-то и послужило причиной раздора в семье. Старуха теща снова пустила в ход свой острый и злой язык, снова начала попрекать зятя его бедностью, кляня заодно и дочь за необдуманный поступок.

Получив согласие Зуннуна-ходжи, Сидыкджан не обращал внимания на ворчание тещи. Но сегодня, когда жена потребовала, чтобы он отказался от своего намерения, Сидыкджан пришел к мысли, что надо действовать решительно — мать и дочь должны сами услышать согласие Зуннуна-ходжи.

3

Позже, когда вся семья была в сборе, позеленевшая от гнева старуха бросила на середину ковра три связки кунчих крепостей, оставшихся от семи поколений.

— На этих бумагах печати муллы Шарафутдина и судьи Мулладжана! — сказала она пиющим голосом. — Исполком, чтобы ему не дожить до старости, не признал эти бумаги, отобрал у нас землю на Какыре. И кто ею пользуется? Добро бы хозяева, а то — батраки, колхозники!.. А теперь и стальную хотят отобрать! Нам не Советская власть эту землю дала, мы ее в наслед-

ство получили! Какое они имеют право раздавать нашу землю кому попало?

Сидыкджан нахмурился и глянул исподлобья на Зуннуна-ходжу. Тот поднял руку, почесал морщинистый лоб и, поглядывая на ласточкино гнездо, крепко и ладно прилепленное к потолку террасы, промолвил:

— Не говори, жена, глупых слов. Почему земля должна быть в твоей воле? Она отведена Сидыкджану. Захочет он обработать ее сам — будет обрабатывать. Не захочет — отдаст властям.

— Кого бог хочет наказать, того он лишает разума! — торопливо собирая с ковра бумаги, отрезала старуха. — Как это человек решается стать врагом самому себе?

— Что вы такое говорите? — возразил Сидыкджан, стараясь быть, по возможности, вежливым. — Вы подумайте, о чем говорите!

— Я-то думаю, а вот вы... нет; если бы вы эту землю нажили своим трудом, не так бы говорили.

Сидыкджан бросил взгляд на Зуннуна-ходжу. «Да скажите вы ей!» — говорил этот взгляд. Зуннун-ходжа выпрямился и, желая показать, что слова старухи он не ставит ни во что, нарочно зевнул, откашлялся и сказал:

— Жена, чего ты волнуешься? Чуть только скажут «колхоз», как у тебя уже разрывается сердце. В колхоз никого силком не тянут. Кто хочет, вступает в него, а кто не хочет, тот не вступает и ходит себе, заломив тюбетейку. Так ведь, Сидыкджан?

— Никто, конечно, на мою шею аркан не накидывает. Вступает в колхоз тот, кто понимает, что к чему, и кто не понимает и прислушивается к словам разных «элементов», тот не вступает.

Сидыкджан ввернул в свою речь словечко «элемент» только для того, чтобы укоротить злой язык тещи и в то же время поддержать старика, который, как он заметил, говорил несвязно, не находя нужных слов. Однако, вопреки ожиданиям Сидыкджана, Зуннун-ходжа нахмурился, отвернулся от него и холодно возразил:

— Раз в колхоз вступают по желанию, как можно называть «элементами» тех, кто не вступает в него? — Но он тут же повернулся к жене и прикрикнул на

нее:— Есть у тебя голова или нет? Если Сидыкджан вступит в колхоз, земля станет общей!

Собрав бумаги и держа их крепко в руке, старуха направилась в свою комнату, зло причитая:

— О аллах, что за время настало! Что это за человек, который отказывается от своего добра? Да он собственную жену загонит в этот колхоз, чтобы все ею пользовались!

Сидыкджан изменился в лице.

— Мать,— сказал он с дрожью в голосе,— сами будете виноваты, если услышат ваши слова. Я не торгую своей женой. На сводничество только вы способны. Да, да, вы! Кто сказал Иномджану: «Постарайся понравиться моей дочери, я разведу ее с мужем и выдам за тебя!»

— Это какой такой Иномджан?— остановившись, спросила старуха.— Я не знаю такого!

— Не знаете? Сын вашего дяди!

— А если и сказала,— угрюмо проговорила старуха,— что ж в этом такого?.. И правильно сказала!— вдруг завопила она, хлопая себя по бедрам.— Для такого человека, который ничего не приносит в дом, а хочет отнять мою землю, нет у меня дочери! Вот!

Зунпун-ходжа побагровел от злости и, делая вид, что поддерживает Сидыкджана, сорвал с ноги кауш и швырнул им в старуху. Та увернулась. Дочь хотела что-то сказать, но не успела: Зунпун-ходжа залепил ей пощечину, и она поперхнулась на полуслове. Старик обернулся к зятю и, остановив на нем налитые кровью глаза, в которых то и дело вспыхивали злые огоньки, мягко сказал:

— Я думаю, Сидыкджан, что и вы могли бы быть более осторожны и почтительны в разговоре с матерью своей жены. Старых надо уважать. Я дал вам дом, приютил вас. Сажая за стол с собою... А вы... Подумайте, как вы нехорошо поступили, обозвав мать и меня сводниками. Говорила ваша мать с Иномджаном или не говорила, забудьте это. Положим, у нее и сорвалось с языка что-нибудь лишнее, но это слова старой женщины, у которой голова седая и ум уже не в порядке. А если не говорила, тогда что? Если это совет какого-нибудь нашего врага? Как только повернулся у вас язык?

— Вас я не называл сводником,— волнуясь, сказал Сидыкджан.

— Это все равно! Раз вы оскорбили мать, значит, оскорбили и отца. Как повернулся у вас язык оскорбить меня за глупые слова старой женщины? Я знаю, человек в гневе может всякое наговорить, и на это обижаться не следует. Я и не обижаюсь. Если кто печально укусил свой язык, то не вырывать же ему зубы. Так-то вот. Скажу одно: я согласен на ваше вступление в колхоз, но ваша жена и ее мать не согласны. Если бы они были согласны, то все было бы хорошо, но раз они против, не стоит и затевать это дело. Поймите, сын мой, оно поведет лишь к раздорам в семье!

— Вот что, отец, я скажу вам: теперь не время для попреков. Я не забываю, что вы меня приютили. Понимаю, что я должен быть почтителен с вами. Но каждому из нас надо иметь совесть, и это, пожалуй, самое главное! — проговорил взволнованно Сидыкджан.

— Ну, ну?

— Не надо придираться к словам. Не знаю, возможно, и эти мои слова не понравятся вам... Но я решил вступить в колхоз, и мое решение, как я чувствую, и есть причина раздора.

— Это, пожалуй, верно. Тогда зачем вам вступать в колхоз? Не вступайте.

Сидыкджан помолчал, потом тихо и задумчиво произнес вспомнившиеся ему откровенные и глубокие по мысли слова, сказанные недавно Урмаджаном:

— Человек рождается на свет не для того, чтобы жиреть, как свинья, и плодиться, как вошь.

Зуннун-ходжа вздрогнул и бросил недоумевающий взгляд на зятя.

— Что вы хотите этим сказать?

— То, что я человек!

— А кто говорит, что вы не человек?

— Все мои друзья, которые давно отвернулись от меня. Все, у кого есть разум.

— Мы считали вас человеком. Значит, мы были неразумны?

— Кто говорит? Всем известно, что вы умны. Но я вот что хочу сказать: на осла нельзя садиться без седла — упадешь. Вот вы называете меня человеком, а сами пакидываете на меня потник с седлом.

Зуннун-ходжа громко рассмеялся.

— Понимаю, сын. Выходит: я угнетатель-бай, а вы — мой батрак?

— У батрака не бывает земли. Вы же сказали, что земля отведена Сидыкджану.

— Верно. А то кому же?

— Мне. Вот только поэтому вы и называете меня человеком.

— Если я говорю, что земля ваша, этим я, значит, лакидываю на вас потник?

— Нет, сначала вы накинули на меня потник, а потом уже сказали, что этот потник принадлежит мне.

Зуннун-ходжа выкатил глаза на зятя, снова побагровел, но все же, хотя и с трудом, выдавил из себя улыбку.

— Вижу, что вас хорошо научили грамоте ваши учителя.

— У меня их нет, но есть глаза, вот они и учат.

Зуннун-ходжа поскрипел и снова заговорил о колхозе:

— Такой разговор, Сидыкджан, вам не к лицу... Оставим его. На ваше вступление в колхоз, раз оно вызывает такие пелалы в семье, и я не дам согласия.

Сидыкджан молчал, он не знал, как и какими словами ответить Зуннуну-ходже, а ответить надо было так, чтобы старик понял, что его решение бесповоротно. Действительно, Зуннун-ходжа, видя замешательство Сидыкджана, подумал: «Колеблется. Надо бы мне сказать ему раньше, что я против колхоза». Он решил обратить внимание зятя на возможные трудности и последствия при вступлении его в колхоз, если на это не будет дано согласия всей семьи.

И он сказал:

— У вас ребенок.

— А еще что есть у меня?— спросил Сидыкджан и, не сводя глаз с тестя, выпрямился, насторожился.

Вопрос Сидыкджана спутал мысли Зуннуну-ходжи и рассеял его надежду на то, что зять одумается и откажется от вступления в колхоз. Старик сердито спросил:

— Кроме ребенка, так ничего и нет?

— А что же я еще имею?

— Дурак!

— Сознаю. Не был бы им, не отбилсЯ бы от своего стада...

— Окажи уважение бродяге, он в сапогах заберется на почетное место.

— ...не попал бы в пасть волку.

— Значит, я — волк? Собака!

— Это не ново. Вы давно в душе меня так называли... Благодарю вас... Раз я собака, так возьмите вашу золотую цепь, что висит грузом у меня на шее, вашу дочь. Я не хочу больше жить с нею. Объявляю, если это надо вам по шариату, троекратно талак¹!

Сидыкджан отряхнул полы халата, повернулся спиной к старику и направился к выходу.

Ни старуха, следившая за разговором между зятем и стариком, ни сам Зуннун-ходжа не ожидали такой решительности от Сидыкджана. Зуннун-ходжа тупо и растерянно посмотрел на дочь. Старуха невольно вскрикнула: «Шарафат!» Дочь поняла мать, как поняла взгляд отца. Они оба хотели сказать ей: «Верни!»

— Постой! — громко крикнула Шарафат и вскочила с места. — Уходишь? Хорошо! Тогда забирай и своего ребенка!

Сидыкджан остановился. Его прежде всего поразили не слова «забирай своего ребенка!», а то, что жена обратилась к нему на «ты», как к чужому. Он понял, что сбилось все, что связывало его с этим домом, с женой.

— Что ты сказала? Взять ребенка?

Сидыкджан решительно подошел к люльке, взял ребенка на руки и вышел на улицу. Шарафат растерянно взглянула сначала на отца, потом на мать, лицо которой исказилось от злобы и удивления. Видя, что они стоят и молчат, как каменные, она, босая, с растрепанными волосами, бросилась вслед за мужем. Сидыкджан, прижимая ребенка к груди, быстро удалялся от дома.

Он шел с ребенком на руках и думал: «Вот еще принесу лишние заботы своей матери, правда, она любит маленьких, и пусть лучше мальчик не слышит, как хулят его отца».

¹ По шариату троекратно произнесенное мужем слово «талак» влекло за собой расторжение брака.

— Обождите! Стойте!

Сидыкджан оглянулся и, увидев бегущую за ним Шарафат, спокойно спросил:

— Что ты хочешь?

— Отдайте ребенка!

Шарафат подбежала и вырвала мальчика из рук Сидыкджана.

Увидев ее разъяренное лицо, он понял, что она забирает ребенка с тайной надеждой: а может быть, муж останется? Но он никогда еще не чувствовал такой решимости уйти, как сейчас. В его разгоряченном мозгу вспыхнула память о всех обидах, перепесенных в доме жены.

Ребенок заплакал. Сердце у Сидыкджана защемило от жалости к сыну, но он крепился, стараясь показать жене, что его решение твердо и что его не сломят ни слезы, ни гнев.

Когда Шарафат с ребенком на руках скрылась за воротами, к горлу Сидыкджана подступил горький комок, на глазах показались слезы. Он медленно повернулся и, низко опустив голову, побрел по улице. Потом ускорил шаги.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

В лощинах, в густых зарослях и в оврагах между холмами, куда не попадал свет солнца, коснувшегося уже линии горизонта, густели пепельно-серые сумерки. А когда солнце скрылось, они, казалось, зашевелились, сразу выросли и поплыли, расстилая над землей покрывало ночи.

Сидыкджан подходил к Бахрабаду. Он шагал легко и бодро. Вечер казался ему каким-то необычным, совсем не похожим на те вечера, которые он провел в кишлаке Зуннупа-ходжи. Там в вечерние часы он особенно остро чувствовал свое одиночество, и его охватывала тоска... А сейчас, приближаясь к родному кишлаку, он не испытывал этой давящей, безысходной тоски, еще не так давно, перед уходом из дома тестя, терзав-

шей его сердце. И это удивило его. А пирамидальные тополя на бугорке, мычанье теленка, легкие дымки от очагов, вечернее чириканье воробьев — все то, что было так хорошо знакомо с детства, всколыхнуло в нем радостные ощущения чего-то близкого, родного, по давно забытого.

Старый тутовник во дворе был освещен огнем свечей. Внизу, под деревом, двигалась тень, из дома слышались шаркающие звуки. Сидыкджан постоял, прислушиваясь, и тихонько постучал в запертую калитку.

— Кто там? Абиджан, погляди-ка! — раздался голос матери.

И не прошло минуты, как она сама открыла калитку.

Хадича-хола не ожидала сына в такой поздний час и несколько растерялась. Лишь когда Сидыкджан уже прошел во двор, она опомнилась, подбежала к нему, обняла и, плача от радости, принялась целовать его в обе щеки. Выпустив сына из объятий, она стала спрашивать о здоровье внука, новости и сватов. Не успел Сидыкджан ответить, как из-под дерева вылетел стрелой Абиджан, — он обрезал там листья.

— Братец!

Абиджан крикнул так громко, что где-то прикорнувший петух испуганно трепыхнул крыльями и, как бы давясь, сердито закричал: «Ко-ко-ко!»

Сыновья и мать рассмеялись. Хадича-хола, по своему обыкновению, прежде всего рассказада все свои сны за последние дни, сообщила, кто и как растолковывал эти сны, и выходило, что она сама понимала правильное других и заранее знала о приходе Сидыкджана. Вот только одного не предсказали ей сны: что Сидыкджан явится именно сегодня вечером.

Она ходила по двору, радостно взволнованная, бросая на сына ласковые взгляды. Разостлала на супе красный палас и новое ластиковое одеяло; к огню в очаге, на котором кипел котел, поставила чугунный кувшинчик с водой. Затем снова стала расспрашивать о внуке, пестке и сватах. Сидыкджан услышал беспокойство в голосе матери, но решил пока не рассказывать о том, что произошло у него дома.

Абиджан сидел возле брата и, не зная, что делать,

что говорить, все трогал его за плечо и радостно улыбался.

За ужином Хадича-хола рассказала сыпу о больших и малых событиях в кишлаке. Старый друг Сидыкджана Урмаджан уехал в кишлак Капсанчи, он там теперь парторганизатор в колхозе «Коччинар»; здесь же, в Бахрабаде, председателем колхоза выбрали Саттаркула, двоюродного брата Сидыкджана. Жена Саттаркула недавно родила сразу трех мальчпков, об этом даже в газете напечатали. А как-то в кишлак приезжал сам Юлдаш-ата Ахунбабаев.

— Я видела Ахунбабаева,— сказала Хадича-хола.— Оказывается, он совсем не похож на свой портрет.

Абиджан не согласился с матерью.

— Нет, он очень похож...

— Да лицом, может, и похож, а все же он не такой, как на портрете,— твердо заявила Хадича-хола. Ее слова вызвали улыбку на лице Сидыкджана.— Нам сказали, что он будет выступать на собрании, скажет большую речь. Мы собрались и пошли. Пришли в красную чайхану, а там уже полно народу. Пробрались мы к двери и видим: сидит у стола человек и что-то говорит, а все вокруг него смеются. Вначале мы подумали, что Ахунбабаев не приехал, а у стола кто-то другой говорит с народом. Мы ошиблись: оказывается, это он сам и был. «Вот он, подумала я, большой человек. Да как ему и не быть таким, когда он с самим Калпийным за одним столом сидел». Он говорит, а молодежь — ну как только не стыдно было ребятам!— все с вопросами к нему — как наладить работу в колхозе. Ахунбабаев ответил на все вопросы, а потом обращается к колхозникам: «Ну, а теперь сами скажите, как думаете дальше строить жизнь в колхозе, бороться за урожай?» После него говорили многие.

— А как он поддел нашего председателя! Яловая корова... ох,— захохотал Абиджан.

— Да, уж поддел так поддел,— невольно улыбнулась Хадича-хола, глядя на младшего сына, и продолжала:— У Саттаркула, верно, получилось не совсем ладно. Выступил он да и начал хвалиться — сделает и то, сделает и это... Будто впрягся в порожнюю арбу и гремит. А Ахунбабаев послушал-послушал его и говорит: «Яловая корова всегда больше стельных мычит».

Все так и покатались со смеху. Уж так Саттаркул осрамился, так осрамился!..

Хадича-хола помолчала немного, тихо улыбнулась каким-то своим мыслям и продолжала:

— А все-таки Саттаркул молодец! В этом году дела в колхозе лучше идут. Видно, подействовали слова Ахупбабаева. Вовремя сумел взнудать веспу и славно провел сев... Да,— обратилась она с Сидыкджану,— ты ведь не знаешь о наших червях? Саттаркул еще весной собрал старух и говорит: «Кто ходит без дел, тот всем надоел». Хорошая поговорка? Хорошая, правильная. «Так вот, говорит, не возьметесь ли вы, товарищи, выкормить червей хотя бы по одной коробочке грены?» Нас было семь человек. Мы согласились. И что же? Повезло ли нам, или мы очень соскучились по делу,— прямо не успевали собирать коконы. Из каждой коробочки вышло их по семьдесят — восемьдесят килограммов. Саттаркул обрадовался, сразу сообщил в район, а оттуда приехали два человека. Пригласили нас приезжие, посадили против себя, расспросили. Потом говорят: «Будем снимать вас на карточки». Мы расхохотались. «Кто это тоскует по нашим морщинистым лицам?— сказала Кумриниса и убежала. Никто из нас так и не спимался. Слух прошел в кишлаке, что они все-таки будто засняли нас, но мы этому, сказать правду, не поверили. Колхоз премировал нас, дал каждой шелководке по атласному отрезу на платье. Подумай только, сынок,— это нам-то, старым, атлас! А Рахила-бу, бесстыжая, взяла да и сшила из атласа себе платье. В праздник вырядится, противно смотреть на старуху! Однажды я не сдержалась и выругала ее, а она мне в ответ: «Я в жизни никогда атласного платья не пашивала, так теперь благодарю себя, что достигла этого!» Вот ты и поговори с ней!.. А на заработанные деньги справила я четыре одеяла, одежонку кое-какую. Обулись и оделись так, что не стыдно теперь и на людях показаться. И для тебя принасла два отреза бекасама на халаты,— сказала Хадича-хола, бросая взгляд на скромную одежду Сидыкджана, и с грустью подумала: «Не очень-то он нажился за последние годы. Плохо же ему живется у тестя». И добавила:— А тот атлас тоже еще лежит...

Сидыкджан, как бы угадывая мысли матери, вздохнул и сказал:

— Лучше бы вы продали его.

— Мы не нуждаемся, сын мой. Деньги у нас имеются. Когда было трудно, помог колхоз, а теперь уже расплатились. Видишь, сынок, и я, оказывается, способна на такие дела при повои-то, колхозной жизни. А вот при жизни твоего покойного отца сидела сложа руки, и мысль была одна: «Дашь — поем, побьешь — умру». Глупая мысль, теперь даже старухи так не думают. — Хадича-хола улыбнулась, и глаза ее молодо блеснули. Поглядев на Абиджана, она и его работой похвалилась. — Дядя Саттаркул выдал славные сапоги Абиджану. Вынесика, сынок, их и покажи брату. Пусть он поглядит, полюбуется.

Абиджан, оказывается, давно припес сапоги и держал их за спиной, и сейчас осторожно, словно они были очень хрупкие, обтер их полкой ситцевого халата, подал брату и подправил фитиль светильника. Сидыкджан осмотрел верх сапог, заглянул в голенища и сказал: «Хорошие сапоги». Но Абиджану хотелось, чтобы брат и потом постучал по подошве.

Сидыкджан задумался. Хотя он был рад услышать, что мать и Абиджан живут хорошо, ни в чем особенно не нуждаясь, по ему стало как-то обидно. Та самая обида, которая затихла было с уходом из дома Зуннуна-ходжи, снова поднялась в пем, и он даже изменился в лице.

Хадича-хола, нежно поглядывая на сына, заметила, как он побледнел, и решила, что он устал с дороги. Она торопливо поднялась и стала готовить ему постель.

2

На следующий день Сидыкджан проснулся рано, напился чаю и ушел из дому, сказав, что идет повидаться с друзьями. Он походил по улицам кишлака, где все напоминало детские годы, побродил по песчаному берегу речки, побывал на том самом лугу, на котором пас когда-то коров. Бродя по знакомым местам, он тихо напевал грустную песню. Ему казалось, что вместе с песней из его сердца уходила и тоска, с которой он жил последние годы.

Домой он вернулся повеселевшим. Солнце уже перевалило за полдень, и на супе во дворе лежала густая

тепль. Сидыкджан прилег на супу и заметил железную печь, стоявшую под тутовым деревом.

— Эге,— удивленно спросил он,— вы что же, реши-ли поставить печку?

Хадича-хола улыбнулась.

— Затея Абиджана. Наш председатель перестроил свой дом по-новому: стены побелил, вместо дарчи устроил окна, вставил рамы со стеклами, как у русских, в комнате поставил железную печку. Ну, глядя на него, стали перестраивать свои дома и другие колхозники. В кишлаке всегда так: один пачнет — и все за ним. Вот и наш Абиджан торопится за председателем. Прямо замучил меня, а больше себя. Как-то гляжу, идет с топором: «Мама, хочу сломать дарчу!» Я рассердилась, конечно, отняла у него топор. А другой раз ведет товарищей: «Мама, хочу замазать ниши!» — «Зачем?» — спрашиваю. «А чтобы стены были гладки, как у Саттаркула-ака...» Ну, схватила я кочергу и прогнала всех. Прогнала, да и пожалела бедного парня: разве он виноват, что ему все новое правится! А новое, как я вижу, ведет не к плохому. И печка эта... Правда, мы ее топили всего два раза за зиму. Сам видишь, дом не приспособлен к ней. Саттаркул обещает отремонтировать дом. Вот тогда и поставим печку. Пусть уж и дарчу заменят стеклянным окном и пиши замажут, раз это правится Абиджану.

Под вечер пришел повидать Сидыкджана один из его друзей детства. Но разговаривал он с Сидыкджаном так, словно пришел с заболеванием к человеку, который попал в большую беду. Дружья детства так и не нашли общего языка. О чем бы они ни заговорили, разговор тут же обрывался. Наконец гость поднялся и ушел.

Затем заглянул Саттаркул, председатель колхоза. Сидыкджан не виделся с ним больше двух лет. Поздоровавшись, Саттаркул насмешливо сказал:

— Ну, как дела? Совсем забыл дорогу в наш кишлак. Что — работы много? По-прежнему гнешь спину на Зунпува-ходжу? Как же — зять... Понятно. А может, жена не пускает? Так ты скажи ей, что у тебя, кроме нее, есть мать. Она родила тебя мужчиной...

Заметив, что Сидыкджан нахмурился, Саттаркул резко оборвал свою речь и обратился к хозяйке:

— Так вот, Хадича-хола, будем теперь ремонтировать ваш дом. Пока Сидыкджан у вас, пусть он сам и возьмет в руки это дело.

Хадича-хола немного замялась, взглянула на сына, ожидая его ответа.

— Ну что ж, если, конечно, у него найдется время... — Покручивая темные густые усы и пряча улыбку, Саттаркул опять насмешливо кольнул Сидыкджана: — И если хозяин Зуннун-ходжа согласится отпустить своего... — «батрака» хотел он сказать, но, помолчав, добавил: — ... зятя.

Сидыкджан покраснел: слова председателя колхоза больно задели его. Ему хотелось рассказать Саттаркулу о том, что он уже осознал свое положение в доме богатого тестя, навсегда ушел из семьи Зуннуна-ходжи и решил заново начать свою жизнь. Но он не сказал всего этого председателю, — удержала мысль: «А не стану ли я после этого посмешищем в глазах всех друзей? Нет уж, в родном кишлаке, пожалуй, не стоит говорить о своем позоре».

— У меня нет хозяина, — чуть слышно ответил он.

— Да? Вот как! — удивленно сказал Саттаркул и хотел еще о чем-то спросить, но, заметив тоскливый взгляд матери, который как бы молил его: «Не мучай. Ему и так тяжело», понял ее и, вздохнув, вернулся к разговору о ремонте дома. — Работа обойдется недорого, я уже подсчитал. Всего двести двадцать рублей.

— Только и всего? — Хадича-хола покачала головой. — Жаль, раньше не догадались...

— Расходов боялись? — усмехнулся Саттаркул. — Нет, не это пугало вас. Дело в другом... Еще при жизни дяди Сагибджана, я помню, вот эта дарча стояла кося. Разве на то, чтобы поставить ее прямо, нужны были деньги?

— Не догадались, а может, не было охоты, — уклончиво ответила Хадича-хола.

— Нет, тетушка, не то говорите. Разве дядя Сагибджан боялся работы? Нет. Но веры у него не было в хорошую жизнь... Бедность — она грызет надежду человека на лучшую жизнь, и человек опускается. А раз нет у тебя надежды на лучшее, стоит ли заниматься какой-то дарчой — перекосилась, ну и пусть хоть совсем завалится!.. Вот в чем суть.

— Правда, сынок, истинная правда,— вздохнув, согласилась Хадича-хола.

— И теперь мы еще не богаты, мы бедны,— продолжал Саттаркул,— но эта бедность не грызет в нас веру в светлую жизнь, а, наоборот, наша вера в нее грызет бедность. Другим стал у нас человек, не хочет лежать камнем на месте, рвется вперед, к лучшему. Если мы будем трудиться, чего только не создадут трудовые руки народа! И никто не будет удивляться. Увидим новые прекрасные дома и скажем: «Только и всего. И совсем недорого, и можем сделать еще лучше!..» Ну ладно, заговорился я тут с вами, а надо еще кое-куда забежать,— вдруг заторопился председатель колхоза и весело взглянул на Сидыкджана.— Так договорились насчет ремонта дома? Берись-ка за дело.

Когда Саттаркул вышел, взволнованный его словами Сидыкджан уже не мог больше молчать. Он рассказал матери обо всем, что произошло в семье Зуннунаходжи, и сообщил о своем твердом решении вступить в колхоз.

Выслушав сына, Хадича-хола понурилась и долго молчала. Сидыкджан ничего не понимал: «Что это с матерью? Так расхваливала колхозную жизнь, а теперь как будто даже и не рада тому, что сын тоже решил стать колхозником...»

— Сып мой дорогой,— сдавленным голосом заговорила Хадича-хола,— хорошо ль ты все обдумал? Доброе намерение — половина дела. Ведь трудно будет тебе... Да и ребенок. Ты бросил мать и ребенка, а ведь растить его — твой долг.

Сидыкджан, сдерживая волнение, мягко возразил матери:

— Я хочу сначала расплатиться с прежними долгами.

— Что ты хочешь этим сказать, сынок?

— Прежде всего хочу выполнить свой долг перед вами, мать.

— Если забота только об этом, сынок, то напрасно ты бросил семью. Теперь я сама неплохо зарабатываю в колхозе, да и много ли мне надо? Ты о себе думай, сынок, у тебя вся жизнь впереди, а я уже шагаю к могиле...

Хадича-хола, вздохнув, смахнула слезу с морщини-

стого лица и хотела еще что-то сказать, но в это время шумно распахнулась калитка и во двор вошел захавшийся Зуннун-ходжа с красным и потным лицом.

Сидыкджан, словно не замечая тестя, продолжал сидеть неподвижно, а Хадича-хола заторопилась, побежала навстречу гостю. Зуннун-ходжа, не обращая на нее внимания и даже не ответив на приветствие, метнулся, как помешанный, к Сидыкджану.

— Подожду свой дом! Удавлюсь!— хрипло, задыхаясь, проговорил он и сокрушенно вздохнул.— Родней мой, разве я обманулся, назвав вас своим сыном?

Сидыкджан подвинулся на супе, приглашая неожиданного гостя сесть.

— Прошу...

— Некогда сидеть... Пойдемте, сынок, жена ждет.

— Зря беспокоились. Разве я не сказал троекратно «талак»? Теперь уже нет выхода. Шариат не допускает...

— Шариат допускает... Есть выход, сын мой!— воскликнул Зуннун-ходжа.— Ведь вы развод не жене объявили, а только мне. Если бы сказали ей самой, тогда уж верно — не было бы выхода.

Сидыкджан поднял глаза на мать, стоявшую позади Зуннуна-ходжи. Та печально смотрела на сына.

— Ладно,— ответил Сидыкджан тестю,— через два-три дня вернусь, тогда и решим все окончательно.

На том и порешили. Зуннун-ходжа, несмотря на просьбы матери Сидыкджана посидеть у них, выпить чаю, тотчас же ушел.

— Сынок,— опять заговорила Хадича-хола, когда Зуннун-ходжа скрылся за калиткой,— ты вернешься... туда?

Сидыкджан принужденно улыбнулся.

— Ноги моей не будет в его доме!

— Ты же дал обещание?

— Да... Просто не знаю, как быть. Я ведь пришел сюда, чтобы посоветоваться с Урманджаном.

— Насчет вступления в колхоз?

— Насчет того, где вступить. В доме тестя мне больше не жить. А здесь, как видишь, Саттаркул не очень-то приветливо меня встретил.

Хадича-хола не сразу ответила на слова сына: подумав, она сказала:

— Дело не в одном только Саттаркуле, сынок. Сейчас тебя никто не встретит приветливо. Старых друзей ты растерял, а новых еще не приобрел. Лучше, как говорят, разойтись с братом, чем с народом. И это верно, сынок. Ведь люди немало помучились, прежде чем стали сносно жить. Теперь колхозники совсем окрепли и идут к хорошей жизни. А ты... Если ты думаешь прийти на все готовенькое, на тебя поглядят косо. Поздно ты, сын мой, глаза открыл... Пришел, говоришь, повидаться с Урманджаном? Думаю, что и он встретил бы тебя не лучше.

Сидыкджан, не проронивший ни одного слова во время речи матери, поднял голову, внимательно посмотрел на нее и, заметив на сильно постаревшем ее лице печаль и жалость к нему, мягко улыбнулся.

— Не знаю, матушка, как встретил бы меня Урманджан, но то, что я сделал, сделал по его совету. Когда мы виделись в последний раз, он сильно ругал меня. Думаю, потому, что заметил, как я мучаюсь, видел мое батрацкое положение в доме Зуннуна-ходжи. Если бы он мне не сочувствовал, не жалел бы меня, зачем бы ему было так горячиться!

— Воля твоя, сынок. Как хочешь. Лишь бы открылось твое счастье,— задумчиво промолвила Хадича-хола и вздохнула.

На другой день с утра Сидыкджан принялся за работу: привез саман, доски, циновки, позвал мастеров строительного дела, и работа закипела. Хадича-хола дивилась и радовалась, глядя, с каким подъемом работает Сидыкджан.

Не прошло и трех дней, как старый покосившийся дом стал неузнаваем. Вместо искривленной и мрачной дачи появилось широкое, как у Саттаркула, окно. В него вставили раму с блестящими стеклами.

Веселый, взволнованный Абиджан почти не отходил от большого светлого окна, осторожно протирал стекла и подолгу любопытным взглядом смотрел сквозь них на двор — словно перед ним раскрывался новый, чудесный мир.

Покончив с перестройкой дома, Сидыкджан стал собираться в путь. Хадича-хола напекла ему лепешек, как в те далекие дни, когда он был батраком, завязала их в чистый платок. Потом, прощаясь, поцеловала сына,

прочитала молитву и, придерживаясь старого суеверного обычая, чтобы путь был благополучным, не пошла провожать.

— Родной мой,— обратилась она к сыну, остановившись посредине двора,— не заставляй нас беспокоиться о тебе, присылай письма. У нас теперь, как и в других кишлаках, на калитке прибит номер. Не забудь: наш номер сто шестьдесят третий. Откуда ни напишешь письмо на этот номер — придет. У Ахмадали номер сто шестьдесят восьмой. От своего сына он каждую неделю получает письма.

Абиджан проводил брата до дороги, которая начиналась на окраине и вела прямо на юг. Он ничего не знал о разрыве брата с семьей Зуннуна-ходжи, но чувствовал, что что-то произошло. Сидыкджан уходил из дома матери веселый, он то задумчиво смотрел вперед, чему-то улыбаясь, то принимался шутить с братишкой. И, может быть, поэтому, прощаясь с братом, Абиджан не заплакал.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Бахрабад остался позади. Сидыкджан шагал быстро, решив нигде не останавливаться и уже на следующее утро дойти до Урмаджана, хотя бы для этого пришлось шагать всю ночь. Ему не терпелось поскорее высказать другу то, что тяжелым грузом лежало на сердце, облегчить душу. Он готов был выполнять самую тяжелую работу, лишь бы восстановить имя честного труженика, человека, у которого нет ничего общего с разными «элементами». Он верил, что Урмаджан не оттолкнет его и, выслушав, поймет и поможет.

Поздно ночью Сидыкджан вошел в кишлак Бишсерка.

На улицах было тихо: кишлак спал крепким сном. Только откуда-то издали, вероятно, с поля, доносило тарактение трактора. В синюющем мраке, в стороне от дороги, мерцал огонек. Решив, что это чайхана, Сидыкджан свернул с большой дороги и спустя две-три минуты вошел в обширный, очевидно, приспособленный для сто-

янки караванов, с большим водоемом двор. Там было пусто, лишь в углу, под стенкой, видны были огромные течи двух лежавших на подогнутых ногах верблюдов да возле водоема на суше громко храпел какой-то человек. Сидыкджан прошел мимо него и остановился в дверях чайханы. Там тоже было пусто, только в нише за самоварами сидел седобородый старик и перетирал полотенцем чайники и пиалы.

— Салам!— громко сказал Сидыкджан.

Старик вздрогнул от неожиданности и выронил из рук пиалу.

Пиала разбилась.

— Ваалейкум ассалам!— ответил на приветствие старик и, заметив смущение на лице Сидыкджана, сказал:— Вы тут ни при чем, сын мой. Рука немного покалечена у меня. Вот эта, правая, онемела, давно уж... Правая нога тоже... Да заходите, заходите, сын мой, место для почлега найдется... Так поздно, а вы в пути?

— Поздно вышел,— сказал Сидыкджан и спросил:— Чаю не найдется, отец?

— Как же, как же,— закивал головой старик,— на то и чайхана. Кипяток есть, а заварить недолго... Далеко держите путь?

— В Капсагчи.

— Тогда и говорить не о чем. Вокруг кишлака дикие заросли, ночью там и не пройти, сын мой. Садитесь, снимайте сапоги. Сейчас я подам вам чай и приготовлю постель. А завтра, если вы торопитесь, разбужу пораньше.

Сидыкджан не думал оставаться почевать, но попить чаю и отдохнуть немного совсем не мешало. Он снял заплечный мешок, где у него еще оставались нетронутыми испеченные матерью на дорогу лепешки, и расположился на суше. А старик, заваривая чай, говорил:

— Никогда не следует ночью ходить по дорогам. Мало ли что может случиться в опасных местах? Однажды, когда я был еще молод, вот так же шел ночью из Бувайды. Иду, ни о чем плохом не думаю. Поднялась луна, стало светло, как днем, а я шагаю по дороге и даже песенку папеваю. И вдруг вижу — тигр... Да, да, самый настоящий полосатый тигр лежит на дороге под ивой! У меня волосы на голове зашевелились. Ну, думаю, пропал! Застыл на месте, не знаю, что делать. Слышу, как будто где-то пустая арба гремит. Арба и есть — выехала

из-за поворота и катится мне навстречу. Катится — да прямо по тигру колесами!.. Тут только я и пришел в себя: оказывается, это лежала на дороге тень от нвы. Был я парень не из трусливых, а страшно перепугался тогда. Ночью чего не померещится?..

— Так вы, значит, из Бувайды?— спросил Сидыкджан словоохотливого старика.

— Да, но уже больше двадцати лет я не был там. Бувайда стала для меня запретной.

— Почему?

— Из-за жены.

— Она нехорошая женщина?

— Нет, очень хорошая.

Сидыкджан удивленно взглянул на старика

— И вы сбежали от хорошей жены?

— Да уж случилось такое несчастье, что пришлось мне расстаться с ней навсегда. Раньше она была женой моего старшего брата, а брат батрачил у юзбаши Бувайды — Саидаброра. Юзбаши был очень богатым человеком, целая дюжина вооруженных сторожей охраняла его дом по ночам. Но вот однажды разбойники напали на его дом среди бела дня. И нет, чтобы захватить добро и поскорее скрыться. А они не спешат. Еще песню поют: «Не дай расстаться с редким гостем, который приходит раз в год...» И кричат жителям кишлака: идите, мол, есть чем поживиться! Чудные какие-то разбойники... Наутро стало известно, как они расправились с юзбаши — поставили перед ним его сундук с золотом и сказали: «Ешь, сколько сможешь, а остальное заберем». Юзбаши стал глотать все, что лезло в глотку, а потом уж сами разбойники напихали ему золота полоп рот...

Сидыкджан рассмеялся.

— И не сдох?

— А как же!.. Из-за этой своей жадности помер в страшных мучениях... В тот же день нагрянули из города стражинки, угнали много людей, и брата моего в их числе. Прошел год. Как-то элликбаши нашей махалли поехал в город, а когда вернулся, сообщил мне страшную весть: будто моего несчастного брата повесили. Элликбаши уверял, что видел брата на виселице собственными глазами. Ну, погоревали мы, справили поминки. А месяца два спустя приходит к нашей матери заплаканная невестка и говорит: «Элликбаши требует, чтобы я вышла за него»

замуж. А я скорее утоплюсь в водоеме, чем соглашусь». Мать наша не хотела расставаться с невесткой. Долго думали мы всей семьей, как избавить ее от беды, и надумали — я женился на ней.

Прожили мы вместе около четырех месяцев. Работал я тогда возчиком у хлопководы Абдурашида. Вот везу как-то хлопок в город и встречаю одного знакомого, а он мне и говорит: «Брат-то твой жив... Видел я его и даже говорил с ним. Домой собирается...» Обрадовался я этой весте — ведь брат родной! Да тут же и расстроился: «А какими глазами я буду теперь смотреть на него?»

— Совестно, конечно, — заметил Сидыкджан. — Но ваш брат должен был понять... и не обижаться.

— Это уж потом мне пришло в голову, а тогда совесть замучила. Повернул я назад, бросил повозку с хлопком у склада Абдурашида и, не заходя домой, ушел из родных мест. Ходил из кишлака в кишлак, батрачил где придется, а на другой год весной уехал в Аулие-Ата...

— И брат вас так и не встретил?

— Нет, не в том дело. Брат мой несчастный, как я узнал уже много лет спустя, бежал тогда из Сибири. Может быть, он и приехал бы в Бувайду, но когда узнал, что я женился на его жене, решил не возвращаться домой. Долго ли он скрывался от властей — мне неизвестно, но только где-то схватили его и опять угнали в Сибирь.

— А вы так больше и не встретились со своей женой?

— Встретился, да... рассказывать обо всем, что случилось, ночи не хватит.

— Ночь еще велика, — сказал Сидыкджан и пригласил: — Садитесь, выпейте со мной чаю. Вот лепешек моих отведаете, мать испекла на дорогу... Или спать хотите?

— Какой сон у старика! Лежишь, думаешь, прошедшую жизнь вспоминаешь... Есть я не хочу, а чаю, пожалуйста, с вами выпью.

Сидыкджан палил в пилалу чаю и протянул старику.

— Тогда слушайте дальше, — продолжал тот, — если не надоело... После того как моего брата во второй раз угнали в Сибирь, начал эликбаши опять приставать к моей жене. Слух такой пустил, будто я умер. Ну, умер — не умер, а обо мне второй год никаких известий. Трудно пришлось женщине — надо было кормить и девочку, оставшуюся от старшего брата, и мою старуху мать. Рабо-

тала она на чужих полях, да разве батрацким трудом прокормишься! На джугару только и зарабатывала. Стала девочка чахнуть. Жена совсем потеряла голову, — чем жить? А этот проклятый эликбаши то достатком своим соблазняет, то начинает угрожать и притеснять. В кишлаке и маленькая власть — сила...

— Что же, красивая была она, ваша жена?

— Статная, здоровая женщина. И умом ее бог не обделил. Да вы думаете, эликбаши только на красоту ее зарился? Ему работница даровая в доме была нужна... Так вот, видит она, что эликбаши никак не отстает, и так ему говорит: «Ладно, раз вы настаиваете, стану вашей женой. Только дочку свою я оставляю у бабушки. А чтобы им обоим было на что жить, купите дом, оставшийся от моего первого мужа, и дайте приличную цену. Таково мое условие». Эликбаши согласился. Он купил дом, заплатив за него даже немного больше настоящей стоимости. Да так с пустым домом и остался. Жена заранее распродала все вещи и в ту же ночь с дочкой и нашей матерью ушла из кишлака. Эликбаши разослал гонцов во все концы, но они вернулись ни с чем. Позднее он узнал, что жена ушла в свой родной кишлак Найман, да ничего уже не мог сделать — туда не доставала его рука. Вскоре после того в Аулиэ-Ата прибыл человек из Бувайды и рассказал мне все. Стал я собираться в дорогу. Но в те времена, сын мой, трудно было батраку скопить даже три-четыре теньги. Пока я отложил немного денег и выехал в путь, прошло еще несколько месяцев. Приехал, справляюсь. А жена, оказывается, уже вышла замуж за молодого дехканна по имени Фарманкул и уехала с ним в кишлак Капсанчи. До отъезда в Аулиэ-Ата я батрачил там и хорошо знал те места. Там лучшие земли по берегу реки находились в руках баев, а водокачки, которые перекачивали воду на поля, принадлежали какому-то русскому князю. У князя было в Капсанчи большое имение. Дехкан там называли «капсанчи». Так их прозвали потому, что после уплаты баям арендной доли урожая на землю и князю — за воду дехканам оставалось только что-то вроде капсана — пожертвования, которое обычно выделяли с урожая для нищих... Так и жили: с голоду не умирали, да и сыты не бывали. Да так о чем это я говорил?

— Начали говорить о Фарманкуле, за которого вышла ваша жена, — напомнил Сидыкджан.

— Ах, да... Так вот Фарманкул был из этих самых капсанчей. Мне было неудобно идти прямо к нему в дом. Я зашел в чайхану и послал мальчика передать: при-был, мол, такой-то человек и хочет повидать свою мать. Только я успел выпить один чайник, как входит молодой сухощавый дехканин и спрашивает: «Не вы ли будете Курбан-ака?» — «Да, это я», — отвечаю. Мы поздоровались. Это и был сам Фарманкул. Как я ни отказывался, он повел меня к себе домой. Я подумал было, что он не знает, кто я, но дорогой он мне сказал: «Уж вы не обижайтесь, видно, такая у нас судьба».

Дом его стоял на самом берегу реки среди камышовых зарослей. Я вошел, почтительно поздоровался. А родительница моя была, оказывается, больна и уже не вставала с постели. Увидела она меня, и совсем плохо ей стало. Когда она пришла в себя и открыла глаза, Фарманкула в комнате уже не было. Со слезами на глазах рассказала мне мать обо всем, что произошло. «Что случилось, то случилось, сынок. Если хочешь, чтобы я была довольна тобой и на этом и на том свете, — отблаговари эту женщину», — говорила мать.

Когда я узнал, какие испытания пришлось перенести моей жене, у меня сердце сжалось от жалости. Она три года ждала меня и вышла замуж за Фарманкула с согласия матери. Спустя некоторое время в комнату вошел Фарманкул, а за ним и жена со своей дочкой. Она не закрыла лица от меня, поздоровалась, села, но не решалась поднять глаза. Так мы и сидели молча, не зная, о чем говорить. Если бы я не начал шуточный разговор с маленькой племянницей, еще дольше тянулось бы наше тяжелое и горькое молчание...

Наступил вечер. Я хотел идти ночевать в чайхану, но Фарманкул не отпустил. Мать, моя бывшая жена и ее дочка легли спать в доме, а мы с Фарманкулом — во дворе. Обоим не спалось. Я все боялся, как бы Фарманкул не заговорил о том, из-за чего мы все попали в такое неловкое положение, а он, видимо, опасался того же.

Ну, слово за слово — разговорились. Фарманкул стал рассказывать о положении дехкан Капсанчи на байских землях. К тому времени я уже немало мест исходил и чего только не повидал в батраках! Везде дехкане маялись на своих клочках земли, везде их доля была

не намного лучше батрачкой, а вот хуже этих капсанчей, кажется, никто не жил. Плохо жили, хуже некуда, и все же почему-то держались за арендованные земли, не ухотили искать других мест, где можно было устроиться получше. Меня это удивило. Тогда Фарманкул объяснил мне причину. Стал кое-кто из капсанчей уходить, бросая насиженные места, может быть, все бы и ушли, да баи придумали хитрость. Они установили новую арендную плату за землю, и такую низкую, что дехкане снова парасхват разбирали земли. Условия казались всем очень хорошими — чем больше возьмешь земли и чем дольше срок аренды, тем дешевле она обойдется. И плату за аренду можно было вносить не сразу паличными: дехкани подписывал обязательство и мог выплачивать по-немногу, в течение всего срока аренды. Фарманкул, погорячившись, заарендовал порядочный участок земли сроком на десять лет и подписал обязательство.

В первый год капсанчи были очень довольны. Но уже на следующий из-под позолоты байского благодеяния выступила медь: оказывается, баи затеяли все это дело, сговорившись с князем, а князь повысил плату за воду в три раза. Капсанчи подняли было шум, но князь вызвал из города стражников, и волнение было подавлено...

Фарманкул рассказывал о своем положении чуть не плача: «Вот теперь и рад бы бросить эти проклятые богом места, да нельзя — векселя держат. Векселя Тангрикула-хаджи...»

Сидыкджап вспомнил своего тестя Зуннуна-ходжу и то, как он говорил: «Вы мне и зять и сын...» — и невольно усмехнулся.

Старик удивленно посмотрел на него.

— Чему смеетесь, мой сын?

— Оказывается, все пауки одинаковы!.. Рассказывайте дальше, отец.

Старик продолжал:

— Три дня прожил я у Фарманкула. А на четвертый день, когда собрался уходить, бывшая моя жена кладет передо мной деньги, вырученные от продажи дома, и говорит: «Это ваши деньги, возьмите... А маму я не отпущу, пока не выздоровеет». Бедняжка, она сама нуждалась и все же хотела помочь мне...

Голос у старика дрогнул. Помолчав немного, он снова заговорил:

— Денег я не взял. Горячо поблагодарил ее и осведомился о желании самой родительницы. Она ответила мне со слезами на глазах: «Где уж тебе, сынок, заботиться о больной старухе? Сначала себе найди какое-нибудь пристанище. Да и не хотелось бы мне расставаться с внучкой...» Я хотел увезти ее в Бувайду, в свой кишлак. Думал, найдется там какая-нибудь дыра и для нас. Эх, жизнь!.. Но когда мать сказала, что не хотела бы расставаться с внучкой, я решил поискать работу поблизости. Пошел в контору князя, стал просить работу на одной из его водокачек. Управитель оказался моим земляком, из Бувайды. Не прогнал, но сказал: «Нет, работать на водокачке тебе нельзя. Машина хуже поровнистого коня, когда не знаешь, как к ней подойти: ударит — с места не встанешь... А вот через недельку приедет князь. Если понравиться ему, будешь ходить за лошадьми». В молодости я очень любил лошадей. Стал ждать князя. Дней через десять приехал он с двумя взрослыми дочерьми, с лакеем, горничными и восемнадцатью охотничьими собаками. У него было три породистых коня, да таких — каждый к звездам рвется. Ну, я с охотой принялся за работу. Ухаживал за конями — человек такой заботе позавидовал бы. А вечерами седлал их и сопровождал дочерей князя на прогулку. Сам князь часто отлучался из имения то в Андижан, то в Ташкент. Мне назначили неплохое жалование, жить можно было, и я уже подумывал о том, как бы взять к себе родительницу. Но однажды в полночь прибегает ко мне Фарманкул и говорит: «Ваша мать зовет вас». Я сразу почувствовал недоброе. Прихожу, а мать уже и говорить не может. Она только посмотрела на меня потускневшими глазами, шевельнула губами и испустила последний вздох. Так я и не понял, сказала ли она «прощай» или просила о чем...

— А может, хотела сказать: «Я ухожу, кто же теперь о тебе позаботится?» — тихо промолвил Сидыкджан, вспомнив о своей матери. — Каждая мать сердцем всегда с детьми.

— Да, спасибо, вот это правильные слова, — согласился старик и продолжал своей рассказ: — Похоронил я родительницу и хотел было вернуться в Аулиэ-Ата, да не пришлось — опять остался. В то время белый царь объявил набор коней для своего войска. Князь тоже отдал двух коней, а третьего велел мне обучить ходить

в коляску. А конь — подохнуть бы ему раньше! — был очень поровнистый. Запряг я его, он и понес, как бешеный. Надо было мне сначала запрячь его в арбу, а тут...

Короче говоря, бешеный скакун опрокинул коляску в яму, порвал постромки и умчался в степь. Новенькая коляска, которую князь привез из Ташкента, была разбита в щепки, а я остался в яме под ее обломками. Сколько времени пролежал так без памяти, не знаю. Очнулся в доме Васи Темна...

— У кого, вы сказали?

— У Васи Темна. Механик был такой на водокачке. Славный парень, в Капсанчи все знали его. Вот этот русский парень три недели ухаживал за мной как за братом. Когда я поднялся с постели, чувствую — правая рука и нога совсем отнялись. Вижу — не могу работать. Пошел к управителю, говорю: «Уплатите мне, что полагается, — уйду». А он мне: «Ты уж лучше помалкивай насчет платы. Ведь немало денег отдал князь за коляску». Что я мог ответить? Время сильного...

Распрощался я с Фарманкулом и его женой, поцеловал в лоб племянницу, сходил на кладбище, поставил свечу на могилу матери и зашел проститься к Васе Темну. Механик уговаривал остаться, обещал даже получить меня и поставить на легкую работу у машины, но я все же решил уйти. «Прощай, дорогой брат, — сказал я ему, — доброты твоей век не забуду!..» Дал мне Васи хлеба на дорогу, немного денег, и я ушел. На третий день пути пришел в город. Пробовал работать грузчиком, да много ли парабатаешь вот с такой-то искалеченной ногой да одной рукой? Добрался до Аулиэ-Ата и там пристроился батрачить у прежнего своего хозяина. Кое-как зарабатывал на хлеб...

Много ли, мало ли времени прошло, — трудно уж мне теперь вспомнить, — только за это время свергнут был белый царь, а потом и другие кровопийцы. И захотелось мне повидать Васю Темна, семью Фарманкула, посетить могилу матери. Опять направился я в Капсанчи. Прихожу и не узнаю знакомых мест: все три водокачки разрушены, вокруг разбросаны камни, изуродованные ржавые части машин. А там, где стоял дом Фарманкула, — груда сухой глины, перемешанной с черными головешками... Повстречался мне один из знакомых и рассказал, что на Капсанчи налетели басмачи.

Фарманкул и его жена погибли. А про племянницу и Васю Темина я так ничего и не узнал...

Вы слышали про Азизтепинское сражение? Оно началось возле кишлака Капсанчи. По рассказам людей, жена Фарманкула сражалась с басмачами, не отставая от мужа. И я верю. Она была такая женщина — могла стать во главе сорока молодых.

— Да, вполне можно поверить, — задумчиво сказал Сидыкджан. — Она же и тогда ловко провела этого дурака эликбаши. А Фарманкул был, наверно, большевиком.

— Не знаю. Но это он с Васей Теминым поднял капсанчей на борьбу против баев. Тут, сын мой, такие дела начались... Баи распространили слух, будто курбани Иргаш получил от самого эмира Бухары благословение на священную войну за мусульманскую веру и идет во главе стотысячного войска. Народ заволновался. В пятницу после молитвы в мечети Абдуваккас ишан обратился к толпе с призывом выступить на священную войну против большевиков. Тангрикул-хаджи повел свою вооруженную банду громить совет, по ему преградили путь Фарманкул и Вася Темин во главе большой толпы дехкан, батраков и рабочих водокачек. Началась схватка. Тангрикул-хаджи первым распрощался с жизнью.

К вечеру прибыли двадцать три человека красных бойцов, но пока они восстанавливали порядок, в Капсанчи нагрянул из Актавука кем-то предупрежденный зять Тангрикула-хаджи Хайдар-папсат с отрядом басмачей в сто восемьдесят человек и окружил кишлак.

До самого рассвета сражались сторонники Васи Темина и красные бойцы против ста восьмидесяти басмачей. На поле боя остались трупы десяти красноармейцев и восьми человек из капсанчей, а остальные прорвались на реку в камышовые заросли. Утром Хайдар-папсат приказал выбросить в реку трупы семнадцати мужчин и одной женщины, а дома дехкан, которые ушли с красноармейцами, сжечь.

— Эх, надо было вызвать еще один отряд на подмогу! — с сожалением проговорил Сидыкджан.

— Сотня красноармейцев прибыла в тот же день, как раз время похорон Тангрикула-хаджи. И весь день продолжался бой в Капсанчи, а потом целые сут-

ки в Азизтепе. Хайдар-пансат был убит, басмачи разгромлены, но перед уходом они успели разрушить и сжечь водокачки и половину домов в кишлаке...

Вот как все это происходило, а я пришел в Капсапчи уже много времени спустя. Васю Темина и племянницу мне разыскать не удалось. Но почему-то была надежда, что Вася вернется, да и от могилы матери мне не хотелось уходить, и решил я остаться в этих местах. Года два занимался сапожным ремеслом, потом работал чайханщиком у богатого бая Абдусамада-кары. Тем временем началась земельная реформа. У хозяина моего было много земли, но он сам пришел в комиссию и заявил: «Все излишки отдаю рабоче-крестьянскому правительству для распределения между издольщиками и угнетенными батраками...»

Сидыкджан удивился:

— Сам? По своей воле?

— Да.

— Ну, у нас в кишлаке таких не было.

— И здесь только один Абдусамад так поступил. После этого он закрыл чайхану, а меня рассчитал. Отправился я в Таллык и поступил там сторожем на хлопкоочистительный завод. Потом вот здесь, в Бишсерке, открылась база МТС, и один нарень, работавший на том хлопковом заводе, стал здесь начальником. Он привез меня сюда, поставил заведовать этой чайханой. Она ведь обслуживает больше рабочих МТС. Ну, получаю я теперь пенсию, работой доволен. Часто езжу в Капсапчи, могилу матери своей навещаю. В Капсапчи теперь колхозники роют канал, хотят вывести воду из реки на свои поля...

— А племянницу так и не разыскали? — спросил Сидыкджан.

— Долго разыскивал. Когда работал на заводе, три раза давал объявление в газету: «Кто знает Хапифу Усмапову, пусть сообщит в контору хлопкового завода в Таллыке». Нет, не помогло и это. Не нашлась моя племянница. Может быть, и погибла в те годы.

Старик умолк.

Где-то поблизости захлопал крыльями петух и громко пропел свое предрассветное «кукареку». В ответ торпливо отозвался молодой петушок, и началась заливающая петушиная перекличка.

— Вот и вся моя история,— закончил старик, устало зевнув.— А теперь, сын мой, можно немного и поспать, а? До утра уже немного осталось.

Сидыкджана и самого разморило, и он с удовольствием растянулся на тахте.

2

Утром, напившись чаю, Сидыкджан стал собираться в дорогу, но чайханщик Курбан-ата остановил его.

— Подождите немного, поедете на машине. Грузовики МТС ходят до Наймана, а там до Капсанчи недалеко.

Сидыкджан еще никогда в жизни не ездил на автомобиле.

— Нет, что вы!— с испугом проговорил он.

— Отказываетесь? Почему?

— Да так...

— О плате не беспокойтесь,— не поняв замешательства гостя, сказал Курбан-ата.— Шоферы — свои ребята, скажем — и они подвезут.

— Мне еще не приходилось ездить на машине,— признался Сидыкджан.

Курбан-ата, продувавший трубу самовара, спросил:

— Что?

— Никогда, говорю, не ездил на машине.

Старик выпрямился и долгим, удивленным взглядом посмотрел на Сидыкджана.

— Это в каком же забытом людьми углу вы плесневели до сих пор?

Сидыкджан думал, что Курбан-ата, как и он, тоже никогда в жизни не ездил на автомобиле, и был немного удивлен и смущен его словами. Он даже покраснел от смущения и, сняв тубетейку, пощелкал пальцами по кромке. Особенно сильно задело его то, что такие слова ему пришлось услышать от шестидесятилетнего старика.

«Да, я действительно жизни не видел, а только плесневел у Зуишуна-ходжи»,— подумал он с горечью. И, как человек, знающий себе цену, он, подзадоренный словами старика, решил обязательно поехать на машине. В этот день на Найман не было ни одной машины, Сидыкджан

остался до следующего дня. Он помогал старику — дробил уголь, папопнял водой глиняную корчагу, даже разносил чай и подметал чайхану. Его не беспокоила мысль о том, что, если кто-нибудь из знакомых увидит его за таким занятием и допесет Зуннуу-ходже, тот будет злорадовствовать. Курбан-ата, попяв, что его гость твердо решил дожидаться машины, сходил в МТС и спросил, будут ли машины в сторону Наймана.

Вечером за чаем Сидыкджан подробно рассказал старику о себе — о том, в каком углу он «плесневел до сих пор». Потом поделился своими сокровенными мыслями, которые неупержимо влекли его к новой жизни.

— Э-э,— внимательно выслушав гостя, улыбулся Курбан-ата,— Урманджан, говоришь? Так ведь он мне вроде приемного сына! Когда я бываю в Капсанчи, останавливаюсь только у него. Какой сегодня день? Суббота? Сегодня он должен быть в МТС. Если еще не приехал, то приедет обязательно. А из МТС он не уедет, не повидавшись со мной.

Слова старика сильно взволповали и обрадовали Сидыкджана. Он то и дело поглядывал на улицу. Заметив, что Сидыкджан с нетерпением ждет старого друга, Курбан-ата еще раз сходил в МТС и, вернувшись, сказал:

— Он уже приехал, лошадь его стоит там.

Урманджан появился неожиданно. Ни Курбан-ата, ни Сидыкджан, который все время думал о нем, не заметили, когда он вошел во двор. Увидев Сидыкджана, который шел с чайником в руках к посетителям, сидевшим на краю водоема, Урманджан в изумлении остановился, не веря своим глазам. Курбан-ата не заметил Урманджана только потому, что в это время паливал воду в самовар. А Сидыкджан, возвращаясь с пустыми чайниками, поглядел на человека в белой войлочной шляпе и прошел мимо. Он не узнал Урманджана, может быть, потому, что тот начисто сбрил бороду, и обнаженное темное лицо его под большой шляпой казалось очень маленьким.

— Эй, байбача!— засмеялся Урманджан.— Поздравляю с новым ремеслом.

Узнав старого друга по голосу, Сидыкджан немножко растерялся, а потом, овладев собой, поставил чайники на землю и шагнул к нему. Урманджан, протянув ему руку, спросил:

— Давно в этих краях?

Курбан-ата, заметив Урманджана, разговаривающего с Сидыкджаном, не подошел к ним, а поспешил прежде всего приготовить место для отдыха в тени под карагачем. Пока старик вынес из чайханы палас и одеяла и расстилал их на суе, Сидыкджан успел рассказать Урманджану о своем разрыве с Зуннуном-ходжой.

— Теперь я уже от вас не отстану ни на шаг, Урманджага-ака,— сказал он дрогнувшим голосом.— Буду держаться за полу вашего халата!

Урманджан молча достал из нагрудного кармана кителя какую-то бумажку, прочитал ее и, сунув обратно в карман, проговорил безразличным голосом:

— А что даст тебе пола моего халата? Лучше уж поступи так, как самому правится.

Сидыкджан, внимательно следивший за движениями Урманджана и за выражением его лица, услышав такой ответ, опустил голову.

— И пришел к вам, Урманджага-ака,— с трудом выдал он из себя.— И пришел к вам потому, что у меня, кроме вас, нет никого, с кем бы я мог поговорить откровенно.

Курбан-ата принес чайник с чаем и пиалы. Поставив все это на супу, он подошел к Урманджану, поздоровался с ним и пригласил друзей в тень. Взглянув на грустное лицо Сидыкджана, он понял, что разговор с Урманджаном у того не клеится, и ему стало жалко молодого дехканина. Он опустился на корточки возле супы и сказал теплым, задушевым голосом:

— Сынок мой, Урманджан, что прошло — травой поросло... Уж ты чем-нибудь помоги бедняге.

Урмаджан засмеялся.

— Да я готов хоть сейчас! Всею душой хочу помочь. Только вот в чем дело...— Он потрогал пальцем халат и голенища сапог Сидыкджана.— Допустим, тебя примут в колхоз. А что ты будешь делать, когда пообносишься, а новое справить не сможешь? Не один раз поспеют дыни, пока наши колхозники смогут обзавестись новыми халатами и сапогами... У нас, в Кошчинаре, работы много, а еды мало. Ты же привык есть из большой кормушки — не выдержишь!

Курбан-ата, поглядев на Сидыкджана, подмигнул

ему, как бы говоря: «Это он нарочно пугает», а потом обратился к Урманджану:

— Сынок, ты уж не пугай его!

— Не пугаю, отец. Говорю только для того, чтобы он это знал. Когда покупают дом, не осматривают его с минарета. Ты знаешь, отец, в нашем колхозе было вначале двести тринадцать хозяйств, а сейчас в нем осталось всего сто восемьдесят четыре. Остальные ушли.

— Это так, Урманджан,— согласился Курбан-ата,— но ведь ты сам говорил, что колхоз начинает поправляться, крепнуть. Колхозники уже построили дамбу и избавились от бедствий, которые причиняли наводнения. Канал скоро будет закончен... Еще немного — и поля колхоза начнут давать большой урожай?

— А как же! — подхватил Урманджан. — В это все верят. Верят даже и те, которые сбежали. Они ушли из колхоза не потому, что не верили, а просто не выдержали тяжелой работы. Зато те, что остались — испытанный народ, готовы пройти через все лишения. Научились трудиться в коллективе. Видели, как они работали на канале зимой?

Курбан-ата вспомнил прошлую зиму. Стояли жгучие морозы. Сильные ледяные ветры обжигали лица людей, работавших на канале. Юноши и старики, обвязав лица платками, рубили кетменями мерзлую землю. Рядом с ними трудились девушки, молодые и пожилые женщины. У многих ноги были обернуты в старые лохмотья; чтобы они держались на ногах, поверх лохмотьев наматывались веревки.

— Правда, сын мой,— вздохнул Курбан-ата. — Кого ведет вперед надежда, тот преодолет путь, как бы труден он ни был.

Урманджан ничего больше не сказал, поднялся и ушел в МТС.

Опустив голову, Сидыкджан неподвижно сидел на месте. Курбан-ата привялся утешать его. Урманджан, уходя, ничего ведь не решил, а потому и отчаиваться преждевременно не следует. Но Сидыкджан, слушая старика, безнадежно смотрел в землю.

Прошло полчаса, в воротах появился Урманджан, в поводу он держал двух коней.

— А ну,— весело крикнул он,— на которого сядешь? Сидыкджан сразу встрепенулся, поняв, что Урман-

джан пришел за ним. Курбан-ата тоже оживился и, перевел бровями, с хитровой улыбкой посмотрел на Сидыкджана. «Вот видишь! Что я говорил?» — словно хотели сказать его улыбающиеся умные глаза.

Сидыкджан подбежал к рослому коню и схватился за поводья. Курбан-ата поспешил вынести из чайханы его заплетный мешок.

Попрощавшись со стариком, всадники двинулись в путь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

По берегам реки, начиная от Наймана и до самого Мирзаарала, простирались в прошлом байские земли. Между ними лежали большие и малые низины. Заселенные дехканами, они представляли собой махалли одного и того же кишлака Капсанчи. Дехкане работали на байских землях как издольщики и батраки. После Октябрьской революции, когда народ взял власть в свои руки, басмачи разрушили водокачки, подававшие воду на поля. Урожайность полей катастрофически снизилась, и многие дехкане в страхе перед голодом переселились в другие места. Советская власть провела земельную реформу, и земли баев были переданы дехканам — тем, кто трудился и продолжал трудиться на этих землях. В первый год после реформы разлилась река и смыла больше половины посевов, а в следующем году уже с весны началась засуха. От знойного дыхания раскаленной пустыни выгорели поля и пастбища. На дехкан надвинулся голод. В эти годы наводнения и страшной засухи еще часть жителей, несмотря на большую помощь Советской власти, покинула кишлак Капсанчи, и в нем вместо пяти осталось всего три махалли: Кошчинар, Бакакуруллак и Кугазар.

Передовые дехкане — активисты и молодежь вскоре после земельной реформы сплотились вокруг сельсовета и с жаром принялись за строительство новой жизни. Они считали, что глупо сидеть на берегу мощной реки и ждать, когда с неба упадет на поля капля влаги. Они

подали заявление сначала в районный исполнительный комитет, а потом, получив с его стороны поддержку, обратились в областное управление водного хозяйства.

В кишлак приехал председатель райисполкома, созвал активистов и поставил вопрос о восстановлении одной из водокачек. Узнав, что речь будет идти о воде, на собрание пришли все жители кишлака. Площадка у развалин водокачки в Кугазаре заполнилась народом. Все внимательно слушали председателя райисполкома. Когда тот сообщил, что по просьбе жителей кишлака Капсанчи районная власть решила восстановить одну из водокачек и уже затребовала из Ташкента необходимое оборудование, собравшиеся шумно выразили свою радость. Но как только приступили к обсуждению вопроса о том, какую из трех водокачек надо восстановить, разгорелись споры. Капсанчи разделились на три группы. Каждая требовала, чтобы восстановили водокачку в ее махалле, каждой хотелось быть хозяином воды. Поднялся невообразимый крик.

— Если вы хотите восстановить водокачку в Бакакуруллаке, то нам совсем ничего не надо! — раздавались голоса протеста из одной группы.

— Во-во! По-вашему, надо восстановить в Кошчинаре? Тогда нам никакой воды не надо! — кричали другие.

Председатель райисполкома и активисты приложили немало усилий, чтобы успокоить дехкан и разъяснить им, почему легче начать с водокачки в Бакакуруллаке, чем в Кугазаре или Кошчинаре. Когда председатель райисполкома заверил, что позднее будут восстановлены водокачки и там, все, казалось, пришли к согласию, приняли обязательство как можно скорее выполнить поставленную задачу.

А задача была не из легких: надо было подвезти на строительство кирпич с места обжига, песок с реки, восстановить большие арыки, которые шли в обе стороны от Бакакуруллака, привести в порядок запущенные арыки на полях и вырыть новые.

Спустя два дня после собрания председатель сельсовета Самандаров переписал всех лошадей, ослов и волов в кишлаке, чтобы по очереди использовать их на работе. Рабочего скота у населения было мало, к тому же его не так легко было получить от капсанчей, и Самандаров боялся, что до прибытия строителей не успеют под-

везти кирпич и песок. Приходилось упрашивать людей, чтобы не подвели в срочной работе. Не говоря уже о жителях Кошчишара и Кугазара, в самом Бакакуруллаке многие отлынивали от работы, ссылаясь на то, что рабочий скот истощен и не годен для перевозки тяжестей. Некоторые дехкане прятали лошадей и волов. А некий Туляган из Кугазара вбил гвоздь в копыто лошади, и она захромала. Но Самандаров и активисты все настойчивее разъясняли значение строительства и, увлекая дехкан на работу, сами становились во главе ее. Все же работа, рассчитанная на семь-девять дней, растянулась на три недели.

Наконец приехали строители-мастера и приступили к восстановлению водокачки.

На рытье новых и на расчистке старых арыков капсанчи показали себя еще менее дружными. Даже жители Бакакуруллака, работавшие на головном участке, не желали лишней раз ударить кетменем за пределами своего поля. Когда измученный Самандаров пытался пристыдить уклонявшихся от общественной работы, над ним смеялись.

— Не говори, что легко сплотить капсанчей, — легче слепить лепешку из кукурузы.

Но, как бы там трудно ни было, к дню пуска водокачки арыки были готовы и ждали воды. Это был торжественный день. Люди радовались так, словно вода должна была смыть все их бедствия, все горе и нищету. Прежние раздоры и споры были забыты.

Вот в эти дни капсанчи и услышали впервые слово «колхоз».

2

Странные, неожиданные вести стали приходиться из Мирзаарала, из Бахрабада, из других кишлаков — будто дехкане, бывшие батраки и издольщики объединили там свои хозяйства в одно, выбрали руководителей и начали сообща, одной огромной семьей обрабатывать землю.

Капсанчи не сразу поняли, почему и с какой целью дехканская беднота пошла по такому пути. Да многих это вначале не особенно заинтересовало. Но когда нача-

лось широкое колхозное движение и распространились слухи о проведении сплошной коллективизации, заволновались и капсанчи. Слово «колхоз» стало повторяться на все лады. Поднялись споры, хотя толком никто и не знал, что такое колхоз.

Как раз в самый разгар споров о колхозах в Капсанчи приехал секретарь районного комитета партии товарищ Ахмедов. Площадка перед водокачкой не могла вместить всех желавших послушать, куда же зовет дехканство большевистская партия и Советская власть.

Товарищ Ахмедов, начав свою речь с истории кишлака Капсанчи, стал рассказывать, как жили дехкане при баях и русском князе, когда они были издольщиками и батраками. Мужчина средних лет по имени Бутабай, сидевший позади Ахмедова, сердито крикнул:

— Знаем! Чего нам о прошлом напоминать? Хорошего было мало...

Ахмедов улыбнулся и возразил:

— Вот потому и напоминаю, что хорошего было мало. Чтобы лучше бороться за новую жизнь, надо не забывать и прошлую.

Некоторые дехкане, особенно молодежь, одобрительно и громко захолопали в ладоши.

Ахмедов заговорил о земельной реформе, проведенной Советской властью, благодаря которой батраки и издольщики получили землю. Говоря о распределении земли, он привел случай, когда отдельные дехкане, напуганные агитацией ишанов и мулл, отказывались брать и засеивать байские земли.

— У вас тоже были такие,— сказал он, увидев в первых рядах бывшего издольщика Камбарали.— Один из батраков так и заявил в земельной комиссии: «Не приму из рук божьих рабов землю, которой мне не дал бог!»

Послышался смех. А Камбарали покраснел и, опустив глаза, стал водить палочкой по земле.

— Конечно,— продолжал Ахмедов,— земля и вода — это самое необходимое для дехкана. Но, чтобы избавиться от нищеты, недостаточно иметь даже орошенную землю. Вы теперь сами видите это...

— Видим, что ничего не удвоилось у нас,— сказал старик Тилла-бобо, дехканин из Кугазара.— Что сдела-

ещь с землей, раз аллах лишил нас своей благодати? Мы все те же прежние ишмат-ташматы¹.

— Это верно, отец, что ничего у нас не удвоилось,— ответил старику Ахмедов,— но я не согласен с тем, что вы остались «прежними ишмат-ташматами». Прежние ишмат-ташматы почти половину урожая, вырванного из земли зубами, отдавали баю, а нынешние дехкане свободны от этой тяжелой повинности.

Собрание снова шумно одобрило слова секретаря райкома.

— А теперь,— сказал Ахмедов,— посмотрим, в чем же заключается благодать, которой всегда ждет земледелец, но не всегда понимает, откуда она идет. Всем вам хорошо известно, что, например, Тангрикул-хаджи брал с каждого гектара земли до сорока пяти пудов хлопка. А сколько получали, ну, к примеру, вот вы, Гулям-ата?— обратился он к сидевшему в первом ряду черному, худому дехканину с длинной редкой седоватой бородой.

Гулям-ата, то бледнея, то краснея, медленно поднялся с места.

— Да какое было у меня хозяйство? Всего моего урожая не хватало на то, чтобы уплатить долги, потому я и перестал сеять хлопок,— глубоко вздохнув, сказал он и опустился на свое место.

— Значит,— продолжал Ахмедов,— хороший урожай всегда доставался большому хозяйству, а издольщикам нечего было и думать о такой благодати. В чем же тут дело? А вот в чем. Тангрикул-хаджи имел большое, крепкое хозяйство, а у издольщика хозяйство шаталось от легкого ветерка. Тангрикул-хаджи имел толстый кошелек и много земли, он мог оседлать десятки и сотни ишмат-ташматов и взять от земли все, что она могла дать, а вот Гулям-ата — кого мог он оседлать, кроме своего кетменя и самого себя? Так в чем же заключается секрет благодати высокого урожая? А в том, чтобы лучше обрабатывать землю и научиться брать от нее все, что она может дать. Это легко делать в крупном хозяйстве, где можно иметь и много рабочего скота и требуемый сельскохозяйственный инвентарь, машины, которые даст

¹ Ишмат и Ташмат — распространенные имена, стали нарицательными.

паша промышленность, удобрения и хорошие семена. Могут ли сейчас располагать всем этим дехканские хозяйства, большинство которых еще молоды, а старые едва дышат? Нет, не могут. Так что же делать? Есть два пути: один из них — это путь Тангрикула-хаджи, а другой — путь бывших батраков и издольщиков Мирзаарала и Бахрабада. Если пойти по пути Тангрикула-хаджи, то для того, чтобы появился один бай, присваивающий себе высокие урожаи, десятки и сотни батраков и издольщиков, вроде Камбарали и Гуляма-ата, должны остаться «прежними ишмат-ташматами». Но партия и Советская власть этого допустить не могут, никак не допустят! А вот если пойти по пути Мирзаарала и Бахрабада, тогда дехканские хозяйства, объединившись, превращаются в крупное хозяйство и становятся большой силой. Партия большевиков и Советская власть поддерживают такое хозяйство. Вот это и называется колхозом.

Ахмедов призвал капсанчей организовать колхоз и на том закончил свою речь. Посыпались вопросы. Ответив всем, секретарь райкома хотел сесть, но в это время поднял руку молодой парень с опухшим желтым лицом. Издав сухой гортанный звук, точно курица, подавившаяся зерном, он хрипло, с натугой крикнул:

— Вопрос!.. Значит, власть отнимает ту землю, которую сама дала дехканам?

В рядах дехкан послышался смех.

— У кого это отнимает? — спросил Ахмедов. — Отнимает у дехкан и отдает обратно баям, — так, что ли? Передайте тому, кто научил вас задать этот глупый вопрос, что землю, отобранную у баев, Советская власть передала настоящим ее хозяевам, а баям рассчитывать на нее нечего. Так и передайте!

Поднялся хохот, кое-где раздались рукоплескания.

Парень, не понимая, что произошло, стоял, вытаращив глаза и разинув рот.

Бутабай язвительно бросил ему:

— Протух твой вопрос, Нишанбай! Поди принеси что-нибудь посвежее от Акилхана-туры!

Снова послышался смех. Парень сел, угрюмо озираясь вокруг.

Начались прения. Первым попросил слово крепкий, стройный парень по имени Рузымат.

— Я скажу немного... — спокойно и твердо начал он,

щуря глаза.— Ахмедов-ака говорил о тракторной обработке земли. Я тоже хочу сказать об этом. Весной я был в Катартале. Там организовался семенной совхоз. И вот как-то к директору совхоза приходит дехканни и говорит: «У меня, друг, сам знаешь, рабочей скотины нет. Что я буду делать с землей? Вспахал бы ты мой участок совхозным трактором, а я, сколько надо, отработаю за это совхозу. Если получу урожай, на будущий год обзаведусь лошадкой...» Ну, директор согласился, но когда увидел участок дехканнина, сказал: «Пахать такие маленькие клочки земли трактором — все равно что стрелять из пушки по перепелкам. Вот если твои соседи согласятся соединить свои участки с твоим, тогда я за один день вспахну все это поле». После этого тринадцать хозяйств объединились в одно товарищество по совместной обработке земли. Директор совхоза прислал трактор, и за два дня эта сильная машина не только вспахала все поле, но и подняла соседнюю целину, которую раньше дехкане ничем не могли взять. Теперь у товарищества пахотной земли стало вдвое больше. А когда разложили оплату трактора на тринадцать дворов, то оказалось, что на один корм лошадям при такой пахоте пришлось бы истратить в пять раз больше.

— Вы понимаете теперь, что это значит?— спросил секретарь райкома.

— Трактор — выгодная машина.

— А еще?

— Он требует больших полей, объединения дехкан в товарищества, вот как в этом самом Катартале.

— Зародыш, зародыш!— подхватил Ахмедов.— Вот из такого товарищества и вырастает колхоз. Сама жизнь заставляет дехкан объединиться... Ну, а еще что увидели там интересного?

— Хорошо трактор вспахал... да и люди дружно взялись за дело. Когда я вернулся из Катартала и рассказал обо всем Бутабаю-ака, он сказал: «И нам, пожалуй, надо написать в район заявление». Но тут подходит к нам Тилла-бобо и говорит: «Что дорого — то мило, что дешево — то гнило; тут что-то неспроста, подождем, посмотрим...» — и отсоветовал писать заявление.

— Не я один так говорил,— недовольно проворчал Тилла-бобо.

Бутабай крикнул:

— Не вы один, но начали вы!

— Верно, и другие были против...— продолжал Рузымат,— они-то, и вы вместе с ними, и помешали движуть дело. А почему бы нам не объединиться? Если мы объединимся, станем колхозом, государство даст нам трактор, и мы увеличим свое хозяйство в несколько раз. Вот что я хотел сказать... Да, чуть не забыл — у нас в кишлаке ходят разговоры, будто трактор выжигает землю, выводит из нее весь жир, и на такой земле будто даже трава не растет. И еще распускаются слухи о том, что трактор работает на сале свиньи.

— А вы знаете, от кого идут такие разговоры?— спросил Ахмедов.

Молодая женщина, с грудным ребенком на руках, еле слышно проговорила:

— От Нишанбая, от кого же еще? Нишанбай проходил мимо кладбища и слышал голос... Он сам об этом рассказывал. Другие подхватили — вот и пошло...

Ахмедов не смог сдержать улыбки.

— Так, так... Нишанбай, значит, распускает такие слухи? Но они исходят не от него самого, мне кажется, Нишанбай — вроде насадки: какое бы яйцо ни положил под него хозяин — куриное или утиное, все равно высиживает. Товарищ Бутабай здесь говорил, что одно тухлое яйцо под ним уже лопнуло. Другие, видать, такого же сорта...

По рядам дехкан опять прокатился смех. Ахмедов повысил голос:

— Вся эта злостная агитация, по-моему, идет от людей, которым невыгодно, чтобы вы объединились в колхоз! Есть у вас в кишлаке такие люди?

Со всех сторон послышались голоса:

— Есть!

— Найдутся!

— А раз так,— заключил Ахмедов,— пусть эти люди подадут голос не с кладбища, а вот здесь, перед народом.

— Правильно, товарищ Ахмедов! Пусть выйдут и скажут!— горячо проговорил Рузымат и вернулся на свое место.

Сейчас же попросил слово Тилла-бобо. Многие взглянули на Рузымата так, словно хотели сказать: «Ну, держись, парень, достанется тебе от старика!»

А Тилла-бобо, взяв в горсть длинную белую бороду, вышел вперед и, выпрямившись, посмотрел на Ахмедова открытым, спокойным взглядом.

— Хорошо ты сказал, сынок, верно: я уже не прежний капсанчи — я дехканчи! Когда я гнул спину на байбачу Шакирджана, я считал причиной своих несчастий то, что у меня не было ни земли, ни воды. Земля и вода были в руках Шакирджана. А теперь вот и земля у меня есть, и воды много ли, мало ли дает водокачка, а нет, не улучшается жизнь. Ни лошади, ни вола, — когда строили водокачку, я на своей спине таскал кирпичи. День-деньской маешься на своей земле, да одним кетменем много ли парабатаешь? Только и радости, что своя земля, а нужда все та же. Вот почему я и сказал, что я все тот же прежний Ишмат. А причину этого, сынок, повял только сейчас, когда послушал тебя. Оказывается, ты лучше понимаешь наше положение, а значит, тебе ведом и путь к светлой жизни. Если это путь в колхоз, — веди нас туда, сынок, мы от тебя не отстанем. Второе мое слово о тех, у кого опять начинают отрастать когти. И тут я доволен тобою, сынок. Мягкое дерево разъедают черви. Нельзя проявлять мягкость к людям, которые хотят опять затянуть нам на шею петлю, сделать нас прежними покорными ишмат-ташматами. Кто эти люди? Мы хорошо знаем их. Это — Нугман-хаджи, Мирхамид-ходжа, Саид-Насыр, Акилхан-гура, Мирхайдар...

— Эй, бессовестный старик, зачем ты порочишь Мирхайдара-ака? — крикнул кто-то из задних рядов.

— А разве Мирхайдар не делает нас ишмат-ташматами?

— Кого это он сделал Ишматом? — раздался все тот же недовольный голос.

Тилла-бобо, откинув назад голову, обвел глазами задние ряды, но не нашел того, кто говорил, и сердито наммурил брови.

— Эй, ты, чего прячешься и чирикаешь, как пугливый воробей? Выйди сюда и скажи! А кто обрабатывает рисовые поля Мирхайдара в Тохлимергане? Кто ухаживает за его фруктовым садом в Митане? А ну-ка, Мамедали, — обратился он к высокому парню, стоявшему на краю площадки, — за что дал тебе Мирхайдар на время пахоты свою пару волов? Чем будешь платить «благодетелю»?

Парень пригнул голову, стараясь спрятаться за спинами стоящих перед ним.

— Вот это разве не показывает, как Мирхайдар делает из нынешних дехкан прежних ишмат-ташматов? — воскликнул Тилла-бобо и сурово закончил: — Надо надеть узду на таких людей, которые обманывают власть и по-прежнему сосут кровь дехкан, как пиявки!

После Тиллы-бобо говорили многие.

Одни, жалуясь на бедность, на то, что в хозяйство пет ничего, кроме кетменя да собственных рук, прямо заявляли о своем желании вступить в колхоз, другие задавали множество вопросов, колебались, не решаясь сказать свое последнее слово, но все поддерживали предложение Тиллы-бобо — принять решительные меры против кулаков.

Решение об организации колхоза было принято подавляющим большинством голосов.

Как будто все вопросы, поставленные на собрании, получили полную ясность. Однако не прошло и недели, как возникли новые сомнения, казавшиеся многим неразрешимыми, — и снова пошли среди капсанчей разговоры, споры и пререкания. Даже наиболее горячие сторонники колхоза неопределенно покачивали головами: такой недружный народ, — разве уживутся такие люди в одном хозяйстве? Сомневающиеся задумывались: а что, если организовать не колхоз, а маленькие колхозики из одинаковых хозяйств, куда бы вопли люди, которые доверяют друг другу?

3

Наступила зима. В начале января в Капсанчи прибыл председатель обкома партии и остановился в доме председателя сельсовета Самандарова. Второй секретарь райкома Шадиев, провожая его, говорил: «Там все дехкане единодушно подняли руки за колхоз. На кулаков показывают пальцем и требуют: «Уберите их вон!» Так что все готово: тронешь рукой — и вся масса сдвинется с места».

На следующий день было созвано собрание дехкан-бедняков.

— Падал снег; в сумерках тускло белела земля. На деревьях надсадно и хрипло каркали вороны. Бедно одетые люди, ежась и дрожа от холода, один за другим подходили к чайхане на площади Бакакуруллака. Чайхана летняя, стены — щиты из камыша. В щитах много дыр, кое-как заклеенных газетной бумагой.

Внутри шумно, тесно. У женщины на руках плачет грудной ребенок. В углу вспыхивает и гаснет огонек чилима. Под потолком горит маленькая висючая лампа: ее слабый желтоватый свет падает на стол, покрытый красной бумажной материей, на портреты и плакаты, развешанные по задней стене, на головы людей, сидящих близко к столу.

Самандаров вывернул фитиль лампы, затем постучал карандашом по столу.

— Граждане, тише! Эй, апа, успокойте ребенка! А вы там, в углу, кончайте курить!.. Общее собрание дехканбедняков объявляю открытым. Будем обсуждать вопрос о колхозе. Слово имеет представитель обкома товарищ Сафаров!

— Товарищи! — заговорил Сафаров молодым, звонким голосом. — Меня направил к вам областной комитет партии, чтобы помочь вам организовать колхоз. Сам я рабочий — шахтер, но вырос тоже в киплаке, в дехканской семье. Отец мой жил в Кудаше и обрабатывал землю кокандского бая, кривого Адыла. Когда бай создали в Коканде свое правительство и им понадобился командующий для несуществующего войска, этот самый кривой Адыл привез откуда-то бежавшего из Сибири головореза Иргаша и посадил его на белую кошму. Да вы, наверно, и сами не раз слышали об этом главаре байской контрреволюции — о нем в те годы даже песни пели:

Кому жаловаться, если у власти кривой Адыл?
Начал он войну — сколько крови дехканской пролил!
Но поднялся народ — и удрал проклятый Адыл,
Удрал трусливый шакал в глубь Афганистана, в Кабул.

Несколько суровый с виду Сафаров теперь сразу показался всем близким, простым человеком. Собрание зашумело, лица батраков оживились.

Сафаров продолжал:

— Моего отца расстрелял один из курбашей этого са-

мого Адыла — Пайгамбаркул. Для чего я об отце говорю? А для того, чтобы вы яснее видели свое положение — положение бедняков-дехкан. Мой отец был бедняком, всю жизнь работал на бая Адыла. А когда он встал на борьбу за лучшую жизнь, кривой Адыл жестоко расправился с ним. И так всегда, — как только бедняк поднимает голову, бай поднимает камень. Вы видели это во время земельной реформы и раньше... Вот теперь и подумайте, что такое для вас колхоз...

— Знаем! — слышались голоса.

— Хорошо, — улыбнулся Сафаров. — Мне известно, что вы, когда у вас был секретарь райкома Ахмедов, вместе с дехканами Кошчишара и Кугазара дружно голосовали за колхоз.

Бутабай, сидевший позади всех, поспешно выплюнул изжеванный табак и, вытерев усы концом платка, которым была обвязана его голова, поднял руку.

— Можно? — спросил он и встал. — Я вот что скажу... Прав, тысячу раз прав товарищ Сафаров! Это верно, что мы дружно голосовали за колхоз. Почему? Потому что колхоз — полезное дело для бедняков. А почему — полезное? Потому что кулак запищал. Когда спросили у петуха: «Как ты узнаешь о приближении рассвета?», он ответил: «Очень просто — услышу, летучая мышь запищала — значит, скоро утро».

Все засмеялись, начали аплодировать.

Бутабай сел.

Поднял руку Камбарали:

— Вопрос... Вопрос к вам, товарищ Сафаров! Вот товарищ Ахмедов прошлый раз говорил, что колхоз ведет прямо в социализм. А что, он ведет туда всех или только тех, кто желает, а кто не желает — остается?..

Сафаров еле удержался от смеха.

— Эх, темный вы человек! — зашумел Бутабай и начал объяснять, что такое социализм, но, не находя нужных слов, сам попал в трудное положение.

Тогда Сафаров подсказал ему несколько примеров и помог ему объяснить суть дела.

— Нет больше вопросов? — снова заговорил Сафаров, когда Бутабай закончил свои объяснения. — Тогда я попрошу высказаться вот по какому вопросу. Кулаки-бай всюду мешают дехканам организоваться в колхозы, ведут властную агитацию против колхозов, заугивают тех, ко-

го привыкли держать в своей кабале. Правительство приняло решение — отбирать у кулаков землю, инвентарь, скот, а их самих переселять в другие места. Как вы думаете, не настало ли время кое-кого выселить из вашего кишлака, чтобы не мешали вам строить новую жизнь?

Собрание минуту молчало, а потом вдруг всколыхнулось, зашумело, со всех сторон раздались одобрительные возгласы:

— Вот спасибо твоему отцу!

— Правильное решение — выгнать их всех из кишлака!

— Отобрать землю! Нашим потом и кровью нажили они ее!

— Тогда называйте тех кулаков, которых необходимо выселить, — предложил Сафаров и обернулся к председателю сельсовета: — А вы пишете, товарищ Самандаров. Первым... кого записать?

Все молчали. Дехкане нерешительно переглядывались, некоторые, опустив головы, смотрели в землю. Сафаров повторил свой вопрос. В первых рядах зашевелились, подняли головы и робко, озираясь друг на друга, назвали Нугмана-хаджи Каландарова.

— Пишите, товарищ Самандаров... Кто за то, — громко начал Сафаров, — чтобы раскулачить Нугмана-хаджи Каландарова, а самого его немедленно выслать отсюда? Голосую. Кто «за»?

Все подняли руки.

— Дальше кто?

Бутабай не вытерпел, сердито крикнул с места:

— Эй, народ, чего испугались?

Кто-то бросил в ответ:

— Говори, если не боишься!

Бутабай встал.

— Чего мне бояться? Пиши, товарищ Самандаров! Пиши в первую очередь Мирхамид-ходжу, Саид-Насыра, Акилхана-туру, Мирхайдара, Абдумалик...

Он не договорил — лампа вдруг, резко качнувшись, ударилась о потолок и, упав на пол, разбилась вдребезги. В темноте прогремели два выстрела. Все на секунду опешили от неожиданности, затем с громкими криками, давя друг друга, бросились к выходу. Камышовая стена чайханы опрокинулась. Послышался плач ребенка, вопли женщины. Что-то еще разбилось. Кто-то вскрикнул от

боли, кто-то крепко выругался. Над ламповым фитилем на полу вспыхнуло сначала синее, затем уже красноватое пламя. Это загорелся камыш опрокинутой стены.

Сафаров, выбежав во двор, заметил под стенкой двух человек, вцепившихся друг в друга. Одного из них он уже знал: это был Бутабай. Сафаров подбежал, ударил ногой в спину здорового человека, который душил Бутабая, рванул его за ворот халата. Бутабай, вскочив на ноги, схватил валявшееся на земле ружье и замахнулся им. Сафаров удержал его.

— Не надо! Вяжите, от суда не уйдет.

А с площади неслись голоса:

— Держи!

— Бей!

Донесся голос Самандарова:

— Стой, стрелять буду!

Сафаров выбежал на площадь. Там по белому снегу в разных направлениях быстро мелькали фигуры людей. Раздался выстрел. Фигурка человека, бежавшего к реке, ткнулась в снег...

Пожар в чайхане удалось потушить. С площади стали подходить люди, возбужденные, злые. Появились светильники. Бутабай стоял во дворе с ружьем, как на часах; в двух шагах от него лежал связанный Мирхайдар. А через несколько минут привели и Акилхана-туру.

Когда Самандаров, взяв в руки светильник, вошел с группой дехкан в чайхану, кто-то испуганно вскрикнул:

— Тилла-бобо!..

Все обернулись на голос. Самандаров поднес светильник. Тилла-бобо лежал, прижав головой к земле. Из разорванной байской пулей шеи на его белую бороду струилась алая кровь.

Акилхан-тура промахнулся — он выстрелил в Бутабая, а попал в старика...

4

Собрание в чайхане продолжалось и вечером следующего дня. Рузымат, хотя и не назначили его в охрану, стоял у входа с длинной палкой в руке. Каждого вновь приходившего он останавливал, внимательно вглядывался в лицо и только после этого пропуская в помещение.

На собрании Самацдаров огласил список кулаков, которые подлежали выселению. Дехкане единодушно голосовали за утверждение списка. Некоторые из высугупающих при этом указывали, что баи уже начали резать и прятать рабочий скот, увозить в другие кишлаки имущество. Собрание потребовало от сельсовета скорейшего выселения кулаков. Тут же на собрании из активистов были выделены три группы содействия.

Группа в составе Рузымата и Камбарали, во главе с Сафаровым, направилась к Мирхамиду-ходже. Его усадьба, обнесенная высоким дувалом, снаружи ничем не отличалась от многих других усадеб в Кошчинаре. Но то, что увидел Сафаров, войдя в ворота, поразило его. Он даже не представлял, что ходжа так богат. Не усадьба — имение: четыре дома на высоких кирпичных фундаментах, с высокими балконами вдоль стен, разрисованных олеандрами, вазами и кувшинами, фруктовый сад, виноградник, несколько в стороне — конюшни, сарай для коров и овец, кладовые.

Мирхамид-ходжа встретил Сафарова и его спутников как дорогих, долгожданных гостей. Низко кланяясь, он ввел их в комнату, где вокруг сандала были разостланы шелковые одеяла, лежали большие пуховые подушки, а на самом сандале разложены всякие угощения.

Когда Сафаров и его спутники сели, Мирхамид-ходжа достал из сандала большой чайник. Налив в пиналу чай, он сначала сам отхлебнул из нее, а затем протянул Сафарову и, улыбнувшись, спросил:

— Как вапе здоровье?

Рузымат, присевший на пятки возле самой двери, исподлобья взглянул на представителя обкома, словно хотел сказать: «Что же мы пришли сюда — дело делать или байским чаем угощаться?» Сафаров кивнул ему головой, давая понять, чтобы он начинал разговор.

Рузымат откашлялся и начал, хмуря брови и сердито поглядывая на бая:

— Я вам прямо скажу...— Лицо Рузымата приняло решительное выражение, карие глаза стали строгими.— У нас было собрание, вы знаете... Дехкане решили отобрать у вас все, что вы нажили на нашем труде. А вас самого немедленно выселить из кишлака Капсанчи.

Услышав слова молодого дехканаина, Мирхамид-ходжа вздрогнул; его круглое, жирное и красное лицо по-

крылось мучнистой бледностью, а холеная, с легкой проседью борода задрожала. Он, казалось, был оглушен и не знал, что ответить на слова Рузымата. Стараясь не выдать злости и ярости, клокотавшей в его груди, он поднял пухлую руку и тыльной стороной большого пальца стал вытирать покрасневшие и заслезившиеся глаза.

— Так... значит, так,— промолвил он и, не отнимая руки от глаз, которые слезились все больше и больше, отрывисто, пытаясь улыбнуться, забормотал:— Так, так... очень хорошо. Очень! Древние говорили: «Не тому, кто стремится, а кому суждено». Мы суетились, гнались за добром, построили дом, обзавелись хозяйством, а оказывается, не нам суждено пользоваться всем этим. Очень хорошо. Вот и все, больше я ничего не могу сказать. За все будем вас только благодарить. Называете кулаком — благодарим. Будете выгонять — тоже поблагодарим. Мы до сих пор от Советской власти ничего, кроме справедливости, не видели. На свете не было еще власти, которая бы так заботилась о народе. Поэтому мы обязаны признать справедливость такой власти... подчиняться ей беспрекословно во всем. Мы так и делали. Другие подняли руку, замахнулись, мы, низко поклонившись, сложили руки. Другие прятали, мы... вот сами видите: и спички не вынесли за порог.

Рузымат сначала хмурился, старался быть строгим, но к концу сладкой и покорной речи Мирхамида-ходжи строгость постепенно сошла с его лица. А Камбарали, сидевший подле Рузымата, даже глубоко вздохнул, слушая кроткие излияния кулака. Сафаров внимательно слушал, улыбаясь про себя, а когда Мирхамид-ходжа кончил, спокойно спросил:

— Этот дом, вероятно, достался вам от отца?

— Нет,— ответил Мирхамид-ходжа,— здесь были развалины... пустое место.

— Развалины?— переспросил Сафаров.

— Да. Здесь все дома были сожжены басмачами. Мы тогда, чтобы дать пропитание нуждающимся беднякам, построили этот дом.

— В голодный год?

— Да.

— Заставили работать голодных бедняков за чашку джугары? Во сколько же вам обошлась постройка дома?

Сафаров настойчиво продолжал расспрашивать бая,

изредка поглядывая на Рузымата и Камбарали. «Ну, друзья, слушайте внимательно,— как бы говорили его хитро поблескивающие глаза.— Слушайте и смекайте, в чем дело!»

Рузымат сразу опомнился. В лице Мирхамида-ходжи перед ним снова предстал безжалостный враг, коварный, умеющий нажиться на несчастье народа. Брови молодого дехканина сурово сдвинулись, карие глаза сверлили ходжу злым взглядом. Но Камбарали продолжал сидеть с таким мирно-задумчивым выражением на замкнутом усатом лице, словно все, о чем расспрашивал Сафаров бая, его не касалось.

Мирхамид-ходжа хотел что-то сказать, но Рузымат вдруг поднялся и резко оборвал его речь:

— Знаем!.. Давайте-ка лучше займемся делом — нам нужно описать ваше имущество и сдать по описи колхозу. А вы завтра к вечеру должны освободить дом — выехать отсюда и как можно подальше!

Мирхамид-ходжа, поджав губы, почтительно поклонился.

— Хорошо, хорошо, со всей душой.. Только зачем же спешить? Садитесь, позавтракаем, поговорим, а потом..

— Завтракать у нас нет времени,— отрезал Рузымат и обратился к представителю обкома:— Товарищ Сафаров, с чего начнем?

— Начнем с конюшни,— предложил Сафаров и тоже встал.

Поднялся и Камбарали. Все вышли во двор. Сафаров и Рузымат направились прямо в конюшню.

— А вы посмотрите пока коров,— предложил Мирхамид-ходжа, догоняя Камбарали.

— Ладно...— хмуро отозвался тот.

В сарай вошли вдвоем. Там стояли четыре вола, две коровы и два телепка. Мирхамид-ходжа притворил изнутри дверь и кивнул головой, подзывая Камбарали. Тот по понял.

— Подойди поближе,— сказал шепотом Мирхамид-ходжа и вынул из-за пазухи что-то завернутое в платок.— Хи-хи... Сафаров из рабочих? Он, говорят, работает на шахте... Положение рабочего известно. И ваше положение я знаю. Вот это и разделите между собой... Берите! Но это не все, подбавлю... А тот парень еще молод, ему не говорить. Хи-хи.

И не успел Камбарали понять, о чем речь идет, как Мирхамид-ходжа сунул довольно большой сверток ему в руку. Камбарали удивленно спросил:

— Что тут такое?

— Положите за пазуху, потом посмотрите.

Камбарали развернул платок и, увидев толстую пачку денег, оторопел от удивления и испуга.

— Спрячьте за пазуху, спрячьте!— заторопил Мирхамид-ходжа, тревожно озираясь на дверь.

Совсем близко раздался возмущенный голос Рузымата: «А где же рыжая лошадь?» По-видимому, он и Сафаров подходили к сараю. Мирхамид-ходжа взял деньги из рук растерявшегося Камбарали и засунул их ему за пазуху. Открылась дверь, и на пороге показался Сафаров. Мирхамид-ходжа сорвался с места, бросился к корове и стал отвязывать ее от столба.

— Хи-хи... Молочная! Дойтся три раза в день. Хи-хи...

Сафаров, заметив растерянное лицо Камбарали, обратился к нему:

— Что у вас тут случилось?

Камбарали вытащил деньги из-за пазухи и протянул их Сафарову.

Тот сразу сообразил, в чем дело. Мирхамид-ходжа, положив руку на спину коровы, стоял с застывшей улыбкой на раздвинутых толстых губах.

— Сколько вы дали?— строго спросил Сафаров.

— Пять... пятьсот... червонцев, хи-хи...

— А кто вам сказал, что можно купить честного колхозника?— бледнея, крикнул Сафаров.

— Э... э...— растерянно забормотал Мирхамид-ходжа...— Я... я... давал это, хи-хи, не как взятку, а в помощь колхозу... со всей душой... Неужели вы подумали?

— В помощь?— Сафаров недобро усмехнулся.— Вы всегда так щедро раскошеляетесь?

— Да нет... но... Вот ведь описываете же вы все, что у меня есть, так я отдал и деньги... Сам, добровольно, хи-хи...

Камбарали рассвирепел, лицо его налилось кровью.

— Лжете... зачем лжете?— яростно крикнул он.— Вы же сказали, чтобы я поделил деньги с товарищем Сафаровым! Ведь так было? Зачем вы лжете?

— Хи-хи... Вы не поняли. Я хотел через вас передать деньги колхозу.

— Хорошо,— сухо сказал Сафаров.— Напишите заявление в сельсовет. Пишите так: «Вношу пять тысяч рублей в пользу колхоза». И сейчас же отнесите деньги товарищу Самандарову, а нам покажете его расписку. Если этого не сделаете, пеняйте на себя. У нас это строго карается...

— Хорошо, хорошо. Мы так и сделаем,— испуганно забормотал Мирхамид-ходжа.— Я не знал, что надо сдать деньги в сельсовет и с заявлением. Хорошо... я это сделаю со всей душой.

Сафаров молча протянул сверток Мирхамиду-ходже, и тот побежал в дом, чтобы написать заявление. Рузымат, привязав лошадей во дворе, вошел в сарай.

Опись скота и инвентаря Мирхамида-ходжи продолжалась до позднего вечера.

5

Когда Сафаров вошел в сельсовет, трое сидевших в передней дехкан встали и приветствовали его. Ни на одном из собраний представитель обкома не видел этих людей. В комнате Самандарова сидели еще двое. Поздоровавшись со всеми, Сафаров сел на старый, с торчащими пружинами диван и закурил. Самандаров взял со стола несколько исписанных листов бумаги, улыбаясь, подошел к нему и сказал по-русски:

— Лед тронулся, товарищ Сафаров, середняк зашевелился. Пять заявлений...— Он передал бумаги представителю обкома.

— Очень хорошо,— улыбнувшись, проговорил Сафаров и стал читать одно из заявлений, написанное по старой орфографии, арабскими буквами:

«В сельсовет кишлака Капсанчи

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Мухитдин Мухамедсалихов сын, проживающий в махалле Кугазар кишлака Капсанчи, подаю настоящее заявление о том, что в эпоху трудящихся у меня открылись глаза и я принял путь колхозов, открытый рабоче-крестьянской властью, и надеюсь, что колхоз примет меня вместе с одним волком, одной козой, одним ослом и

двенадцатью курицами, в чем по своей воле приложил палец.

Мухитдин Мухамедсалихов сын
в месяц январь».

— А кто это такой?— спросил Сафаров, почувствовав какую-то неприязнь к автору заявления.

Самандаров не успел ответить, как один из сидевших в комнате дехкан, вскочив с места, подошел к двери и, приоткрыв ее, сказал громким шепотом:

— Мухитдин, заходи, сейчас твое заявление разбирать будут.

В комнату вошел худой безбородый человек в широком ватном халате и теплой шапке без меховой оторочки. Низким густым басом, не соответствующим его внешности, он сказал:

— Это я — Мухитдин Мухамедсалихов сын.

— Кто вам писал заявление?— спросил Сафаров.

— Кары писал. А что — или не так? Но дело не в том, домолла, что написано. Я сказал — вступаю в колхоз, значит — вступаю.

• Сафаров засмеялся.

— Так, все понятно... А ну, садитесь сюда, поговорим. Ведь вы как будто не плохо живете. Не бедняк. Почему же решили вступить в колхоз? Что заставило вас подать заявление?

Мухитдин присел на край дивана, неторопливо заговорил:

— Уж вы скажете, домолла. Не плохо... Чем так жить, как я живу, лучше иметь долг в сто золотых. Я один, как палец, а семья большая, все требует: «Дай поесть!» А тут еще вол, осел... они тоже есть хотят. Где же мне взять на столько ртов? Пшеница — не урюк, который сам собой цветет и дает плоды. Чтобы земля дала хороший урожай, кроме силы моих рук, нужны удобрения, хорошие семена, а у меня ничего этого нет. Купить? Кошелек пуст! Сеять много — силы не хватает, а посеешь мало — семью не прокормишь. А сколько заботы и тревоги с этой землей: выпадет дождь немножко больше, так со страхом в душе начинаешь бить лягушек¹. Если вол заревет подряд два

¹ По старинному поверью, если убьешь лягушку, поднимется ветер и разгонит тучи.

раза — всю ночь не сплю: то и дело кожу с коптылкой в хлев. Нет, домулла, невеселая это жизнь — бить лягушек.

А если я заболēju? Что станет со мной и моей семьей, если нагрянет на мой одинокий дом какое-нибудь бедствие? Кто мне поможет? Никто. А колхоз, оказывается, другое дело, прочное, — это недавно секретарь нашего райкома товарищ Ахмедов нам объяснил. После того как уехал товарищ Ахмедов, долго я думал, почти не спал — думал. И, подумавши, твердо решил подать заявление, чтобы приняли меня в колхоз. Вот и подал.

Сафаров ударил ладонями по своим коленям и встал.

— Послезавтра на собрании первое слово будет ваше, Мухитдин-ака.

Мухитдин беспокойно поднялся и, обратившись к председателю сельсовета, который, глядя на него, приветливо улыбался, спросил:

— Что же я должен сказать?

— А то, что сейчас говорили мне. Хорошо говорили. Вот это и скажете на собрании.

— Я достиг уже зрелости, но еще никогда не говорил на собраниях.

— Надо учиться.

— Домула, — вздохнул Мухитдин, — зачем мне учиться? Зачем речи говорить?

— Если вы вступаете в колхоз, то вам надо уметь говорить с народом. Без этого не обойтисъ.

— Я на любом деле обойдусь кетменем.

— На одном кетмене, товарищ Мухитдин, далеко не уедешь. До сих пор он вам плохо помогал, и вы только что правильно жаловались на него.

Мухитдин, не зная, что возразить, задумался и, вспомнив, что говорил Ахмедов, ответил его словами:

— До сих пор дехкане были рабами земли.

В разговор вмешался Самандаров:

— Да еще не своей, а чужой. А теперь?

— Теперь? — Мухитдин улыбнулся и уверенно сказал: — Теперь я стану хозяином земли паравне со всеми!

— Правильно! — воскликнул Сафаров. — Станете хозяином земли, колхоза, большого хозяйства. А человек, который становится хозяином, думает о недостатках в своем хозяйстве, болеет душой за него; он дает советы и сам слушает других, он обязан высказывать свое мнение

по всем вопросам, которые его близко касаются, а для этого надо научиться говорить. Надо, необходимо, Мухитдин-ака!

— Научимся, товарищ Сафаров. Постараемся.

— Когда?

Мухитдин, засунув руку под шапку, почесал затылок и вдруг решительно заявил:

— Ладно, уж если надо, буду говорить!

Обрадованный тем, что его заявление принято, облаканный дружеским разговором, Мухитдин ушел очень довольный, с высоко поднятой головой. Остальные дехканы тоже поднялись. Проводив их, Сафаров прочитал другие заявления.

— А кто этот Абдусмад-кары?— спросил он.

— Один из местных дехкан,— отозвался Самандаров.

— Что-то не похож он на дехканина.

Самандаров выдвинул ящик стола.

— Я как раз хотел поговорить с вами об этом человеке,— сказал он, перебирая бумаги.— До земельной реформы он имел много земли и держал несколько батраков. А во время реформы он заявил: «Все свои земельные излишки отдаю рабоче-крестьянской власти для распределения между трудящимися издольщиками и батраками». Вот протокол — это его точные слова.

Сафаров засмеялся.

— А что ему оставалось делать? Излишки земли у него все равно бы отобрали.

— Сейчас легко говорить, но в то время землевладельцы по ночам охотились за нами с топорами. Такое выступление показывало человека с хорошей стороны.

— А что он делает сейчас?

— Дехканин. Имеет хозяйство ниже среднего, но выше бедняцкого.

— Хотите принять его в колхоз?

— У нас нет никаких оснований не принимать его. Я хочу еще сказать, что он грамотный и умеет работать. Для колхоза сейчас найти секретаря труднее, чем председателя. Не плохо бы сделать его секретарем. Как вы думаете?

Сафаров встал, прошелся, потом закурил папиросу и, пуская колечки дыма, ответил:

— Думаю, что колхозники решат вопрос и о председателе, и о секретаре.

— Да, но здесь нужен грамотный человек.

— Колхозу потребуется немало грамотных людей, — сказал Сафаров. — Но искать их надо не среди бывших кулаков, хотя бы и добровольно отказавшихся от излишков земли. Мне известно, что в некоторых кишлаках сельсоветы создали школы для молодежи, для таких вот парней, как Рузымат, которому надо только помочь немного, и он легко одолеет грамоту. Вот об этом нам надо серьезно подумать, товарищ председатель.

6

Не прошло и двух недель со дня первого организационного собрания бедняков, как большинство дехкан кишлака Капсанчи подало заявление и вступило в колхоз: одни — уверенные, что «наша рабоче-крестьянская власть не поведет дехканство по плохой дороге», другие — следуя примеру первых, а некоторые — рассуждая, что «раз власть взялась за это дело, она будет доводить его до конца».

Сельсовет переехал в Найман, а его прежнее помещение отвели под правление колхоза. Вся мебель правления состояла пока из одного стола, трех скамеек и большого деревянного сундука.

Обобществленный скот разместили в огромном дворе Нугмана-ходжи.

Если не считать мелочных споров о яйце, снесенном курицей, или о том, сколько какая корова дает молока, — обычных женских препирательств, в которые мужчины не вмешивались, — колхозники были очень дружны во всем, что касалось общего хозяйства. Капсанчи, которые при строительстве водокачки считали каждый принесенный кирпич и не хотели лишний раз ударить кетменем ради общего дела, сами дивились теперь своей сплоченности: они словно влились в одну семью. Правда, при выборах правления колхоза опять дала себя знать старая болезнь — поспорили крепко, но споры продолжались недолго. Многие колхозники из Кошчиара хотели провести в члены правления своих людей. Против этого решительно восстали жители Бакакуруллака, а их поддержали кугазаровцы, выдвинув своих кандидатов. Споры о кац-

дидатах разрешил Сафаров, предложив обеспечить представительство в правлении от колхозников каждой махаллы. На этом все и согласилось. Председателем был единогласно избран бойкий и предприимчивый Бутабай.

Колхозные дехканы зажили мирно, дружно, и если бы этот мир не был нарушен со стороны, во всем Кансанчи к весне не осталось бы ни одного единоличного хозяйства.

Но в эти дни в кишлаке Ходжа вспыхнула смута. И так как там против коллективизации выступили не только кулаки, то пришли в смятение те жители Кансанчи, которые только еще собирались вступить в колхоз. Снова поползли слухи — нелепые, пугающие: «Скоро и жены у тех, кто вошел в колхоз, будут общими»; «Все будут питаться из общего котла и спать под одним одеялом»; «У тех, кто не войдет в колхоз, отберут все имущество». Под влиянием этих слухов многие единоличники принялись резать скот или перегонять его на базары и сбывать за бесценок. Волнения в соседнем кишлаке Ходжа, слухи об общих женах, постелях под одним одеялом, уничтожение скота единоличниками заставили насторожиться и вновь призадуматься часть колхозников.

Как-то ночью, после проведенной в правлении колхоза беседы с агитаторами, Сафаров и Бутабай вышли на улицу и направились в Найман. Когда они вошли в сельсовет, Самандаров, приподняв левую бровь, читал за столом какую-то бумагу. Напротив него, на скамейке, сидел с опущенной головой Туляган. Увидев Сафарова и Бутабая, дехканни вздрогнул, сделал движение, как бы намереваясь подняться, но остался сидеть, а Самандаров так углубился в бумагу, что даже не заметил вошедших. По выражению лица обоих Сафаров понял, что между ними что-то произошло, и, чтобы не мешать Самандарову, на цыпочках подошел к дивану и сел. Бутабай остался стоять у порога.

Кончив читать, Самандаров поднял глаза на дехканша.

— Удивил ты меня, Туляган-ака. Скажи, почему ты решил уйти из колхоза?

Сафаров протянул руку к бумаге.

— Можно?

Это было требование вернуть Тулягану обратно то заявление, в котором он просил о принятии его в колхоз. Са-

Фаров прочел заявление и положил на стол председателя сельсовета. Затем, обернувшись к Тулягану, спросил:

— Почему выходите из колхоза? Поверили слухам?

Туляган поднял голову, но тут же, не ответив на вопрос, опустил ее.

У Самандарова от гнева кровь прилила к лицу.

— Да говори же наконец! Что ты молчишь? Язык, что ли, отсох?

Туляган снова поднял голову, посмотрел на председателя, потом, отведя глаза в сторону, хмуро пробормотал:

— Все сказано в заявлении.

— А о чем ты просил раньше?— еще более гневно спросил Самандаров.

Туляган, тупо и мрачно уставившись глазами в угол, ответил:

— Мухитдин настанвал: «Запишемся, Туляган-ака, вместе»,— вот я и записался, не мог тогда отказать ему в просьбе.

— А ведь Мухитдин не требует обратно свое заявление!

— Это его дело. У каждого своя могила. А я хочу взять свое обратно.

Самандаров совсем вышел из себя и грозно крикнул:

— В кишлаке Ходжа ходжи и их прихвостни развалили колхоз! Ты хочешь присоединиться к ним? Стать прихвостнем ходжей?

Туляган сердито посмотрел на председателя сельсовета.

— Это я-то прихвостень?.. Пускай теперь ходжа сам станет моим прихвостнем! Не старое время...

Самандаров рывком выдвинул ящик стола и начал рыться в нем, ища старое заявление Тулягана.

Сафаров кивнул Бутабаю, и тот обратился к дехкану:

— Эй, Туляган-ака, послушайте,— мягко заговорил он.— Нехорошо вы поступаете. Человек вы умный, а верите разным слухам, которые распускают кулаки. Придет время, жалеть будете.

— Это он-то умный? Сказал! Была б у него голова, не слушал бы разных ходжей. Он и тогда жалеть не станет, когда увидит, что прогадал, а просто вздохнет и скажет: «Значит, судьба такая,— нет у меня счастья».—Са-

мандаров вынул из ящика заявленное Тулягана, положил его перед ним и, не глядя на него, буркнул:—Бери и уходи!..

Сафаров укоризненно взглянул на председателя сельсовета и покачал головой, давая понять, что нельзя так разговаривать с дехканином.

Туляган медленно поднялся и, взяв свое заявление, нерешительно повертел его в руках.

— Теперь вернут мне лошадь и быка?— спросил он председателя сельсовета.

— Послушайте. Туляган-ака,— обратился к нему Сафаров,— ваша лошадь и бык стоят на месте, никто их не съест. Но вы понимаете ли, что собираетесь делать? Сказано: семь раз отмерь, один раз отрежь. Подумайте еще раз, хорошенько подумайте и помните — позднее раскаяние винок не идет.

— Не будет тебе ни лошади, ни быка,— сказал Самандаров и подмигнул Сафарову.

Туляган, вытаращив на него глаза, медленно опустился на стул.

— Что? Насилье? Хотите насильно оставить в колхозе? Нет, брат, не такие теперь времена, чтобы... Нет такого порядка!— вдруг крикнул Туляган, и лицо его покраснело от гнева.

— Когда трудящийся дехканин сам не понимает своей пользы, мы заставим его понять!— строго сказал Самандаров.

— Я понимаю, что идет на пользу дехканину! Хорошо понимаю!

— С каких это пор?— вмешался в разговор Бутабай.— Когда надо было возить песок и кирпичи на постройку водокачки, кто забил гвоздь в копыто своей лошади, чтобы она охромела? Ты! А для кого мы восстанавливали водокачку? Для тебя же, дехканина. Так-то ты понимаешь свою пользу? А ну, говори, если у тебя язык не отнялся!

Туляган опустил голову: ему нечего было сказать в ответ на справедливые слова председателя колхоза. Тогда Сафаров подошел к нему и, взяв из его рук заявление, вручил председателю сельсовета.

— Вот так, Туляган-ака, ваше заявление не пропадет в ящике, а вы подумайте еще раз. Подумать никогда не мешает. Хорошо?..

Ничего не ответив Сафарову, Туляган резко повернулся и вышел. Это было так неожиданно для всех, что Бутабай сердито сплюнул и пошел на улицу вслед за Туляганом, а представитель обкома и председатель сельсовета взглянули друг другу в глаза, и у обоих мелькнула одна и та же мысль: «Разозлился или действительно передумал?»

Сафаров закурил папиросу и нервно зашагал по комнате, как всегда в минуты раздумья. Как лучше поступить в подобном случае, он и сам не знал. Вернуть дехканшу вместе с его заявлением быка и лошадь, — пожалуй, и другие середняки за ним потянутся. Не вернуть — значит, подтвердить злостные силенки кулаков, будто коллективизация носит принудительный характер.

Самандаров, облокотившись на стол, заглянул в окно и, ничего не увидев в ночной тьме, обернулся к представителю обкома.

— Ну, товарищ Сафаров, что же получается?

Сафаров откусил зубами намокший конец папиросного мундштука и, выплюнув его, ответил задумчиво:

— Получается?.. Скверная штука получается. Не знаю, что и делать. Придется поехать в райком посоветоваться.

7

На другой день к Самандарову пришли еще два дехканина с заявлениями об уходе из колхоза. Сафаров, посоветовавшись с Бутабаем и Самандаровым, решил немедленно ехать в районный центр, но, выйдя из сельсовета, лицом к лицу столкнулся со вторым секретарем райкома Шадиевым.

В сельсовете Шадиев пробыл очень недолго. Сафаров, председатель сельсовета и председатель правления колхоза надеялись сразу же получить исчерпывающие ответы на все неясные вопросы. Все их сообщения о колхозе неизменно заканчивались словами — «как быть?». Но Шадиев говорил больше сам и плохо слушал, — говорил о колхозах вообще, не давая никаких конкретных указаний. А когда его все же попросили точнее сказать, ка-

кой линии следует держаться по отношению к среднему дехканину, разразился короткой, по чрезвычайно напористой речью:

— Всех в колхозы! Через три недели, самое большее — через месяц, в кишлаке не должно остаться ни одного единоличника!

Самандаров бросил недоумевающий взгляд на Сафарова, и тот, сразу поняв этот взгляд, спросил, как быть, если некоторые середняки уже подают заявления о выходе из колхоза. Шадиев, даже не дослушав Сафарова, стал кричать:

— Как? Что? Выходят из колхоза? Не пускать! Вы знаете, чем это пахнет? За каждого дехканина, который выйдет из колхоза, вы отвечаете своим партийным билетом!

Шадиев уехал. Сафаров был хмур, задумчив и курил папиросу за папиросой. Но ему не хотелось показывать свое подавленное настроение ни Самандарову, напуганному криком секретаря райкома, ни Бутабаю, который совсем пал духом. И он, приободрившись, заговорил своим обычным, решительным тоном:

— Главная наша забота теперь — о середняке. Нельзя допустить, чтобы кулацкая агитация отрывала от нас средних дехкан. А разъяснительная работа у нас действительно поставлена плохо. Надо усилить.

На следующий день поступило еще два заявления о выходе из колхоза, через день еще одно, потом еще два... Самандаров выходил из себя, ругался, но ничего поделать не мог.

Каждый день приносил новые и новые неприятности.

Как-то ночью в колхозный двор забрались воры. Связав сторожа и закинув ему в рот тюбетейку, они увели двух лошадей, трех коров и пять баранов. Прибывший из района следователь три дня производил дознание, многих допросил, но так и уехал, ничего не выяснив.

Единоличники, решив, что «все равно скот будут отбирать», стали напропалую резать подряд всех коров и баранов. Самандаров, не посоветовавшись с Сафаровым, стал применять строгие административные меры к тем, кто резал скот, а результаты получались обратные. Агитаторов иногда не пускали в дома. Горячий и вспыльчивый Рузымат сильно избил из-за этого сына Маткарима

в Кугазаре. Произошел большой скандал, вмешался даже следователь, производивший дознание в связи с налетом воров на колхозный двор. Гулям-ака из-за колхоза разошелся с женой. Старик Нигматулла из Кошчинара стал рубить фруктовые деревья в своем саду на дрова. В кишлаке не так-то много было фруктовых садов, и Сафарова встревожило то, что человек сам разрушал собственное благополучие. Это удивило его не меньше, чем если бы Нигматулла поджег свой дом. Сафаров вызвал старика к себе и сначала говорил с ним по-хорошему, а когда тот проявил упрямство, повысил голос. Но Нигматулла остался непреклонен. «Я рубил деревья, посаженные своей рукой. Если колхозу нужны деревья, пусть сам их и сажает», — сказал он и ушел, хлопнув дверью.

Заявление о выходе из колхоза продолжали сыпаться на стол Самандарова. Все это расшатывало и без того неустойчивое положение колхоза, в котором еще не успела сказаться ни одна положительная сторона обобщественного хозяйства. Колхозники с тревогой думали о завтрашнем дне. Между собой они уже разговаривали как люди, которые взяли на себя непосильное бремя и еще ничего не сделали, но уже устали.

Сафаров предвидел, что положение станет еще более угрожающим, если будет упущено время для начала весенних полевых работ, — колхозники к осени останутся с пустыми руками... И он решил созвать совещание активистов.

На совещании представитель обкома откровенно сказал, какая опасность угрожает колхозникам, если они не проведут организованно весенние полевые работы и сев. Говоря, он внимательно наблюдал за людьми. Вопреки его ожиданиям, настроение активистов было бодрое.

После Сафарова слово взял Бутабай:

— Мы все хорошо поняли, о чем предупреждает нас товарищ Сафаров. Верно, весна уже почти на пороге, и нам пора выходить в поле. Мы, конечно, дружно, как один, выйдем. Это так, товарищи! Но вот вопрос: с чем выходить? Рабочего скота у нас мало, машин совсем нет, да и с семенами плохо. Думаю, что как-нибудь обойдемся, в крайнем случае поможет район... Колхоз — дело серьезное.

— А все же надо надеяться больше на себя,— сказал Самандаров.— У района мы не одни.

— Это так,— согласился Бутабай и продолжал:— Но меня, товарищи, беспокоит, даже скажу — сильно тревожит вот что: есть еще у нас колхозники, которые поддаются кулацкой агитации и думают, что с колхозом ничего не случится, что он скоро развалится.

— Тут все — колхозники. По-моему, никто из них так не думает,— заметил Сафаров.

Активисты дружно поддержали Сафарова.

— Правильно!

— Среди нас нет таких!

— Это кулацкие прихвостни так болтают!— раздались голоса.

Поднялся шум.

Для Бутабая этот дружный отпор был так неожиданным, что он пришел в полное замешательство и сразу забыл, о чем хотел говорить.

— Нет, я не хочу сказать, что все, а некоторые так думают,— поправился он.

— Никто из настоящих колхозников так не думает!— раздался протестующий голос.

— Ну, так, значит, хорошо, очень хорошо...— продолжал Бутабай.— Надо разъяснять, значит. Кулацкая болтовня и все такое... А весну нельзя упускать. Давайте поговорим, посоветуемся... Вот об этом я и собирался сказать. Об остальном, о чем не сказал, скажу после, как вспомню...

Смущенный и красный, он сел и робко взглянул на Сафарова.

Рузымат, слушая Бутабая, все время хмурился. Ему хотелось резко ответить председателю правления, но после драки с сыном Маткарима и нагоняя, который он получил от председателя обкома, он стыдился смотреть в глаза колхозникам. Прячась от внимательного взгляда Сафарова, он сидел в углу, мрачно насупившись. Но Сафаров видел, что он едва сдерживается, и обратился прямо к нему:

— Ты чего прячешься, Рузымат? Говори, твое слово.

— Я не просил слова, товарищ Сафаров,— хмуро отозвался тот.

— Говори уж, ведь вижу, что не терпится что-то сказать! Это лучше, чем махать кулаками.

Рузымат встал с места и, не решаясь пачать, смущенно переступил с ноги на ногу.

— А против председателя можно говорить?

— Здесь собрание активистов, следовательно, нет ни старших, ни младших. Говори, как совесть велит. Хочешь сказать правду,— не жалея родного отца!— ответил Сафаров.

Рузымат улыбнулся, почувствовав в словах представителя обкома поддержку, и сразу овладел собой.

— Тогда я прямо скажу,— решительно начал он.— Удивляюсь, к чему наш председатель передавал тут кулацкие слетни? Говорят: «Если уж и верблюда собьет с ног ветер, то козла, как перышко, понесет в небо»... Когда о развале колхоза начинает говорить человек, которого мы поставили во главе, на кого же нам опираться? Колхоз держится не на тех, кто выжидает да пугливо оглядывается по сторонам. Мы, активисты и агитаторы, создали колхоз, мы же должны и драться за него!..

— Только не кулаками!— вставил кто-то, и по рядам активистов пробежал смешок, но Рузымат не обратил на это внимания и продолжал:

— Бутабай-ака говорит: «Надо разъяснить...» Это верно. Но разъяснить надо тому, кто понимает, тому, чья душа близка твоей душе, а какой толк беседовать о колхозе с тем, кого мать, как говорится, не вовремя родила? Есть ведь такие люди: ему говоришь, а он слушает мычание своего быка.

Поднялся хохот. Рузымат с удивлением огляделся вокруг, как будто не понимая, чему смеются люди.

— Среди колхозников,— заметил Сафаров,— тоже есть такие, которые больше смотрят не на колхоз, а на своего быка. Вот поэтому мы и говорим о необходимости усилить разъяснительную работу. Сам-то ты, Рузымат, ведь тоже не сразу все понял?

— Это верно,— согласился Рузымат.— Речь не о том, что не надо разъяснять отсталым. Следует это делать. Но не только разговорами заниматься. А вот если мы все выйдем в поле и начнем дружно работать,— это многих убедит в пользе колхоза и лучше всяких слов. А если еще и хороший урожай получим, тогда прищемим языки всем, кто болтает о развале колхоза. Вот так, я думаю, надо агитировать за колхоз!

— И я об этом же говорил, что надо дружно, как один, выходить в поле!— обиженно возразил Бутабай.— Ты сидел в углу и плохо слушал!

Тут вскопчил пожилой колхозник Иргашбай и возбужденно сказал:

— Молодец, братец! А ты, Бутабай, не обижайся. Ведь не зря сказано: «Ум не в бороде, а в голове». Рузымат, ты, братец, к своим правильным словам прибавь еще вот что... Погоди, лучше я сам скажу. Средний декантин все еще раздумывает. Некоторые даже уходят из колхоза. А что мы — так и будем сидеть сложа руки и ждать, когда у людей глаза откроются? Что у нас сейчас — работы мало?

Послышались голоса:

— Какое мало? Не знаешь, за что и браться!

— Если захотим, работа найдется!

Иргашбай сел, Рузымат вернулся на свое место. Сафаров посмотрел на Тешабая, который сидел в стороне и, наморщив лоб, задумчиво смотрел в окно, за которым мглисто голубел край неба.

— А вы что скажете, Тешабай-ака?

Тешабай отвел взгляд от окна, медленно поднялся и, покручивая черные усы, чуть заметно улыбнулся.

— Что ж тут сказать! Правильны, видно, ваши слова — ради правды не жалей родного отца. Прямо в лицо скажет тот, кто не имеет злобы. Вот Бутабай-ака нам теперь стал вроде как родным отцом. А мне он давнишний друг. Но я все-таки буду говорить правду. Когда мы выбирали Бутабая председателем, думали так: колхоз — наш новый родной дом, и этот человек, как расторопная невестка, будет хорошо и чисто его содержать. Однако так не получилось. Посмотрите, что творится у нас в колхозе. Зерно, которое было отобрано у кулаков, гниет в сырой конюшне байбаччи Шакирджана. Что, нет другого места? Есть. Дом Мирхайдара пустует, его даже пачинают растаскивать по частям: на днях кто-то снял и упес калитку. Посмотрите, как содержится скот. Янтак, идущий на корм баранам, находится в Бакакуруллаке, а бараны согнаны на скотный двор в Кугазаре и часто остаются голодными. Кто ни подойдет к ним, лижут руки — соли давно не видели. У кулаков отобрали несколько соломорезок, а солому и сено дают коровам в перезаном виде. А на лошадей так просто срам

смотреть. С тех пор как они попали в колхозные конюшни, никто не удосужился взять скребницу и почистить их. Никто не очищает конюшни и от навоза. Нет, плохо мы смотрим за общим добром, нет еще у нас настоящего хозяйского глаза. Наша «шевестка» даже у себя в комнате не может навести порядок. Вот, к примеру, поглядите на это помещение. Здесь собираются люди, а зачем тут валяются хомуты, к чему вот эта корчага? Я хочу еще раз повторить то, что уже сказали другие: кто хочет работать, тому дело найдется. Но добавлю: а кто не хочет работать, тому не место в колхозе! Пора навести в нашем хозяйстве порядок. До каких пор будем раскачиваться? Ждать, пока все вступят в колхоз? Нет, не надо оглядываться на других. Пусть другие смотрят на нас, пусть увидят, в чем сила колхоза, а когда увидят и поймут, сами попросятся к нам... Так или не так, друг Бутабай? — обратился он к председателю колхоза, видя, что тот даже вспотел, выслушав столько упреков.

Собрание зашумело; всем сразу захотелось высказаться. Один за другим поднимались с мест активисты, и общим во всех горячих речах было одно — нечего сидеть сложа руки, надо засучив рукава приниматься за работу!

В принятой резолюции Бутабаю предлагалось навести порядок в колхозном хозяйстве и немедленно организовать полевые бригады. Каждый из активистов обязался привлечь к работе на полях еще по несколько колхозников.

В первый же день полевых работ вышли в поле пятьдесят два человека, на второй день — семьдесят пять, на третий — сто двадцать шесть, а в последующие дни выходило уже около полутора ста колхозников. Среди них оказались даже трое из тех, что подали заявление о выходе из колхоза.

Бутабай воспрянул духом: все, казалось, шло хорошо, можно было надеяться, что колхоз закончит пахоту и весенний сев раньше намеченных правлением сроков.

Однако не прошло и недели, как все надежды председателя чуть не рассыпались в прах. Рузымат и несколько вновь назначенных бригадиров выступили на правлении с неожиданными заявлениями. По их словам, многие колхозники не слушались бригадиров, выходили в поле лишь для отвода глаз и работали спустя рукава.

Бутабай прямо с заседания побежал в конюшню, вскочил на верхового коня и стремглав поскакал в поле. Выехав за крайние дома кишлака, он сразу увидел Тулягана. На лучшей паре колхозных волов дехканин пахал свою землю.

— Ты что это самовольничаешь?— крикнул Бутабай, сдерживая коня.—Тебе же надо пахать там, на Тарнау-баши!— указал он.

— А что мне делать на Тарнау-баши?— проворчал, не поднимая головы, Туляган.—Там у меня нет земли.

— Да ведь мы еще не исключили тебя из колхоза!

— Что же, я должен ждать, пока вы меня исключите, и оставить свою землю непаханой?

Бутабай не вытерпел и крепко выругал дехканина. Туляган нахмурился и, высвобождая правую руку из рукава халата, вышел на дорогу.

— Ты что — ругаться? А ну, слезай с коня!

— Тебе что — подраться захотелось? Я не прочь!

Бутабай спрыгнул с коня. Туляган, угрожающе надвигаясь на председателя колхоза, кричал:

— Мне ты не председатель, как смеешь ругать меня? Может, ты кому и начальник, а мне на тебя тыфу!

— Да такого негодяя, как ты, сколько ни ругай, все в долгу останешься! Весь кишлак загадили вот такие чуждые элементы, как ты!

— Это я — чуждый элемент?— угрожающе переспросил Туляган.— А ну, повтори!

— Сам ты, может, и не чуждый элемент, а поступки твои чуждые. Подумай, куда тебя тянут,— уже спокойнее проговорил Бутабай.

— Ты меня не уговоришь!— непримиримо крикнул Туляган.— Не останусь в твоём колхозе, хоть рушь на мою голову небо, если оно в твоих руках!

Все же, опустив правый рукав халата, он повернулся и пошел к волам.

— Посмотрим, посмотрим...— сказал Бутабай, садясь на коня.—Я еще тебе покажу, как самовольничать. Курицей закудахтаешь, а заставлю работать в колхозе!.. Отведи волов сейчас же в конюшню!

— Верни мою лошадь и быка, тогда я верну волов!

Бутабай опять крепко выругался и, повернув коня, поскакал на Тарнау-баши.

Никто не знал, как пришла новость из города, кто первый рассказал о ней, но она породила в кишлаке Капсанчи самые невероятные слухи. Вечером, на заходе солнца, у калиток, на перекрестках, у лестниц, приставленных к соседнему дувалу, во дворах, на крышах домов — везде и всюду стояли грушами взволнованные люди, бедняки и середняки, единоличники и колхозники и, беседуя, путались между правдой и вымыслом. Говорили, будто пришла в район из Москвы большая газета, где сказано, что не надо колхозов, будто велют наказать вредных руководителей. В районе с утра идет большое собрание; говорят, что колхозы будут распущены, а скотина возвращена хозяевам...

Бутабай вернулся с поля поздно вечером, когда уже совсем стемнело, и об этих разговорах сначала узнал от жены. Сядясь ужинать и думая о своих неприятностях, он плохо ее слушал: мало ли чего не натреплют неугомонные бабы языки!

Но прибежал перепуганный Камбарали, торопливо пересказал все, о чем ему пришлось слышать на улице, и глаза у Бутабая округлились от изумления и тревоги.

— Дураки! — выругал он болтунов и, несмотря на усталость, пошел в правление.

Сафаров и Самандаров с утра уехали в райком и должны были уже вернуться. Во дворе правления толпилось человек десять молодых колхозников. Они окружили председателя и стали расспрашивать о газете, о том, правда ли, что распускают колхозы. Бутабай сурово ответил:

— Болтовня! Вы сами-то эту газету видели, читали ее?

— Газету видели в районе, — ответил один из колхозников.

Бутабай вернулся домой и лег спать. Но заснуть никак не удавалось. В голове проносились тревожные мысли: «А что, если эти слухи верны?.. А может, опять кулацкие выдумки?.. Да, что бы там ни было, а завтра, ожидай, половина колхозников не выйдет в поле. Беда!.. Неужели Сафаров и Самандаров потому и выехали в район и не предупредили меня... Нет, быть того не может!» — решил он, но тревога не проходила. Поворочавшись в постели, он встал и вышел во двор.

В кишлаке стояла тишина. С темно-зеленого неба лил-

ся мягкий свет луны. Бутабай прошелся по двору раз, другой и вдруг остановился. «А что, если они не вернутся и утром?» — мелькнула мысль. Он торопливо вошел в дом, разбудил жену и, сказав, что едет в район, надел теплый халат и направился на конюшню.

Конюх спросонья долго не открывал ему и все спрашивал: кто да зачем в такой поздний час? Наконец, услышав грозную брань Бутабая, он открыл дверь и, чтобы удостовериться — не ошибся ли, поднял фонарь к самому лицу председателя.

— Куда это вы в ночь-полночь?

— В район, в район, — озабоченно проговорил Бутабай. — Ну и дрыхнешь!.. Давай скорее коня, поторапливайся!

Но конюх не двинулся с места. Вместо того чтобы вывести коня, он нерешительно потоптался на месте и хмуро проговорил:

— Так, значит, кончился колхоз...

— Кто тебе наболтал?

— В кишлаке говорят. Разве не так? Почему же вы все удираете?

— Что ты плетешь? Кто удрал?

— Сафаров и Самандаров еще утром ускакали, а теперь вот и вы...

У Бутабая дух захватило от ярости.

— Это какой элемент набрехал тебе? Кто сказал? — загремел он на весь двор. — Ну, я покажу тебе, как распространять разные сплетни! Живо коня! А утром скажешь мне, кто занимается тут кулацкой агитацией!

Конюх, поставив фонарь на землю, бросился в конюшню и через минуту вывел оттуда коня. Стараясь задобрить грозного председателя, он вслед за тем вынес лучшее седло с попоной, живо заседлал коня и открыл ворота.

Бутабай вскочил в седло и галопом вылетел за ворота. А конюх поглядел ему вслед и только головой покачал.

Ярко светила луна. В кишлаке у стен домов и дувалов лежали черные тени. Бутабаю не хотелось в этот поздний час понадаться кому-нибудь на глаза и давать повод лишним толкам. Свернув на тропинку, он выехал за кишлак и направился вдоль черневших в стороне зарослей. По неровной каменистой тропинке нельзя было быстро ехать. Бутабай пустил коня шагом и вскоре пожалел, что поехал этой дорогой. Со стороны зарослей было очень темно. Дул

легкий ветерок, под кустами шевелились тени. Но тени ли? Расстроенному воображению Бутабая стало рисоваться, что его там поджидают озлобленные кулаки, для которых он стал заклятым врагом. Ведь только случайно они вместо него убили беднягу Тиллу-бобо. Бутабай выпул и пожен свой длинный, хорошо отточенный пож и некоторое время ехал так, настороженно взглядываясь в заросли.

Потом ему стало стыдно перед собой за трусость. Как можно быть таким трусом взрослому человеку, который стоит во главе стольких людей! Он вложил обратно в ножны свой пож, выпрямился в седле, громко кашлянул и, поторапливая коня, стал смотреть прямо вперед. Но его так тянуло еще и еще взглянуть, не притаился ли кто под кустами, что он в конце концов плюнул с досады и, перекинув ногу на другую сторону седла, повернулся к зарослям спиной, стараясь уверить самого себя, что он никого и ничего не боится. Конь, позвякивая удилами, шел быстрым размеренным шагом.

В стороне показались дома Кошчинара. Бутабай, что-бы окончательно выкинуть из головы челепые страхи, стал взглядываться в почной кишлак, узнавая дома своих знакомых: «Вон там, третий с краю, навес Нуманджана, а дальше темной полоской растянулся его старый туювник. А чья это калитка чернеет там, как дыра старой гробницы? Да и дом похож на полуразвалившийся склен. Впрочем, он ничем не отличается от других. Все они — старые, покосившиеся, осевшие, действительно, как ветхие гробницы, могилы... Оказывается, кишлак почью не отличишь от старого кладбища. Ай-яй-яй, кладбище и есть!..»

Бутабай отвернулся от кишлака, сел в седле прямо и невольню ударил коня плетью. Конь от неожиданности прынул вперед и помчался по тропинке. Страшные заросли и кишлак, наводящий страх, остались далеко позади. В том месте, где тропинка выходила на большак, начиналась беспредельная степь. Через некоторое время на дальнем конце беловатой дороги, прорезавшей темную степь, показалось несколько черных точек. Это были всадники, ехавшие из районного центра. Вот они разделились: часть повернула направо, в сторону Азизтепе, остальные продолжали свой путь. Бутабай был уверен, что среди них находятся Сафаров и Самандаров. Он остановил коня и стал ждать.

Всадники приближались. Должно быть, они тоже заметили Бутабая. Один из них крикнул:

— Кто это?

— Свой,— ответил Бутабай.

Впереди ехали Сафаров и какой-то толстый человек в ватной куртке и шапке-ушанке, позади них Самандаров и еще двое пезнакомых людей.

— А-а, Бутабай-ака, это вы? Далеко направились?— спросил, подъезжая, Сафаров.

— Да так... выехал встретить вас. Уж больно вы запоздали, вот меня и взяло беспокойство...

Пропустив мимо себя передних всадников и поравнявшись с Самандаровым, он пустил коня рядом с его конем и тихо спросил:

— Верно, что есть новости?

— Да, получепа газета со статьей товарища Сталина «Головокружение от успехов»,— ответил Самандаров.

— Что же теперь будет?

— А что, по-твоему, может быть? Некоторые середняки отойдут на время. Те же, которых в жизни долго были баи и кулаки, останутся. А колхоз станет крепче.

Для Бутабая было достаточно этих трех слов Самандарова: «Колхоз станет крепче». Он облегченно вздохнул и стал прислушиваться к беседе Сафарова с толстяком. Сафаров говорил:

— Теперь отвечу на ваш вопрос. Дело не только в классовой борьбе, а и в том, что колхозы — новая, вилде еще не существовавшая форма организации дехканского хозяйства. И поэтому средний дехканин относился к ней настороженно. Я приведу вам два примера: о картофеле и о калошах... Нет, вы не удивляйтесь, я вам сейчас объясню... Когда впервые в наши места привезли картофель, наши дехкане не хотели сажать его, а уж есть — и подавно. Так что же, в те годы это явилось следствием каких-либо подстрекательств, агитации, классовой борьбы? Ничего подобного. Просто дехкане считали это «земляное яблоко» несъедобным. И то, что они отказались есть картофель, никого особенно не волновало. Возьмем резиновые калоши. В первое время, как они появились, их покупали, а потом перестали. Почему? А потому, что распространился такой слух: «На подошвах калош написано имя божие. Кто носит их, понирует имя аллаха». Оказывается, фабричное производство калош затронуло интересы

кустарей, а вместе с ними и торговцев каушами. Люди было перестали носить калоши, а затем забыли про блявню, разобрались.

Бутабай, не поняв смысла приведенных примеров, тихо спросил у Самандарова:

— К чему это он такую старину вспомнил?

Самандаров ответил:

— А ты слушай внимательнее — поймешь.

— В отношении людей к колхозам, — заключил Сафаров, — есть много такого, что напоминает и нежелание есть картошку и отказ носить калоши — боязнь нового. Только тут вопрос стоит гораздо шире. Тут меняется весь жизненный уклад, и люди побаиваются. Вот что я хотел сказать своими примерами. Попробуй вас заставить насильно есть то, чего вы в жизни не пробовали и считаете, может быть, даже несъедобным, — что вы запоете?

Толстяк громко захохотал.

— Понятно, все понятно!..

Неподалеку от Наймана три незнакомых всадника распрощались и поехали в сторону Бишсерки. Бутабай тотчас же рассказал о разговорах и слухах, которые взбудоражили весь кишлак. Сафаров и Самандаров внимательно выслушали его, а затем разъяснили, что речь идет не о ликвидации колхозов, а об укреплении их и о строгом соблюдении принципа добровольности во всем этом деле.

Жена Самандарова, напуганная всевозможными слухами, не спала и с тревогой прислушивалась к ночной тишине. Услышав приближающиеся оживленные голоса и узнав голос мужа, она выбежала во двор, распахнула ворота. Но в комнате, наливая чай усталым путникам, она не могла удержаться от ворчливых упреков. Бутабай шутиво перебросился с ней несколькими словами, подтрунивая над ее страхами, и остановил вопрошающий взгляд на Самандарове, словно говорил: «Ну, давай же, давай, не томи!»

Самандаров достал из хурджуна большую пачку газет, взял одну и, подсев к огню, стал читать. Бутабай слушал с таким вниманием, что даже дышать боялся. Большая голова его то покачивалась из стороны в сторону, то кивала утвердительно, крупное усатое лицо то улыбалось, то хмурилось.

— Ну как? — спросил Сафаров председателя колхоза, когда статья была прочитана.

Подумав немного, Бутабай сказал:

— Оказывается, дошли в Москву сведения и из нашего кишлака...

Сафаров обменялся с Самаидаровым веселым взглядом и заговорил о предстоящих делах.

— Завтра ни один человек не выйдет в поле — это ясно. Но вы, председатель, не расстраивайтесь. Наша главная задача сейчас — разъяснить все колхозникам. Хорошо бы еще до рассвета доставить газету нашим агитаторам. В девять часов проведем собрание колхозников. Почитаем газету, поговорим обо всем откровенно. А потом поведем людей в поле. Согласны?.. Ну, а теперь можно и отдохнуть.

Бутабай взял пачку газет, выделенных для агитаторов, и поехал домой. По пути он разбудил чайханщика, сообщил ему, что утром будет большое собрание, и велел привести в порядок помещение. Затем поехал на конюшню сдать коня.

Конюх, увидев перед собой председателя, посмотрел на него, как на привидение.

Бутабай въехал во двор, устало сошел с коня и сказал с паусковой суровостью:

— Ну, так какое наказание придумать тебе, чтобы впредь не распускал сплетни разных элементов?— И заговорил обычным деловым тоном, не допускающим возражений:— Сейчас же оседлаешь другого коня. Объедешь всех агитаторов в Кошчинаре, Кугазаре и Бакакуруллаке и вручишь каждому по газете.

Он достал из-за пазухи пачку газет, оставил себе одну, а остальные протянул конюху. Уже выходя за ворота, он остановился и добавил:

— Разбуди там кого-нибудь, чтобы конюшню пока постерегли.

Несколько минут спустя конюх вылетел верхом на коне за ворота и помчался по улице кишлака.

9

Утром, едва поднялось солнце, все жители кишлака, молодые и старые, мужчины и женщины, высыпали на улицу. Не все еще было как следует понятно, и каждый старался толковать новости по-своему, в соответствии с

собственными взглядами на колхоз. Но главное — о недопустимости принудительных мер в отношении единоличников — было сразу усвоено всеми.

Собрание колхозников, назначенное на девять часов, открылось в половине девятого. Единоличники и те, что подали заявление о выходе из колхоза и потому считали себя свободными от явки на собрание, тоже собрались вокруг чайханы. Толпа все росла. Некоторым хотелось послушать, что будут говорить руководители, иных влекло посмотреть, не будет ли разваливаться колхоз и что от него останется.

Помещение чайханы не могло вместить всех желающих. Когда Сафаров читал газету громким, взволнованным голосом, в чайхане, во дворе и на улице люди стояли, не шевелясь, стараясь не пропустить ни одного слова. Но прения сразу же приняли бурный характер. Некоторые из дехкан выступили с заявлениями, что их действительно принуждали войти в колхоз, запугивая тем, что единоличнику все равно, дескать, жизни не будет. Некоторые требовали даже распустить колхоз, вернуть скот хозяевам, а отобранное у кулаков имущество поделить. Им страстно возражали активисты, доказывая, что только общими усилиями, дружно работая в колхозе, дехкане смогут добиться высоких урожаев и дальше из года в год улучшать свою жизнь.

Но вот снова выступил Сафаров, и снова в чайхане и на улице наступила тишина.

Представитель обкома был спокоен. Казалось, его ничуть не тревожили выступления некоторых дехкан, стремившихся уйти из колхоза. Он признал ошибки, допущенные при проведении коллективизации, заявил, что в дальнейшем никаких нажимов и принуждений не будет, а закончил призывом строить и укреплять колхоз, не бояться неизбежных в первое время трудностей и уметь преодолевать их.

— Единственно правильный путь для выхода из нищеты, темноты, бескультурья, — сказал он в заключение, — это путь колхозов. Это путь, который открывает перед крестьянством широкую и светлую дорогу к социализму. Колхозы существуют, они будут развиваться и крепнуть. А те, кто сегодня сомневается в них, я уверен, — завтра тоже станут колхозниками. Будущее покажет, что мы были правы!

Собрание кончилось. Дехкане-единоличники и те, кто уже распрощался с колхозом, внимательно смотрели на колхозников, вышедших из чайханы, стараясь определить, кто из них останется в колхозе и кто уйдет из него. Но колхозники были серьезны, молчаливы, и трудно было что-либо угадать по их задумчивым лицам.

Когда все вышли из чайханы, Бутабай подозвал к себе бригадиров и, несмотря на то, что задания на день были всем хорошо известны, начал громким голосом повторять их. Бригадиров поняли, в чем дело, и тотчас принялись выкрикивать имена колхозников, собирая свои бригады. Не прошло и четверти часа, как мимо чайханы потянулись в поле группы людей, подгоняя рабочий скот.

Однако здесь были далеко не все члены бригад; шумная деловитость Бутабая не произвела того впечатления, на которое он рассчитывал. Почти половина колхозников, сменившись с толпою единоличников, разошлась по домам.

Целый день Бутабай бегал из одной бригады в другую, измучился сам и замучил других, а к вечеру, совершенно разбитый, с воспаленными после бессонной ночи глазами, пришел в сельсовет. Самандаров встретил его неприятной вестью: поступило еще тридцать восемь заявлений о выходе из колхоза. Бутабай хоть и был неграмотным, пробежал глазами по заявлениям, разбросанным по столу, и бессильно опустил на стул.

Сафаров сидел на углу стола и что-то записывал в записную книжку. Бутабай хотел спросить его, что же делать, если середняки заберут из колхоза рабочий скот, и в это время из-за двери послышалось чье-то отрывистое покашливание: «Кхе... кхе...»

Вошел Туляган и, погладив бородку, важно и, как показалось Бутабаю, даже с какой-то издевкой снова откашлялся.

— Кхе... кхе!..

Бутабай сразу понял, что обозначало это издевательское покашливание, и, слегка побледнев, отвернулся к окну. А Сафаров только усмехнулся и, не поднимая головы, спросил:

— Что это вы, Туляган-ака, так странно покашливаете?

— Как хочу, так и кашляю! Я сам себе хозяин! — заносчиво ответил Туляган.

С этими словами он плюхнулся на диван, так что под ним зазвенели пружины, и, отвалившись к спинке, громко рыгнул. Затем вынул из кармана кисет, бросил в рот щепотку жевательного табаку, подвигал челюстями и зашепелявил:

— Теперь уж, товарищ Самандаров, может, вернете мне моего бычка и лошадку?

— Хорошо, вернем,— хмуро ответил Самандаров.

Наступила тишина. Самандаров перебирал бумаги на столе, делая на них какие-то отметки, Сафаров продолжал писать, а Бутабай не отрывал взгляда от окна. После долгого молчания Туляган поворочал языком во рту и вдруг выплюнул свою жвачку. Зеленый опметок шлепнулся на пол перед диваном.

Бутабай еле сдерживался, чтобы не прикрикнуть на распоясавшегося дехканина. Но, заметив предупреждающий взгляд Сафарова, он со всей возможной для него мягкостью только проговорил:

— Здесь не место плевать. Не в своем хлеву...

Но Туляган даже ухом не повел, словно в комнате и не было председателя колхоза. Помолчав еще немного, он обратился к Самандарову:

— О земле ходят какие-то новые разговоры. Как это будет теперь, товарищ представитель?

— Какие разговоры?

— Говорят, нам будут отводить землю в другом месте.

— Это верно,— сказал Сафаров и, оторвавшись наконец от своих бумаг, разъяснил:— Если ваша земля вклинивается в колхозную, сельсовет отдаст вам другой участок.

— А если я не захочу брать землю, которую отдаст сельсовет?

— Ну что ж, если будет возможно, отдадем там, где вы пожелаете.

— А если я и ту не захочу?

— Поймите, Туляган-ака, нельзя дробить колхозную землю!

— Мне-то какое до этого дело!

Бутабай не вытерпел и раздраженно бросил:

— Земля государственная! А власть, где захочет, там и отдаст участок.

Туляган выпучил глаза на него.

— Какая власть?

Бутабай презрительно посмотрел на Тулягана в упор.

— Рабоче-крестьянская. Не знаешь?

— Рабоче-крестьянская? Значит, все-таки власть рабоче-крестьянская? Так, значит, власть — это я? — Туляган ткнул пальцем себя в грудь. — Я — тот самый дехканин, который имеет власть. Так я считаю.

Такой ответ Тулягана озадачил Бутабая, и он, не зная, что ответить этому заносчивому человеку, бросил взгляд на Сафарова.

Сафаров, еле удерживаясь от смеха, обратился к Тулягану:

— Где вы сидите?

Туляган, довольный тем, что заставил замолчать председателя колхоза, важно ответил:

— Сижу в сельсовете, а что?

— А не является ли этот сельсовет рабоче-крестьянской властью в кшшлаке?

— Что ж... так она может насильничать?

— Кто это «она»? Вы сказали, что власть у нас рабоче-крестьянская, а вы — тот самый дехканин, которому принадлежит власть. Верно, я знаю, что вы и есть «тот самый дехканин», но всякий, кто вас не знает, увидев, как вы сейчас ведете себя в сельсовете, едва ли согласился бы со мною в том, что вы «тот самый дехканин».

Туляган сразу остыл, не только остыл, но и растерялся.

— Я... что я сказал? Что я сделал?

— Если вы не хотите понять, в чем заключается недопустимость вашего поведения, я объясню это словами старой сказки, которую я слышал еще в детстве. — Сафаров нервно поднялся и прошелся по комнате, затем закурил папиросу и начал: — Однажды какой-то хан разозлился на одного невинного человека и приказал слугам его казнить, забросав камнями. Бросать камни он приказал всем и сам наблюдал, все ли выполняют его волю. Среди толпы находился и брат несчастного. Он решил обмануть хана, — как бросишь камень в родного брата? Он вырвал из своего халата комок ваты, скатал его и бросил. Брат стоял и мужественно молчал под ударами камней, а когда в него попал комок ваты, он вдруг закричал от боли... Вот так всегда и бывает, Туляган-ака, — комок ваты, брошенный родным человеком, ударяет больнее, чем камень, брошенный врагом.

Туляган молчал, глядя в сторону. Жилы у него на висках вздулись, кончик носа заблестел от пота.

— Табак жевать умеешь, а вот уважать власть и самого себя не умеешь. В голове не хватает,— проговорил низким сердитым голосом Бутабай.

Сафаров сделал ему предупреждающий знак: «Довольно».

Туляган глухо промолвил:

— Когда гневаешься, разум молчит.

— А на что вы разгневались?— спросил, улыбнувшись, Сафаров.

— Бутабай кричал на меня: «Будешь кудахтать, как курица, а я все равно заставлю тебя работать в колхозе!»

Сафаров взглянул на председателя колхоза, и тот признался:

— Верно, я так сказал. Но ведь товарищ Шадпев требовал, чтобы все сто процентов дехкан были в колхозе. Помните? Вместе со всеми я тоже совершил ошибку.

— Если вы совершили ошибку, я тоже малость ошибся. Мы в расчете,— сказал Туляган; губы его задрожали, и он, не в силах сдержаться, рассмеялся.

Широкое лицо Бутабая тоже расплылось в улыбке.

Туляган вскочил с дивана и обнял председателя колхоза.

— Помирились!.. Оказывается, я больше виноват... Товарищ Сафаров, ты уж извини,— нехорошо я поступил.

— Ладно, нечего извиняться,— сказал Бутабай.— Теперь останешься в колхозе?

— Нет, друг, оставим пока... Может, попозже войду.

— А если попозже мы не примем, это ничего?

— Примешь!

— А вот возьмем, да и не примем!

— Ладно, что ж делать? Отцы и деды наши... Большая часть жизни прожита, как-нибудь проживем и остальную.

Не спрашивая, где и когда он получит обратно лошадь и быка, Туляган приложил руку к груди и боком-бокком вышел из сельсовета.

Бутабай, сильно встревоженный тем, что послышалось еще тридцать восемь заявлений о выходе из колхоза, тут же забыл о Тулягане и заговорил о том, что волновало его больше всего.

— Что же это такое? Еще тридцать восемь — и все, наверно, середняки?

— Да, почти все, — подтвердил Самандаров.

— Так ведь они же весь свой скот уведут... сорвут нам посеvную!

— Что же делать? Вы что предлагаете, Бутабай-ака? — спросил Сафаров.

— А может, так — вернуть им скотину осенью?

— Э, нет, — рассмеялся Сафаров. — Вам мало того, что говорил здесь Туляган: я, мол, и есть тот самый дехканин. И он по-своему прав. Средняков нельзя обижать. Да чего вы опять опустили руки? Ведь кулацкие-то лошади и волю остаются! Значит, можно работать. А то и кетменем придется помахать... Ничего! — Минуту подумав, продолжал он: — Государство тоже поможет. Я слышал, что в нашем районе будут организованы машинно-тракторные и машинно-конные стапции. Трудно придется только в этот первый год, а с будущего будут нам помогать крепко. Народ у нас теперь подберется такой, который будет драться за свой колхоз. Вы только не распускайте вожжи... Ну ладно, — оборвал он себя, — завтра на заседании правления поговорим о плане посеvной! Вижу, что устали вы за эти сутки. Идите-ка домой и отоснитесь как следует.

Бутабай вздохнул и поднялся с места.

10

Единоличники, пашни которых вклинились в колхозные поля, вначале никак не хотели брать землю в другом месте. Ездили в район, жаловались на сельсовет, но когда увидели, что могут упустить время сева, привялись обрабатывать отведенные им наделы.

Дехканам, вышедшим из колхоза, был возвращен весь мелкий скот и коровы, а возмещение за павших животных отложили до того времени, когда «в колхозе заведутся деньги». Из рабочего же скота правление колхоза вернуло лишь часть волов и лошадей, а другую часть обещало отдать лишь после «большого собрания», на котором должен был решиться вопрос — кто и как возместит стоимость зимнего прокорма скота. Но когда состоится это

собрание, никто не знал. Бутабай на обращенные к нему по этому поводу вопросы отвечал не то серьезно, не то насмешливо:

— Какие теперь собрания? Видите сами, колхозники по горло заняты в поле.

В колхозе осталось больше всего кошчинарцев, и, может быть, именно поэтому за ним укрепилось название «Кошчинар».

Отлив середняков из колхоза прекратился, но весенние работы очень затянулись. Не хватало рабочего скота, а те из колхозников, которые вступили в колхоз со своими лошадьми и волами, старались заполучить их в свои руки и меньше использовать на колхозной работе, оглядывались на свое хозяйство и почти не слушались бригадиров. Работали нехотя, отлынивали от работы под всяческими предложениями: отлучались «по делу» в сельсовет или в правление и, если никого не находили, просиживали там до вечера, а потом, заметив, что люди возвращаются с полей, поднимались и, позевывая, расходились по домам. Поля были вспаханы плохо, но намеченная планом площадь была засеяна полностью, и колхозные руководители не падали духом — что было недоделано весной, можно было поправить летней обработкой посевов.

В середине июня представитель обкома неожиданно был отозван. Активисты устроили в доме председателя небольшое угощение. В честь Сафарова было сказано много хороших слов, но сам он в ответном слове говорил больше о недостатках в работе колхоза и просил не замазывать эти недостатки, а вскрывать их и решительно устранять.

С отъездом Сафарова Бутабай почувствовал себя молодым хозяином, у которого родители уехали в дальний путь и весь дом оставили на его попечение. Он и побаивался ответственности за огромное хозяйство колхоза, и вместе с тем гордился тем, что на него возложена такая большая ответственность. Вскоре гордость победила чувство неуверенности в себе. Бутабай стал неузнаваем. Начал считать себя чуть ли не выше всех и самостоятельно решал все дела. Если кто указывал на его неправильные действия и распоряжения, он старался унижить такого человека в глазах колхозников. Результаты сказались очень быстро. Члены правления постепенно самоустранились от руководства делами колхоза, бригадиры потеряли всякий

авторитет, а работа самого председателя чрезвычайно усложнилась. Бутабай не знал покоя ни днем, ни ночью, сам вмешивался во все, а дела не улучшались. Несмотря на все его усилия, летняя обработка посевов шла неудовлетворительно. Бутабай ругался с бригадирами, кричал на колхозников и все же самодовольно думал: «Что было бы с колхозом, если бы во главе не стоял такой руководитель, как я?»

В середине лета в районном центре состоялось совещание председателей колхозов. Председатель райисполкома Мавлянбеков выступил на совещании с докладом об очередных задачах по организационно-хозяйственному укреплению колхозов. В этом докладе он обобщал опыт передовых колхозов, которые уже твердо встали на ноги, и особенно много говорил о недостатках отстающих колхозов, вскрывал причины их отставания.

Некоторые из выступающих в прениях упомянули среди отстающих колхозов «Кошчинар». Это задело Бутабая. Он нахмурился и обругал про себя оратора. «Что они понимают в колхозном деле!» — думал он, прячась за спины людей, чтобы его не заметили из президиума и не пригласили на трибуну. Но секретарь райкома Ахмедов увидел его и после окончания заседания позвал к себе в кабинет.

Это приглашение Бутабай принял как знак расположения к себе со стороны секретаря райкома. Войдя в кабинет, волнуясь и задыхаясь, он заговорил о том, как он трудился не покладая рук и все силы отдавал колхозу. Долго говорил он о своих заслугах и о трудностях работы в колхозе «Кошчинар», не забывая добавлять, что они неизвестны тем, кто вздумал критиковать его работу. Ахмедов слушал его, не перебивая. Решив, что секретарь райкома обязательно похвалит его за неутомимый труд, Бутабай коснулся лишь в нескольких словах кое-каких недостатков в работе колхоза и сообщил о своем намерении снять с работы бригадира Тешабая.

— Грубый, упрямый человек, подрывает мой авторитет, — сказал он.

Ахмедов улыбнулся и, прочесывая пальцами свои густые черные волосы, удивленно переспросил:

— Это Тешабай Рахимов? А ведь раньше, кажется, был неплохим человеком.

— Был хорошим, но теперь совсем испортился, — ре-

пительство заявил Бутабай.— Хуже него нет во всем колхозе.

— Вот как...— задумчиво проговорил Ахмедов и, подойдя к дивану, сел подле Бутабая.— Странно. А ведь был одним из передовых людей вашего колхоза. Почему же он так изменился?

Бутабай не знал, что сказать, но, видя, что секретарь райкома ждет от него ответа, промолвил:

— Не знаю.

Ахмедов рассмеялся.

— Вот так раз!.. Председатель — голова правления, бригадир — его рука, и голова не знает, отчего заболела рука... Как же так? А другие бригадиры не испортились?

Бутабай спохватился и, чувствуя, что говорит не то, что нужно, решил похвалить других бригадиров.

— Остальные хороши, очень хороши!— заверил он.

Секретарь райкома недоверчиво покачал головой.

— Нет, товарищ Бутабай, не верится мне, что вам мешает работать Тешабай. Не в этом дело, мне кажется. Вы на совещании, должно быть, обиделись на критику, расстроились и, может быть, не слышали о многом, или не успели еще осознать сущность многих вопросов, которые там ставились...

Бутабай смущенно улыбнулся.

— Верно, товарищ Ахмедов, некоторые слова сильно задели. И несправедливо.

— Ну, справедливо или нет, вы сами потом увидите. В задачу совещания ведь не входило давать оценку работе председателей колхозов. Все дело в том, что наши колхозы вступают на новый этап своего развития и это ставит перед их руководителями новые требования. Если вы не будете действовать согласно этим требованиям, вы не сможете повысить свой авторитет. Вы не думайте — я говорю это вовсе не для того, чтобы защищать Тешабая. Если мнение правления, мнение колхозников таково, что он как бригадир не годится, ни вы, ни я не можем выступить против их решения. Но в связи с этим я должен заметить вам, что, не зная своих людей, вы не сможете правильно их расставить и хорошо организовать работу. И придется вам, как председателю, отвечающему за все, метаться из стороны в сторону, горячиться, кричать, подмешать собой всех бригадиров, а дело от этого не пойдет вперед...

Бутабай слушал и с изумлением смотрел на секретаря райкома. Ахмедов словно видел его, Бутабая, в «Кошчинаре» и теперь мягко, дружески журил его за плохую организацию колхозной работы. И Бутабай тяжело вздохнул.

— Признаю, товарищ Ахмедов, недостатков и ошибок у меня много. С одной стороны, неграмотность, а с другой,— сами знаете...

Ахмедов перебил его:

— Если уж признавать ошибки и недостатки, товарищ Бутабай, так признавайте без всяких оговорок. Другое дело, если хотите вскрыть причины этих ошибок и недостатков. Верно, вы неграмотны... Не могу винить вас за то, что не учились, но могу спросить: почему не учитесь? Что вы можете возразить? Ничего.

Бутабай рассмеялся.

— Невозможно возражать вам, товарищ Ахмедов... Вы во всем правы.

Ахмедов встал с дивана, прошелся по кабинету и остановился перед Бутабаем.

— Так вот, подумайте о том, что я вам сказал, посоветуйтесь со своими людьми, как улучшить работу в «Кошчинаре». А я тоже подумаю и поговорю кое с кем, как помочь вам. После этого мы встретимся еще раз. Согласны?

Из кабинета секретаря райкома Бутабай выходил повеселенным, но все же с какой-то смутной тревогой в душе.

Через неделю он снова приехал в райком и подробно рассказал Ахмедову, что наметило правление для улучшения работы колхоза. Секретарь райкома сообщил, что собирается направить в помощь кошчинарцам одного опытного колхозного работника. Бутабай покраснел от схватившего его волнения. Заметив его беспокойство, Ахмедов сказал:

— Какую работу вы поручите ему — это ваше дело. Но я хорошо знаю этого человека и убежден, что он будет вам хорошим помощником.

Хотя Бутабай и чувствовал, что Ахмедов говорил совершенно искренне, все же спросил:

— А может быть, он придет сразу председателем?

Ахмедов нахмурился и, не считая пущным отвечать

на такой вопрос, стал рассказывать о том человеке, которого намеревался направить на помощь Бутабаю.

Это был Урманджан Аманов, председатель старейшего колхоза «Кызыл Байрак» в Бахрабаде.

11

После уборки урожая, сдав дела новому председателю, Урманджан с семьей переехал в колхоз «Кошчинар». Кулацкие дома в кишлаке были уже заселены бедняками. Урманджан сам выразил желание поселиться в развалинах водокачки, и Бутабай отрядил несколько колхозников помочь ему оборудовать жилье.

Правление колхоза назначило Урманджана председателем совета урожайности и ввело его в свой состав, с тем чтобы позднее утвердить это решение на общем собрании колхозников.

Устроившись на новом месте, Урманджан приступил к своим обязанностям. Несколько дней он занимался тем, что обходил поля колхоза, знакомился с людьми, присматривался к делам правления. Осмотрев кладовые, конюшни, склад инвентаря, он заглянул в отчетность. Все движимое и недвижимое имущество колхоза значилось в одной пухлой, потрепанной тетради. В ней же были записаны имена колхозников. Отметки, кому что выдано, делались тут же в списке, против их имен. На писание отчетов в район шли плакаты, которые вместе с газетами и брошюрами сваливались в углу. Ввиду неграмотности председателя все канцелярские дела вел Абдусамад-кары, добровольный секретарь правления.

С утра до вечера Абдусамад-кары торчал в правлении, свысока разговаривал с колхозниками от имени председателя, но с новым членом правления с первых же дней был подобострастен. Когда в присутствии Урманджана кто-либо обращался к Абдусамаду-кары, он неизменно отвечал:

— Пусть скажут товарищ Урманджан... Их прислал к нам райком.

Урманджан удивленно оборачивался к нему:

— А вы что считаете правильным?

Но Абдусамада-кары трудно было поймать на неправильном ответе. В таких случаях он отвечал:

— Вот я и говорю — вас прислал райком... Если правильно — вы знаете, если неправильно — тоже знаете... Хе-хе! Партийному человеку всегда все ведомо.

Голос у кары был тихий, вкрадчивый, ступал он мягко, как кошка, никогда ни с кем не спорил и с кем надо старался быть обходительным.

Как-то в первые дни знакомства с колхозом Урманджан, воспользовавшись тем, что Абдусамад-кары вышел из комнаты, спросил Бутабая:

— Давно этот человек работает в правлении?

— Кто — кары? По правде сказать, даже не помню, когда он начал работать здесь, — ответил Бутабай. — Сначала так просто приходил помогать мне по письменной части, а потом, уж не знаю как, стал секретарем. Правлением не утвержден, по работяга и в колхозных делах хорошо разбирается. Я без него, как без рук.

— Понятно, — усмехнулся Урманджан. — Но мне он не нравится. Слизяк какой-то... И вовсе он не работяга. Целыми днями сидит здесь, а хоть бы инвентарные записи вел как следует. А уж об отчетности и говорить нечего — ее просто нет.

— Как это нет? В район мы каждый месяц посылаем отчеты. По всей форме. И человек он очень аккуратный!

Урманджан ничего больше не сказал председателю, но решил взять всю отчетность колхоза в свои руки.

Стараясь лучше ознакомиться с местными условиями, Урманджан часто беседовал со стариками. Однажды кто-то из стариков вспомнил о большом наводнении, которое случилось в год земельной реформы. Во время весеннего паводка река хлынула на поля и затопила больше шести тысяч гапатов посевов. Да и жители кишлака оказались под угрозой. По словам старика, если бы не лодки, прибывшие из Балыкчи, погибло бы и немало людей. Другой старик вспомнил при этом, что во время наводнения, которое произошло перед германской войной, утонуло восемь человек из Капсанчей. Старики стали вспоминать, когда были еще большие наводнения, и упомянули год эпидемии холеры, потом год, когда белый царь обстрелял из пушки кишлак Мингтепе. Урманджан сопоставил сроки, проходившие между большими наводнениями, и пришел к выводу, что они повторяются через определенные промежутки времени и что через год-два нужно ждать нового наводнения.

При первой же встрече с Бутабаем он рассказал ему об этом. Бутабай молча выслушал Урмаджака, а на следующий день поднялся на заре и до обеда обошел весь берег реки, начиная с Кугазара и вплоть до Кошчинара. В двух верстах от Кошчинара он обнаружил две широкие балки, которые могли служить выходом для полой воды. Довольный своим открытием, он в тот же день созвал правление колхоза и поставил вопрос о строительстве двух дамб для предотвращения опасности затопления колхозных посевов.

Все члены правления горячо поддерживали предложение председателя. Но Урмаджак, соглашаясь с тем, что необходимо соорудить предохранительные насыпи в балках, стал возражать против того, чтобы приступить к работе теперь же. «Что ему надо? Неужели завидует, что я первым предложил начать это строительство?» — недовольно подумал Бутабай и озадаченно посмотрел на Урмаджака. С некоторым удивлением слушали нового товарища и другие члены правления. А он продолжал:

— ...Сейчас колхозников нельзя будет привлечь к такой большой работе, как строительство дамб. Ничего из этого не выйдет. Уже теперь видно, сколько получат наши колхозники в этом году при распределении доходов. Сыг он пока еще не будет. А песытому человеку лучше потроха, да сегодня, чем курдюк через год. Нам нужно больше всего думать о том, как боставить колхоз на ноги. Спешить с постройкой дамб не следует...

Бутабай, прерывая своего помощника, вдруг загремел оглушительным басом:

— Так как же все-таки — есть угроза или нет угрозы? Надо строить дамбы или не надо?

— Я уже сказал, что надо строить, — спокойно возразил Урмаджак. — Но время ждет; по моим вычислениям большое наводнение будет угрожать колхозным посевам не следующей весной, а позднее. В этом году мы должны все свое внимание обратить на урожай, на увеличение доходов колхозника. У меня есть некоторые предложения...

Урмаджак заговорил о необходимости засеять весной хлопчатником все поля Бакакуруллака, примыкающие к водокачке и головному арыку. Предложение понравилось всем, и даже Бутабай, ждавший момента, чтобы уличить нового помощника в непонимании хозяйствен-

ных задач колхоза, ничего не мог возразить. Урманджан исходил из того, что жители кишлака Капсанчи когда-то занимались хлопководством. Но они уже много лет не сажали хлопка, и молодежь совершенно не знала этой культуры. Поэтому Урманджан предложил создать сборные бригады из людей, более или менее знакомых с хлопком, а бригадирами поставить опытных дехкан; он даже назвал имена стариков, которые могли бы возглавить такие бригады.

Выслушав Урманджана, Бутабай задумался: «Гм... Все правильно. Дельно сказано. Я и сам считал, что на тех землях надо обязательно сеять хлопок. И стариков тех знаю давно, не раз с ними беседовал. Почему же раньше мне не пришло в голову поставить вопрос о хлопке? Даже в беседах с Ахмедовым ничего об этом не сказал, а тот похвалил бы за инициативу...» Словечко «инициатива» Бутабай подхватил из бесед с секретарем райкома, хорошо усвоил его смысл, и оно уже давно не давало ему покоя.

Вопрос об использовании лучше орошаемых полей Бакакуруллака под посевы хлопка был вынесен на общее собрание. Колхозники, понимая, что хлопководство, непосильное для маленького хозяйства единоличника, сулит колхозу большие выгоды, с радостью приняли это предложение. Старик Закир-ата, намеченный в бригадиры, даже так выразился по этому поводу:

— Наконец-то наше правление взялось за ум и придумало одно хорошее дело.

Когда началась весенняя посевная, жизнь в колхозе «Кочичинар» забила ключом.

В эти дни Бутабай почувствовал себя в положении человека, который, еще не научившись как следует ездить верхом, пустился вскачь на резвом коне. Он затевал все новые и новые дела, за каждое дело хватался с удвоенной силой и каждую начатую работу старался, по его собственному выражению, как борец, положить «на обе лопатки». Правда, иногда работа его самого укладывала «на обе лопатки», но он не унывал. Природа наградила его крепким здоровьем, буйной энергией, смелостью, и все это он использовал для того, чтобы быть хотя бы на один шаг впереди Урманджана. Везде и во всем он стремился проявить собственную «инициативу».

Еще зимой Урманджан стал два раза в неделю собирать в красной чайхане бригадиров и активистов, желающих обучаться грамоте. Когда его ученики начали немного читать, он вынес в правлении колхоза предложение обязать всех бригадиров и активистов учиться и постепенно вовлечь в вечернюю школу всю колхозную молодежь. Правление вынесло соответствующее решение, и, чтобы поддержать его на практике, все члены правления и сам Бутабай начали посещать занятия. Бутабай, боясь потерять свой авторитет перед бригадирами, учился очень прилежно и в дни, когда не было занятий, ходил по вечерам к Урманджану на дом, чтобы брать дополнительные уроки. Трудно сказать, чего было в Бутабае больше — упорства, природных способностей или любви к грамоте. Он довольно быстро научился читать и сносно писать, хотя при этом нередко дырявил бумагу кончиком пера и сажал кляксы.

Научившись читать и писать, он стал горячим борником ликвидации неграмотности. Однажды, не посоветовавшись ни с кем, он собственноручно написал и вывесил на дверях правления грозное объявление:

«Всем колхозникам!

Неграмотность всегда служила классовым врагам. Неграмотному колхознику — нет аванса. Кто осенью не сумеет расписаться своею собственной рукой, тот ничего не получит! В отношении тех, кто против, будут приняты меры на собрании. Занятия происходят в красной чайхане в Бакакуруллаке. Тетради и карандаши бесплатно, потребовать от чайханщика.

Председатель правления колхоза
Б у т а б а й Б у р а п б а е в».

Среди молодежи это объявление вызвало только веселые шутки, но стариков очень разобидело. Учиться на старости лет им казалось таким же нелепым занятием, как играть в «пятнашки». Два старика из Кугазара в знак протеста два дня не выходили на работу. А Закир-ата из

Бакакуруллака явился на учебу в чайхану верхом на палочке, со школьной сумкой своего впука.

Урманджана в эти дни не было в кишлаке. Вернувшись из района и увидев объявление председателя, он смеялся до слез. Бутабай обиделся и, как только Урманджан начал убеждать его в том, что стариков нельзя заставлять учиться в принудительном порядке, вспылил:

— Ты всегда душишь мою инициативу! А как их заставишь ликвидировать свою темную неграмотность? Скажи, как?

Много времени пришлось потратить Урманджану на то, чтобы утихомирить разбушевавшегося председателя. Сдался он лишь, когда Урманджан сказал:

— А если товарищ Ахмедов узнает о такой «ликвидации неграмотности»? Или кто-нибудь расскажет об этом на очередном совещании председателей колхозов? Да ведь над тобой будет хохотать весь район!

Бутабай смутился, но признать свою ошибку считал, видимо, ниже своего достоинства. Ничего не говоря, он вышел на улицу, сорвал с двери объявление и сунул его в карман.

Шли первые дни уборочной. Вечером после занятий Урманджан провел в чайхане беседу с колхозниками, которые днем работали на полях, и уехал в райком, а Бутабай пешком пошел домой.

Ночь была лунная, воздух чист и прохладен. Выйдя на верхнюю большую дорогу, Бутабай направился в Кошчинар. Слева от дороги виднелись дома и домишки Бакакуруллака, за ними в просветах между ветвями деревьев поблескивала белая лента реки. Справа пестрым ковром расстилались темно-зеленые хлопковые поля. Уходя вдаль, они постепенно сливались с дальними зарослями, черневшими на самом горизонте.

Довольный хорошим урожаем хлопка, занятиями, беседой, наконец, удивительной красотой почного пейзажа, председатель колхоза весело шагал по дороге и даже напевал какую-то веселую песенку.

На повороте дороги, круто спускавшейся в Кошчинар, Бутабаю встретился Абдусамад-кары.

— Эй,— обратился к нему Бутабай,— почему вы не пришли сегодня на занятия?

Кары ухмыльнулся, перебирая пальцами кончик своей клинообразной сивой бородки.

— Ну и глаз у вас, Бутабай-ака! Просто поразительно. Уснели заметить? Хе-хе... А я думал так — пусть сначала догонят меня, а уж потом будем учиться вместе. Нет, нет, я пошутил, пошутил, — тут же добавил он, увидев, что председатель нахмурился.

— Колхозу; нужна новая грамота, — сказал Бутабай, — а ваша устарела. Да, устарела! Ишняка не впрягают в коляску. Это так. Вы уж не обижайтесь...

Маленькие рысьи глаза кары забегали при этом неожиданном заявлении со стороны хорошо расположенного к нему председателя.

— Вы правы, конечно, правы! Кому теперь нужна старая грамота? Хе-хе... Новая жизнь, новые требования... — зачастил он и продолжал тихим воркующим голосом: — Но сегодня есть уважительная причина. Из города приезжал мой свояк, привез кое-какие подарки, ну... пришлось его провожать. — И добавил совсем тихо: — Я вашей супруге отнес сейчас долю из этих подарков.

— Хм... вот как! — смутился Бутабай, чувствуя неловкость. Подумав, он тряхнул головой. — А ну, зайдём к нам домой.

Некоторое время они шли молча. Кары первый нарушил молчание.

— Мой свояк очень хотел повидаться с вами, да не мог здесь долго задерживаться. Просил передать вам низкий поклон.

— Пусть будет здоров... А чем он занимается в городе? — поинтересовался Бутабай.

— Вы должны его знать. Секретарь в областном исполкоме. Уже два года.

— Э-э, кто же это? Может, Джавдат Наим?

— Он самый.

— Оказывается, у вас там свой человек? И вы не догадались попросить вашего свояка помочь нашему колхозу?

Грузный и толстый кары рассыпался мелким визгливым смешком:

— Хе-хе-хе!.. Да разве я упущу подобный случай? Для пользы колхоза я зернышко вырву из клюва летящей птицы!.. Все, все рассказал ему о наших делах, о всех вуждах...

Входя во двор, Бутабай нагнулся под перекладиной визенькой калитки и сразу увидел здорового курдюч-

ного барана, привязанного к столбу. Баран, повернув к нему голову, жалобно заблеял.

Бутабай пригласил Абдусамада-кары на террасу и спросил:

— Что же это, ваш свояк из города привез в подарок баранов?

— Да нет,— ухмыляясь, ответил кары,— из города он привез два куска атласа. А жена моя решила один из них подарить вашей супруге на платье. Ну вот я и решил присокупить к атласу этого барана, чтобы подарок не получился слишком бедным... В Ходжа-кишлаке мы с одним приятелем на пару откармливали четырех баранов. Сегодня как раз приятель прислал моих.

Баран снова заблеял. Бутабаю показалось, что он блеял очень громко, на весь кишлак. Недовольно поморщившись, он попросил жену показать атлас и, когда та прицесла подарок, начал осматривать его при лунном свете.

— Восьмиударный¹! — заметил кары, просовывая палец под верхнюю полосу.

Бутабай помолчал, о чем-то раздумывая, потом спросил глуховатым голосом:

— Хорошо. Но если мы примем и атлас и барана, то сколько будем должны вам?

Кары сверкнул рысьими глазками и, потупившись, обиженно покачал головой:

— Ай-яй-яй, Бутабай-ака! Разве между нами нет дружбы, которая дороже денег?

Баран заблеял еще громче. Бутабай, стараясь подавить внутреннюю дрожь, помолчал несколько минут и заговорил, с трудом сдерживая возмущение:

— Послушайте, кары, если вы и впрямь думали, что со мной можно так, то стоит вам набить морду. Но давайте лучше кончим по-хорошему. Во-первых, атлас вы вернете своей жене, пусть сама посылт. Жена председателя сроду не посила таких платьев, и теперь еще рано. Так и передайте. Во-вторых, барана вы тоже заберите к себе домой и вместе с другим бараном откармливайте еще месяца два. Когда закончим уборочную и устроим большой той, сами зарежете их и сдадите в общий колхозный

¹ Восьмиударный — гладкий, плотный атлас высшего качества.

котел. В-третьих, можете считать себя спятым с должности секретаря. И, в-четвертых, я присоединяю к вам еще двух таких же жирных бездельников, и вы втроем будете рубить дрова в зарослях, что выше Кугазара. Поняли? Если не поняли, так я объясню вам завтра в правлении. А теперь проваливайтесь...

Абдусамад-кары, увидев, что дела уже ничем не поправить, медленно поднялся, засунул атлас за пазуху, взял барана за поводок и ушел.

А Бутабай накинудся на жену.

— Тряпичница! — рявкнул он, обрушивая на нее весь свой гнев. — Стоит показать красивую тряпку, и она уже готова броситься с крыши вниз головой!

Жена не осталась без ответа.

— А я знала, почему он принес атлас? — сказала она, поблескивая насмешливыми глазами. — Раз он решил преподнести вам такой большой подарок, значит, раньше приручал вас мелкими подачками!

Язвительный тон жены задел Бутабая, но разумность ее довода сковала ему язык, и он не нашелся, что возразить. Он перебрал в памяти все, что хоть в малейшей степени могло казаться предосудительным в его отношениях с кары, и не мог вспомнить ни одного случая, чтобы тот, как выразилась жена, «приручал» его. Не было такого. Но почему же кары осмелился поступить таким образом? На что он надеялся? Бутабай даже не подозревал, что его разговор с Урманджаном относительно секретаря правления был подслушан Абдусамадом-кары.

Чувствуя, что, если жена скажет еще хоть одно колкое слово, ссора неизбежна, Бутабай вышел на улицу.

Полная луна тускло поблескивала из-за легкой дымки, висевшей над горизонтом. Кругом стояла тишина, нарушаемая только ритмичным постукиванием движка водокачки. Где-то вдали звонко заржал конь. «Уж не Урманджан ли возвращается?» — подумал Бутабай и вышел на большую дорогу. Издали приближалась тень всадника, Бутабай пошел навстречу. Это и в самом деле был Урманджан. Увидев Бутабая, он сыркнул с коня и тревожно спросил:

— Что это вы так поздно?.. Что-нибудь случилось?

— Нет, ничего. А вы что возвращаетесь ночью? Нельзя было подождать до утра?

— Да что мне там особенно долго задерживаться? Заехал на полчаса в райком и обратно... Привет вам от товарища Ахмедова. Привез от него хорошую весть.

— Может, зайдём ко мне?

— С удовольствием.

Когда они вошли во двор, Бутабай спросил:

— Так что же это за хорошая весть?

Урманджан достал из кармана газету и протянул ему. Потом стал привязывать коня к столбу, у которого за полчаса до этого блеял барап Абдусамада-кары.

Бутабай поднялся на террасу, вывернул фитиль висячей лампы и развернул газету. Внимание его сразу привлекла статья «Наводнение», обведенная красным карандашом. Хотел было воскликнуть: «Вот видите, я говорю...», но решил промолчать.

Через минуту и Урманджан вошел на террасу.

— Да, вот эта,— сказал он,— читайте. А может, я скорее прочту вслух?

Бутабай не отдал газету. Стараясь не запинаться на длинных словах, он сам вслух прочел статью. В ней говорилось о больших наводнениях, повторяющихся через определенные промежутки времени и приносящих большие бедствия дехканам. Статья призывала жителей колхозов «Кошчинар» и «Кызыл Гайрат» коллективно принять меры для предупреждения наводнений в будущем.

Бутабай, прикинув что-то быстро в уме, заявил:

— Если оба колхоза дружно возьмутся за работу, дамбы можно построить в три-четыре педелл.

— Да, но товарищ Ахмедов советовал нам поговорить насчет сроков с людьми, которые будут работать кетменем и таскать землю на своих плечах.

— Ну, конечно! Созовем общее собрание, обсудим все сообща.

— Я думаю, что на послезавтра и можно бы назначить собрание.

— Хорошо,— согласился Бутабай.— Сделать небольшой докладик на собрании поручим вам,— добавил он, надеясь в душе, что Урманджан предложит делать доклад ему.

Урманджан, подумав, ответил:

— Нет, лучше пусть застрельщиками этого дела станут старики. Поручим сделать доклад деду Закиру. Впро-

чем, завтра решим на правлении. Ну, я поехал. Вот только теперь я почувствовал, как устал.

Бутабай вышел проводить его до ворот. Прощаясь, он неожиданно для самого себя сказал:

— Я снял Абдусамада-кары с должности секретаря.

Урманджан, уже поднявшийся в седло, спрыгнул обратно на землю и с удивлением обернулся к председателю правления.

— Почему? За что?

Бутабай несколько замялся.

— Грамота у него старая... Да и сам он не наш человек...

— Только теперь поняли?

Бутабай вспомнил ехидные слова жены — их мог повторить и Урманджан, и у него не хватило духу все рассказать.

Урманджан крепко пожал ему руку, вскочил в седло и уехал. Бутабай и на следующий день не рассказал ему о случившемся, а с течением времени уже просто стало неудобно говорить об этом.

Абдусамад-кары, опасаясь разоблачений со стороны председателя правления, несколько дней чувствовал себя очень плохо. Но Бутабай молчал, и кары пришел к заключению, что его сняли с должности по указанию Урманджана. По мере того как он сам худел на тяжелой работе, а два барана в овчарне набирались сала, в сердце у него все больше разгоралась ненависть к Урманджану.

На общем собрании, посвященном обсуждению газетной статьи о наводнениях, с докладом выступил Закирата. Выступали и другие старики, и перед глазами колхозников ясно предстала картина наводнения и все ужасные последствия его для посевов. Потом выступил Урманджан. Он говорил уже не о наводнениях, не о дамбах, вернее, не только о них, но и о плане больших работ, стоящих перед колхозом. Строительство дамб должно было послужить только началом, и когда он поставил вопрос — выполнят ли колхозники то, что от них требуется, в этом году, все единодушно ответили: «Выполним!»

Спустя неделю колхозники приступили к постройке дамб и закончили ее ко времени распределения доходов.

В колхозе «Кошчинар» на каждый трудодень при-¹плось по два с лишним килограмма пшеницы и по пяти рублей сорока семи копеек деньгами. Колхозники, получившие в прошлом году на трудодень всего по полкилограмма пшеницы и по рублю двадцать три копейки, почувствовали себя так, словно исполнились все их заветные мечты.

Но это было только начало. Партийцы и активисты, по поручению райкома, начали агитацию за сооружение мощного семнадцатикилометрового оросительного канала, который должен был взять воду из реки Яккобаг и ниже Шуртепе влиться в ту же реку.

Работы начались зимой. Одиннадцатого января на стройку вышло две тысячи триста колхозников. Было тяжело, очень тяжело работать на морозном зимнем ветру. В это самое время из колхоза «Кошчинар» ушло еще несколько десятков дежкан.

Когда Урмаджан в беседе с Сидыкджаном сказал, что из двухсот десяти хозяйств в колхозе «Кошчинар» осталось сто восемьдесят, он имел в виду именно это трудное время.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Распрощавшись со стариком Курбаном, Сидыкджан почувствовал себя человеком, который вдруг отправился в далекое путешествие. Куда он едет, кого встретит на неизвестном, неиспытанном пути, какие неожиданности готовит ему судьба, он не знал. До сего времени жизнь его была серой и однообразной, как степь, раскинувшаяся по обе стороны дороги. Но впереди открывались новые, манящие дали, и сердце Сидыкджана билось тревожно и радостно.

День выдался ясный, солнечный, в небесной синеве — ни облачка. Порывистый ветерок крутил на дороге серую пыль.

Урмаджан ехал молча. Занятый своими мыслями, он смотрел вперед и словно не замечал своего спутника.

Солнце начинало уже клониться к западу, когда они увидели высокий земляной вал, который тянулся откуда-

то из солончаковой, покрытой черлобыльником степи и исчезал в густых зарослях туранги, дикой джиды и вербы.

— Канал,— сказал Урманджан, махнув плеткой в сторону вала.

Раньше, когда речь шла о канале, Сидыкджан представлял его себе обыкновенным арыком, где воды иногда не хватает даже для того, чтобы вращать мельничное колесо, теперь же, увидев целые горы выброшенной из русла канала земли, он воскликнул:

— Эге, так это же огромный канал!

Урманджан, взглянув на него, усмехнулся.

— А ты как думал?

Километра три дорога шла среди диких зарослей. Задумавшись, Сидыкджан и не заметил, как остался один на дороге. «Приехали»,— услышал он сзади голос Урманджана и с удивлением оглянулся — вокруг были те же заросли.

— Приехали, говорю,— повторил Урманджан.

— Куда приехали?

— В кишлак, в колхоз.

— Но я не вижу никакого кишлака.

— Слезай, потом увидишь.

Привязав коней, они вышли на большую площадку. Ее пересекала проселочная дорога. За дорогой, под старым карагачем, виднелась небольшая кирпичная постройка, похожая на развалины железнодорожной будки. Пробоицы в стенах были заделаны битым кирпичом и глиной. Крыша в один скат была покрыта обрывками толя; чтобы листы не снес ветер, на них разложили половинки кирпичей и камни-голыши. Окно казалось значительно выше и шире обычных, но в нем застеклены были только две нижние клетки рамы, а верхние забиты досками.

Урманджан ввел Сидыкджана в небольшой открытый дворик. Позади дома, по-видимому, когда-то находилось еще какое-то строение, но переднюю разрушенную стену его разобрали и получили обыкновенный навес.

— Ну, садись, отдохни,— сказал Урманджан, входя под навес и придвигая тахту к длинному столу.

Прежде чем сесть, Сидыкджан окинул взглядом постройку, заросли камышей, за которыми поблескивала река, и спросил:

— Что тут было раньше?

— Раньше была водокачка.

— А-а, кияжеская водокачка? Курбан-ата рассказывал мне о ней. Бедные капсанчи! Если бы им принадлежала земля, они могли бы еще тогда провести канал для орошения своих полей.

Урманджан рассмеялся.

— А почему же они не прорыли канал сразу после земельной реформы, когда они получили землю? Нет, Сидыкджан, дело не только в этом. Из вязанки стеблей кукурузы нельзя сделать ось для арбы, а из карагача можно. Раньше капсанчи были разрознены. А теперь у них появилась крепкая организация, которая спаяла их в одну семью. Такое большое дело под силу только колхозу, да и не одному. В строительстве канала участвует несколько колхозов.

Из дома вышла жена Урманджана, стройная и довольно красивая женщина. Она поздоровалась с Сидыкджаном и поставила на стол блюдо с тузовыми ягодами и хлеб. Потом вернулась в дом и принесла чай. Расставляя на столе пиалы, она сообщила мужу:

— А у нас гость.

— Да? Кто же?

— Из города. Говорят, агроном.

— Агроном?— переспросил Урманджан и порывисто встал.— Где же он?

— Приводил его сюда Бутабай-ака, но они побыли недолго и ушли вместе. Наверно, сейчас в правлении.

— Ты уж извини меня, брат,— сказал Урманджан Сидыкджану и, поднявшись с тахты, торопливо ушел.

Вернулся он через час, и не один, а с молодым человеком в белых брюках, белой рубашке и соломенной шляпе. Пожимая руку Сидыкджану, приезжий весело сказал:

— Честь имею представиться: агроном Рауф Ибрагимов.

— Запомни имя будущего друга,— сказал Урманджан сконфуженному Сидыкджану и представил его молодому агроному.— Это мой друг детства — Сидыкджан.

Ибрагимов сел на тахту и стал обмахивать шляпой потное лицо.

Сидыкджан точно не знал, что такое агроном, но, когда слышал это слово, всегда почему-то представлял

себе веселого русского старика, плохо говорящего по-узбекски. Поэтому он удивленно взглянул на молодого узбека.

Ибрагимов неторопливо брал с блюда самые спелые ягоды и с удовольствием глотал их нежный, холодящий и немного вяжущий сок. Одновременно он продолжал разговор с хозяином.

— Вот так-то, Урманджан-ака. До осени у вас побуду, помогу, чем удастся, а потом вернусь в Ташкент.

— Не успели приехать, а уж хлопчете об отъезде,— недовольно проговорил Урманджан и шутливо добавил:— Мы как-нибудь уговорим вашу жену пересехать к нам хотя бы годика на три.

— О нет, Урманджан-ака! Во-первых, я еще не женат и не думаю пока жениться. А, во-вторых, если и останусь, через год вы сами отправите меня на учебу. Колхозному кишлаку требуются теперь высокообразованные агрономы, владеющие последними данными науки о хлопководстве. Вы знаете профессора Васильева? Мой учитель. Он говорит, колхозный строй открыл огромные возможности для быстрейшего движения вперед всей нашей агропомической науки... Вот скажите, во сколько трудодней обходится вам центнер хлопка?

Урманджан смутился, не зная, что ответить агроному: он еще не догадался подсчитать это и, как председатель совета урожайности, почувствовал, что сделал большое упущение. Мысленно выругав себя, он проговорил неопределенно:

— Хлопок требует много труда, но в нашем хозяйстве нет ничего более доходного.

— Верно,— подтвердил Ибрагимов,— эта культура дает большой доход, но и требует много труда. А вот агрономическая наука хочет сделать так, чтобы и трудиться меньше пришлось и доходность увеличилась. В этом же дело,— подчеркнул он и, положив в рот ягоду, проговорил мечтательно:— При большой доходности хлопковой культуры да поменьше бы трудодней на центнер!.. Вы думали об этом, Урманджан-ака?— спросил он и продолжал:— Товарищ Ахмедов говорил, будто в колхозе «Иттифак» в прошлом году центнер хлопка обошелся в двадцать один трудодень. Двадцать один! Это очень много.— Ибрагимов откинулся назад, вынул из кармана платок, вытирая пальцы, с хитровой усмешкой скользнул взгля-

дом по лицу Урманджана.— А что если у нас в колхозах центнер хлопка будет обходиться в один трудодень?

Сидыкджан, внимательно слушавший агронома и не проронивший за все время беседы ни слова, тоже перевел взгляд на Урманджана и ждал, что он ответит. Но Урманджан, что-то соображая, не торопился с ответом. Набравшись смелости, Сидыкджан пегромко сказал:

— Тогда люди ели бы из золотых горшков.

— Правильно! — подхватил Ибрагимов.— Золотые горшки делать, конечно, не к чему, но совершенно бесспорно, что хлопковые колхозы стали бы очень богаты. А именно к этому мы и идем. У нас будут тракторы, минеральные удобрения, нам поможет партия, ученые люди... И все это для того, чтобы двадцать один трудодень на центнер хлопка свести к одному!

Ибрагимов встал, чтобы размять ноги, и, выйдя из-под навеса, посмотрел на камышовые заросли, тихо шумевшие от набегавшего ветерка, на изумрудно-зеленые поля за молочно-серой полоской реки, на синеватые горы вдаль. Урманджан, помолчав, глубоко вздохнул и положил руку на плечо Сидыкджана.

— Да, вот такие-то дела, Сидыкджан. Двадцать один трудодень надо свести к одному! — сказал он и тоже поднялся.— А теперь, дорогие гости, извините меня! Мне надо побывать еще во многих местах сегодня. Вы пока отдохайте с дороги, а к обеду я вернусь.

— Да, забыл спросить, — сказал Ибрагимов, выходя вместе с Урманджаном к воротам.— Товарищ Ахмедов говорил мне, что с моим приездом тут уже будет три коммуниста. Кто же третий?

— Ихсан Каримов, бригадир хлопководческой бригады. Он приехал сюда недавно и должен был работать секретарем правления, но сам пожелал работать в поле. На должность секретаря мы готовим одну женщину по имени Зиядахон.

Урманджан ушел.

Вернувшись к столу, Ибрагимов встретил грустный взгляд Сидыкджана и с живым любопытством спросил:

— Что это вы приуныли, товарищ?

Сидыкджан вздохнул и улыбнулся. Ибрагимов шутливо начал рассказывать о приключениях в дороге и быстро развеселил молчаливого собеседника. Не прошло и

получаса, как Сидыкджан откровенно рассказал обо всем, что произошло с ним за последнее время.

— Все понятно,— участливо проговорил Ибрагимов, выслушав грустную повесть Сидыкджана.— Мне уже приходилось слышать подобные истории. Вы, конечно, правильно поступили, уйдя из дому, где вас сделали даровым батраком. Но вот ребенок осложняет положение. Выдержите ли вы разлуку с маленьким сыном? Голосок ребенка, как известно, смягчает каменное сердце. Услышите его лепет и сразу забудете обо всех обидах.

Сидыкджан, подумав, сказал:

— Ради ребенка я, может быть, и помирился бы с женой, если бы она захотела уйти со мной из дома отца. Но этого уже нельзя сделать, шариат не позволит. Я ведь троекратно объявил ей развод.

Ибрагимов расхохотался.

— Шариат!.. У шариата, дорогой мой, много путей. Не подходит один, так найдется десяток других... Вы слышали поговорку: «Трон аллаха может пошатнуться, но от этого он не провалится?»

Сидыкджана немного покорило от кощунственных слов агронома, и он нахмурился, а Ибрагимов продолжал:

— Аллах, как и все падишахи, восседает на троне... Да не пугайтесь же, история самая обыкновенная,— улыбнулся он, видя, что его собеседнику стало не по себе.— Так вот... В одном городе жила распутная женщина. Однажды ее охватил страх перед наказанием, которое ее постигнет в судный день, и она отправилась к знатоку шариатских законов. Приходит и спрашивает: «Аглям-пачча, что ожидает женщину, которая совершила прелюбодеяние?» Аглям замахал на нее обеими руками: «Хай, хай, не произноси такого слова. Прелюбодеяние — это такой грех, что если совершить его хотя бы один раз, трон аллаха будет три дня шататься!»

— Ох-хо! — вырвалось у Сидыкджана не то от удивления, не то от испуга.

— Да, так он и сказал,— улыбнулся Ибрагимов.— Услышала женщина такой ответ и заплакала. «Ай, аглям-пачча, что же мне делать? Ведь не было дня, чтобы я не совершила прелюбодеяния!» Как только аглям услышал ее признание, он отшвырнул свою чалму и, схватив женщину за руку, потянул к себе. Она ему говорит: «Аглям»

пачча, что вы делаете? Вы же сами сейчас сказали, что зашатается трон аллаха!» А тот в ответ: «Шататься-то, говорит, он зашатается, по все равно не провалится».

Сидыкджан так громко расхохотался, что лежавшая рядом с ним кошка прыгнула с тахты и недовольно зафыркала.

— Вот видите,— заключил Ибрагимов,— аглям всегда найдет выход. А вот вы... Мне кажется, вы человек тихий, и вашей жене не трудно будет вернуть вас к себе.

— Как же она это сделает?

— А очень просто — приедет сюда и увезет вас домой.

— Ну уж, вы, домумла, скажете! «Увезет»,— обиженно проговорил Сидыкджан, расправляя широкие плечи.— Нет, домумла, никогда я не помирюсь с этой женщиной!— решительно заявил он и вздохнул.— Эх-хе... жена, не уважающая своего мужа,— какая же это жена? Моя мать, бедняжка, очень редко бывала у нас. Жила она раньше очень бедно. Но всякий раз, приходя к нам, она обязательно приносила что-нибудь в подарок. Однажды матушка ничего не нашла для подарка, так что, вы думаете, она принесла? Штук двадцать старых гвоздей от арбы. Вы подумайте только!.. А моя жена и ее мать даже смотреть на нее не хотят, не то что поговорить с ней, чем-нибудь угостить. Теперь сам удивляюсь, как я терпел все это, и сколько лет! Будто язвой был поражен мой разум...

— Должно быть, вы думали, что весь мир таков и все люди такие.

— Как видно, так,— сказал Сидыкджан таким тоном, словно насмеялся над собой.— Когда человеку ума не хватает, так и получается.

Урманджан к обеду не вернулся. Жена его, расстилая скатерть, сказала:

— Он уж такой... Найдет какое-нибудь спешное дело, так и в район уедет. Как-то велел мне приготовить плов, а когда уходил, сказал: «Обедать будем через час». Ушел и пропал. Я все приготовила, жду. А он является на другой день к вечеру и спрашивает: «Ну как, плов приготовила?» Оказывается, на плотину ездил.

— А что, кошчинарцы все еще работают на плотине?— спросил агроном.

— Да. Работы хватит еще месяца на два.

Жена Урманджана принесла блюдо с пловом и села к столу обедать вместе с гостями. Это удивило Сидыкджа-

на. Никогда в доме его тестя женщины не садились за стол вместе с посторонними мужчинами.

Жена Урманджапа вынесла из комнаты лампу, поставила ее на стол и, улыбаясь, сказала:

— Уж вы меня извините, иду учиться. А вы, если устали, ложитесь тут под навесом. Муж, видно, не скоро придет. Обед ему я оставила у очага.

— Пожалуйста, не беспокойтесь,— ответил ей Ибрагимов.

Женщина ушла.

Из-за темного холма выплыл багровый диск луны. Далекие горы приняли стальную окраску, а ближние деревья почернели, словно покрылись сажей.

Сидыкджан и Ибрагимов поговорили еще немного и, почувствовав усталость, стали укладываться спать под навесом.

А Урманджан все не возвращался.

2

На рассвете жена Урманджана разбудила Сидыкджана и сказала, что муж прислал за ним мальчика. Сидыкджан торопливо поднялся и вышел во двор.

Во дворе его поджидал мальчуган лет двенадцати. Ничего не говоря, мальчик вышел за калитку и зашагал по дороге. Сидыкджан последовал за ним.

Пройдя с полкилометра по проселочной дороге, извивавшейся среди зарослей, они свернули налево и спустились в лощину. По краям лощины тянулись горбатые, покосившиеся дувалы, за ними виднелись дома, одинокие деревья.

Справа, за штабелями досок, послышалось ржание жоня, и в ту же минуту из-за штабеля вышел сам Урманджан.

— Ну, как, выспался?— спросил он, здороваясь с Сидыкджаном.— Когда я вернулся домой, вы с агрономом уже спали. Скучно было, что так рано завалились спать?

— Нет, Урманджан, Ибрагимов-ака веселый человек, и мы с ним хорошо поговорили.

— Так, так... Ну, я рад... А теперь я попрошу тебя немного помочь нам. Все заняты на канале и на полях,

людей не хватает. Надо доставить продукты на участок плотины. Может, отвезешь?

— Отчего же не отвезти?

Из-за штабеля выехала арба. Лошадь вел под уздцы старик лет шестидесяти.

— Тогда поезжай, — сказал Урмаджан. — Вот это письмо передашь там Каримову, — он протянул Сидыкджану сложенный вчетверо листок и стал объяснять: — Вон за тем холмом находится Бакакуруллак. Там на самом въезде тебя встретит женщина. Она поедет вместе с тобой. Будь осторожен, конь поровистый... Да, чуть не вабыл — я уже нашел тебе комнату.

— Комнату?

— Да, там же, в Бакакуруллаке. Это самая благоустроенная махалля нашего кишлака. Съездишь на плотину, потом я тебе покажу.

Сидыкджан влез на арбу и поехал. Как только он поднялся на холм, сразу увидел Бакакуруллак, раскинувшийся в долине среди садов. И в самом деле, Бакакуруллак, с несколькими белыми домами на площади, казался более благоустроенным, чем Кугазар.

На перекрестке, где дорога круто сворачивала в Бакакуруллак, Сидыкджан увидел женщину, сидевшую у дороги. Завидев арбу, она встала. Миловидная, среднего роста, лет двадцати пяти, она была одета в бордовое платье и черную безрукавку. Зеленый платок на голове красиво оттенял ее смуглое лицо.

— Это и есть Бакакуруллак, сестра? — обратился к ней Сидыкджан, останавливая коня.

— Если вы Сидыкджан, то это и есть Бакакуруллак, — ответила женщина и, поставив ногу на ступицу колеса, легко поднялась на арбу.

Сидыкджан немного смутился, услышав этот чуть насмешливый ответ. Обернувшись, он хотел показать, где сестра, но женщина, перелегнув через мешки и узлы, сама нашла удобное место на передке и села. Сидыкджан дернул за поводья, и колеса арбы опять затянули свою однообразную скрипучую песню.

За Бакакуруллаком дорога пошла между редким кустарником, песками, целиной и кое-где засеянными полями. Солнце поднималось все выше, и склоны холмов за рекой окрасились в темно-зеленый цвет. Со стороны реки дул прохладный ветерок, колебля высокую траву

у дороги, а по полям ячменя словно волны катились, отливая на солнце беловатой медью.

Когда выехали на большую открытую поляну, Сидыкджан увидел штабели красного кирпича и спросил:

— Это что — кирпичный завод?

— Школа, — ответила женщина. — Здесь будет строиться школа.

— Школа? — удивленно переспросил Сидыкджан, оглядываясь вокруг. — Кто же это придумал строить здесь школу?

— Правление колхоза и сельсовет.

— Так ведь отсюда очень далеко до кишлака. Как будут ходить сюда детишки зимой?

— Решено и кишлак перенести сюда, — объяснила женщина. — Дома будут расположены по обеим сторонам нового канала. А школа окажется в самом кишлаке, вот здесь, на видном и красивом месте. Напротив школы, по другую сторону поляны, будут построены большие дома правления колхоза и клуба. А вот там, — указала она в сторону, на видневшиеся вдали заросли и кустарники, — мы разобьем большой парк.

— Так, значит, будет построен новый кишлак, — задумчиво проговорил Сидыкджан. — Но ведь на это потребуется лет двадцать, я думаю.

— Что вы, что вы!.. — возразила женщина. — Товарищ Ахмедов на заседании райкома сказал, что новый Кошчинар будет в ближайшие годы. А Ахмедов не бросает слова на ветер. Строительство канала тоже обсуждали в райкоме, и мы заканчиваем его даже намного раньше срока.

Махалля Кошчинар тоже осталась позади. Арба, скрипя и покачиваясь из стороны в сторону, проехала мимо больших и малых песчаных холмов, вдоль зарослей тамариска и выехала на целину, которой не видно было ни конца, ни краю. Вокруг густо зеленела трава, кое-где бродили одинокие коровы и небольшие отары овец. Дорога шла вдоль нового канала, бравшего начало из реки, которая белела вдали, как полоска разлившегося над землей тумана, рассекая степь на две части.

— Посмотрите, — снова заговорила молодая женщина, — когда закончим канал, вся степь будет орошена и засеяна хлопком.

Сидыкджан обернулся к ней и спросил:

— Эти земли тоже принадлежат «Кошчинару»?

— Эти — нет, но у нас тоже много целины.

— А сейчас у вас достаточно земли?

Молодая женщина захохотала.

— Как это может быть достаточно? Сколько бы ни было в колхозе земли, все будет недостаточно!

— Почему недостаточно? Сколько же земли может обработать один человек? И сколько у вас работающих? Ведь все равно же вы не сможете обработать земли больше того, что могут сделать все люди вашего колхоза.

Женщина удивленно посмотрела на него.

— Какая же тогда польза от того, что мы объединились в колхоз! Разве у вас в колхозе не используют трактор?

Сидыкджан совсем смутился и промолчал.

— Что вы сеете? — продолжала расспрашивать женщина.

— Ячмень, пшеницу, рис... — хмуро ответил Сидыкджан.

— А хлопок?

— Хлопок — нет, не сеем.

— Отстальные вы люди!

Сидыкджану, который привык видеть женщин всегда печальными, недовольными судьбой и считал, что они и не могут быть иными, не очень понравились рассуждения его спутницы, ее самоуверенный тон и свободная манера держать себя. Хотя женщина и была довольно красива, Сидыкджан почему-то решил, что она никому не нравилась и потому осталась старой девой. Вслед за этой мыслью в голове шевельнулась и другая: «Порядочная ли это женщина, раз она так бойко говорит и совсем не стесняется мужчины?»

Подъехали к развилке дорог.

— Куда сворачивать? — спросил Сидыкджан, обернувшись к женщине и заглядывая ей в глаза.

— Направо, — ответила она, спокойно взглянув на него.

Свернули на другую дорогу, серую, пыльную. В тени огромного тутового дерева Сидыкджан остановил коня. На дереве буйно чирикали воробьи.

— Может, попробуем тутовых ягод? — обратился Сидыкджан к своей спутнице.

Увидев над головой зеленые ветви с густо напизан-

ными на них и блестящими на солнце, как жемчуг, беловатыми ягодами, женщина встала в арбе и потянулась к ним.

Сидыкджан, поднявшись на арбе, ухватился за толстый сучок и стал нагибать ветви.

Женщина тянулась к нижней ветке, но никак не могла достать ее. Тогда Сидыкджан с силой тряхнул сучок, и в арбу посыпались сочные ягоды. Молодая женщина, наклонившись, принялась собирать их, а Сидыкджан, стряхнув с веток почти все ягоды, набрал их целую горсть и обернулся к молодой. Та торопливо собирала ягоды, сидя спиной к Сидыкджану. Зеленый платок ее упал с головы на плечи, обнажив смуглую шею. Сидыкджан протянул целую горсть ягод и поднес их к самому рту женщины. Та, повернув к нему голову, улыбнулась, блеснув ровным рядом удивительно белых зубов.

«Ах ты какая!» — подумал Сидыкджан, окидывая женщину взглядом с головы до ног. Теперь она казалась ему уже не старой девой, которой пренебрегают мужчины, а красавицей, легко покоряющей сердца. Сидыкджан посмотрел на ее затылок и завитки возле уха, на гладкую тонкую шею и совершенно неожиданно для себя сказал неизвестно откуда пришедшими в голову словами старинной газели:

О ты, чье хорошо лицо, чей рот и смех хорош,
Лишь раз помотришь на тебя — и глаз не отведешь!

Женщина ответила ему стихом из другой газели:

Погибелью грозит любовь, едва признаюсь в ней,
А затаньт ее в груди — погибели страшней.

Сидыкджан не понял, в шутку она ответила так или всерьез. Помолчав немного, он спросил:

— Кому это грозит любовь погибелью?

— Кому же, как не вам! — насмешливо глядя на Сидыкджана, озорно сверкнула карими глазами женщина.

— От кого?

— А хотя бы от моего мужа!

— У вас есть муж?

— А у вас нет жены?

Сидыкджан хотел было сказать «нет», но вспомнил о ребенке и ответил:

— Была.

— Развелись?

— Развелся.

— Вот как? А дети есть?

— Сын.

— Ну, тогда еще вернетесь к жене.

— Если и вернусь, так только на ее похороны,— сердито проговорил Сидыкджан.

Женщина метнула на него быстрый взгляд и нахмурилась было брови, но тут же откинулась на мешок муки и звонко захохотала. Схватив свой платок, она зажала им рот, но смех душил ее, полные плечи вздрагивали. Сидыкджан сначала смотрел на нее, ничего не понимая и злясь, потом тоже рассмеялся и вдруг озорно, по-мальчишески, плепнул ее ладонью по плечу. Как это случилось, Сидыкджан и сам не знал.

Женщина резко дернулась, вскочила. Лицо ее сразу побледнело, глаза расширились от удивления и испуга.

— Э...ха!— вырвался из ее груди гортанный звук.

На лице Сидыкджана появилось что-то похожее на жалкую улыбку. Он готов был провалиться сквозь землю, стыдясь необдуманного поступка. А женщина, видя его смущение, накинула на голову платок, села и подобрала платье.

— Кто вам сказал, что женщины «Кошчинара» такие?— строго заговорила она.— Или вы так поступили потому, что я, не стесняясь, шутила с вами? Наверно, поэтому? Но если у вас так смотрят на женщину, должно быть, очень несчастны женщины вашего колхоза.

Сидыкджан сидел молча, потный и красный. «И дернула же меня нелегкая дотронуться до нее!»— ругал он себя. Он взял в руки вожжи и сильно хлестнул коня. Конь резко рванул и, встряхивая головой, помчался по пыльной дороге.

Долго они ехали молча. Где-то стучал дятел, кричал угод. Сидыкджан хмуро смотрел вперед и молчал. Заметив, что он подавлен случившимся, молодая женщина сказала:

— Ну ладно, чего уж... Дайте-ка мне нож.

И примирительно улыбнулась, когда Сидыкджан, подавая нож, взглянул на нее.

Очистив два огурца, она один протянула Сидыкджану.

— Хотите огурец?

Сидыкджан, не отрывая глаз от дороги, глухо ответил:

— Не беспокойтесь...

— Возьмите уж...

Сидыкджан, не оборачиваясь, протянул руку и взял огурец.

— Вы близкий друг товарища Урманджана, значит, не плохой человек, — сказала женщина и с хрустом откусила огурец. — Если бы вы были дурным человеком, вы... повели бы себя по-другому...

— Конечно, — буркнул Сидыкджан, все также не оборачиваясь.

— Ладно уж... — опять повторила женщина, — со всяким может случиться. Не вы тут виноваты, а наши старые обычаи. Женщины стесняются мужчин, а мужчинам хочется заигрывать с женщинами. Не знаю, то ли мужчинам хочется заигрывать, потому что женщина стесняется, то ли женщина стесняется, догадываясь, что мужчина обязательно будет заигрывать с нею. Иногда бывает и так: мужчина увидит женщину, которая не стесняется его, и тут же подумает, что она распутная. Так у нас всегда было. А вот у русских, оказывается, давно уже этого нет. У нас в МТС работает немало русских. И когда глядишь, как их мужчины и женщины свободно держатся и в то же время уважают друг друга, так прямо обидно становится за нас, и зависть берет. В прошлом году как-то весной забралась я на тутовое дерево нарезать листьев для шелковичных червей, а слезть никак не могу. Подходит тракторист Андрей, гляжу — протягивает мне руки, хочет помочь. А я крикнула, как полоумная: «Вай, умереть мне!» — и кинулась с дерева. Чуть ногу не сломала. Андрей даже не понял, почему я прыгнула с дерева. Эх, — с сожалением закончила она, — скорее бы нам распрощаться со старыми обычаями!

Вдали показались земляные бугры и палаша. Вокруг них двигались фигурки людей. По мере приближения к шалашам сердце у Сидыкджана то замирало, то начинало учащенно биться от охватившей его тревоги. Ему казалось, что, как только он подъедет к шалашам, его спутница спрыгнет с арбы, завопит и, когда сбегутся люди, расскажет, что он заигрывал с ней.

Проехали еще с километр. Строения, казавшиеся из-

дали маленькими шалашами, оказались большими навесами, расположенными на значительном расстоянии друг от друга. Сидыкджан подъехал к одному из навесов и остановил арбу.

Навес был открыт с трех сторон, под камышовой степкой были сложены разноцветные одеяла и матрацы, глиняная посуда и разная хозяйственная утварь. Возле навеса горел костер. Женщина средних лет, суетившаяся у огромного котла, увидев арбу, подбежала к ней, на ходу вытирая фартуком руки. Поздоровавшись с Сидыкджаном, она указала ему место под навесом, куда складывать продукты, а сама заговорила с его спутницей.

Сидыкджан, разгружая арбу, то и дело поглядывал на женщину, стараясь угадать, о чем они говорят, и всякий раз, когда на их лицах появлялись улыбки, сердце у него сжималось от тревожных подозрений. Между тем его молодая спутница взяла жестяной чайник и заварила в нем чай из большого кипящего самовара. Потом, разостлав на траве дастархан, позвала Сидыкджана.

— Прошу вас, садитесь, пожалуйста. Вы, наверно, еще и чаю-то не успели попить. Но сначала выпрягите лошадь.

Сидыкджан распряг лошадь, отряхнул от пыли полы и рукава халата и вошел под навес. Молодая женщина положила на дастархан три ячменные лепенки и несколько горстей урюка. Поставила перед Сидыкджаном пиалу с чаем и, заметив подходившего к навесу мужчину, поднялась.

— А вот и Тешабай-ака, — сказала она, улыбаясь.

— Кто? — переспросил Сидыкджан.

— Мой муж.

Сидыкджан быстро поднялся на ноги.

— Сидите, сидите! — сказала молодая женщина.

Но Сидыкджан словно не слышал ее и, поднявшись, торопливо поправил на себе халат.

Под навес вошел стройный мужчина среднего роста, с большими черными усами, которые очень шли к его смуглому, как у цыгана, лицу. Видимо, это был человек веселого нрава. Войдя, он сразу начал подшучивать над женой:

— Придется мне жениться на женщине, которая умеет угадывать мои желанья. Что же не говоришь — табак привезла?

Не дожидаясь ответа жены, он поздоровался за руку с приезжим. Сидыкджан, заглянув в его огромные черные глаза, живо представил себе, как вспыхнут они от гнева, когда жена расскажет ему о поведении его, Сидыкджана, в дороге. Но глаза Тешабая смотрели добродушно, загорелое лицо улыбалось, а жена его, кажется, и не собиралась жаловаться. Шутливо отвечая мужу, она пригласила обоих мужчин пить чай.

Мужчины сели, внимательно оглядывая друг друга.

— Так, значит, помогать к нам прибыли?— заговорил Тешабай.—Очень хорошо. Вот уж и плотины будут скоро готовы. Если бы не окучка хлопчатника, тут работы осталось бы на месяц, не больше.

Сидыкджан опасался, как бы разговор не перешел к тому, что случилось дорогой, и потому поддержал разговор о плотине.

— Долго еще придется работать?— спросил он.

— Это зависит от нас самих,— ответил Тешабай.—Если будем вот так посиживать за чаем да лакомиться урюком, стройка может затянуться и на зиму. Да нет,— тотчас же перебил он себя,—Урманджан-ака не допустит. Не такой он человек. Я думаю, подбросит еще людей... Вы здесь останетесь?

— Не знаю... Урманджан-ака дал мне вот это письмо,— сказал Сидыкджан и, достав из-за пазухи вчетверо сложенный лист, протянул его Тешабаю.

Тот, взглянув на письмо, сунул его под тюбетейку и сказал:

— Передам Каримову, не беспокойтесь.

— Конечно, останется,— весело проговорила молодая женщина, насыпая жевательный табак в тыквянку мужа, служившую ему табакеркой.— Ведь останетесь, Сидыкджан-ака?

Она сказала это так, словно упрасивала захавшего в гости брата остаться еще на денек, на два. Однако Сидыкджану показалось, что в ее голосе прозвучала насмешка, и он исподлобья взглянул на нее. Но лицо женщины не выражало ничего, кроме искреннего участия, и у Сидыкджана сразу отлегло от сердца. Он почувствовал к ней благодарность и, мягко улыбнувшись, ответил:

— Как вы сказали, так и будет. Остаюсь.

— Вот и хорошо,— одобрил его решение Тешабай.—

У нас в бригаде теперь одиннадцать человек. Давайте помогать нам. Только учтите — все мы ударники.

Он засунул за поясной платок свою тыквянку, встал и отправился на работу.

Весь остаток дня Сидыкджан провел у навеса, помогая женщинам готовить обед для работающих на плотине колхозников. Жену Тешабая звали Зиядахон. Хотя она была немного моложе Сидыкджана, он обращался к ней почтительно, называя ее Зиядахон-апа.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Сидыкджан, просыпаясь, не сразу понял, где он находится. Еще не рассвело, а кругом стоял шум и гам от множества голосов, слышались громкие выкрики, смех. Над его постелью стоял кто-то в белом и, чем-то размазавшая, говорил:

— Держите прозодежду, Сидыкджан! Да скорес одевайтесь, на работу пойдём!

Это был Тешабай. Сидыкджан, как будто давно проснулся и ждал только этого, сразу вскочил с постели и, даже не спрашивая, что такое «прозодежда», принял вещи из рук Тешабая.

— Рубаха и штаны, — сказал Тешабай, — а вот это рабочие сапоги. Поторапливайтесь, чай уже готов!

Сидыкджан стал торопливо одеваться. Нарядившись в рубаху и штаны из добротной серой парусины, он выжидающе посмотрел на Тешабая.

— Как раз по вашему росту, — удовлетворенно проговорил Тешабай. — А я выбирал на самый большой рост, да боялся, как бы все это вам мало не оказалось. Вы ведь вон какой богатырь! Ну, пойдём.

Откуда-то появилась Зиядахон. Она сунула Сидыкджану в руку глиняную чашку, а у него взяла сапоги, халат и рубаху со штанами, завернутые в поясной платок.

Неподалеку от навеса расположилась кружком группа мужчин. Сидыкджан подошел к ним вслед за Тешабаем и оступился на кофму с краешку. Кто-то взял у него из рук чашку и налил чаю.

— А что если вам пить чистый кипяток вместо этого яблочного чая?— проговорил какой-то молодой парень.— От него пахнет кошкой, которая вымокла под дождем.

Все рассмеялись.

— Болтай, болтай!— сурово откликнулся низкий бас.— Болтаешь, а сам, наверно, даже не знаешь, чем пахнет кошка, вымокшая под дождем.

— Я, нет, не знаю,— скромно признался парень и тут же поддел:— А вы, как видно, хорошо знаете, часто нюхали?

Человек, сидевший рядом с Сидыкджаном, поперхнулся чаем, и все другие громко захохотали.

— С тобой говорить...— недовольно пробурчал бас и умолк.

Сидыкджан с любопытством взглянул на молодого парня. Должно быть, тот был весельчаком и любил подтрунивать над своим угрюмым товарищем.

В разговор вступили другие, перебрасываясь шутками и стараясь как-нибудь поддеть друг друга. Люди смеялись так весело, словно у них и не было никаких забот.

— Э, так не годится,— сказал Тешабай, видя, что Сидыкджан еще не притрагивался к еде.— Вы на них не смотрите. Они языками треплют, да и челюстями не забывают работать. Берите вот рыбу, лепешки, это все ваше. И торопитесь, сейчас двинемся... Вам что больше по душе — кетменем работать или таскать землю?

Сидыкджан не любил рыбу; он с неохотой принялся жевать лепешку, от которой тоже пахло рыбой.

— Мне все равно, что делать,— ответил он Тешабаю и хотел что-то добавить, по все тот же парень-шутник перебил:

— Пусть Сидыкджан-ака подбирает землю за мной. Я сам наложу ему первую корзину. С верхом! Он, как я вижу, такой — поднимет на плечо и не поморщится.

Только за минуту до этого Сидыкджан, чувствуя себя еще чужим среди этих людей, думал о том, как бы работать поближе к Тешабаю. Но теперь захотелось быть поближе к веселому парню, который понравился ему с первого взгляда. Парень назвал его почтительно «Сидыкджан-ака», и это сразу расположило к нему Сидыкджана. Наклонившись к Тешабаю, он тихонько спросил:

— А что он делает?

— Кто, Рузымат? Он работает кетменем.

— Тогда я тоже возьму кетмень,— сказал Сидыкджан.

— Слышишь, Рузымат?— крикнул Тешабай.— Сидыкджан хочет потягаться с тобой!

Послышался голос бригадира:

— А ну, ребята, на работу! Берите кетмени да на свои участки, удалые молодцы!

Все шумно встали с мест.

Красно-золотистая полоса зари разгоралась все больше и больше, рассеивалась робкая и легкая предутренняя мгла, и над землей уже протягивались лучи поднимающегося из-за горизонта солнца. Вот вспыхнули в золотом сиянии вершины гор, а деревья и вся степь под ними стали мглисто-голубоватыми. Даже канал, отороченный свежими валами буро-желтой земли, привил сизоватый оттенок. Над рекой медленно проплывали то белые, то розовые облачка тумана.

Люди прошли на свои участки и приступили к работе.

Тешабай дал Сидыкджану в руки кетмень, показал, что надо делать, а сам направился вверх по каналу.

Люди принялись за дело. Сидыкджан думал, что и во время работы они будут так же весело перебрасываться шутками, но все умолкли, и лица их стали сосредоточенно-серьезными.

То здесь, то там на берегу канала высоко вздымались кетмени в руках работающих и с силой опускались, вреваясь в сухую землю. Позади кетменщиков с такой же быстротой и напряжением работали грузчики, насыпая лопатами землю на носилки, в корзины, в мешки и втаскивая их на самый гребень земляного вала. Серые парусиновые рубахи кетменщиков покрылись темными пятнами пота, но поблескивающие на солнце гладко отшлифованные клинки кетменей все так же равномерно взлетали вверх.

Сидыкджан первый не выдержал такого напряжения. Сделав еще несколько ударов, он поставил кетмень и подошел к Рузымату. В предрассветном сумраке Рузымат показался ему веселым и добродушным толстяком лет двадцати пяти, и только теперь он увидел, что это был худощавый и стройный парень с мускулистыми руками и черными усиками на серьезном, несколько даже хмуром лице.

— Ого! — воскликнул Сидыкджан. — Да вы тут пакопали целую гору.

Рузымат, продолжая бить кетменем с такой силой, что он входил в землю по самый обух, искоса взглянул на Сидыкджана и коротко бросил:

— Не уставайте!

— Бывайте здоровы, сами не уставайте, — ответил Сидыкджан на его приветствие и, обходя огромную кучу земли, раза в три больше той, которая была выброшена им самим, покачал головой: — Ну, ну, здорово работаете.

— Для того и пришли сюда, брат!

— Будете так работать до вечера, пожалуй, три таких кучи поднимете.

Рузымат поставил кетмень, отирая пот со лба, взглянул на ворох свежевскопанной земли и сказал:

— Только три? Нет, постараюсь сделать больше.

— А сколько вы получаете в день за такую работу? — заинтересовался Сидыкджан.

Рузымат усмехнулся.

— Сейчас нам нужны не деньги, а вода. Кто гонялся только за деньгами, давно ушел из колхоза. Будет вода, больше поднимем целины, больше засеем и получим лучший урожай. А будут хорошие урожаи, будут и деньги. Пусть в этом году на наш трудодень хоть по пятаку выпадет — что из того?

— Да, конечно, — сказал Сидыкджан с таким видом, будто эта истина ему давно известна. — «Делаешь запруды — слезами плачешь, а поливаешь — радуешься», — добавил он словами старой поговорки.

— Спасибо за разъяснение, — шутивно проговорил Рузымат. — Только ни я, ни другие, работающие здесь, плакать не собираемся. Правда, трудновато работать кетменем, но не всегда так будет. Товарищ Ахмедов... вы его знаете? Наш райком. Он говорит, что придет время, когда все работы будут делать машины. Оказывается, трактор может не только пахать, но и сеять хлопок, окучивать его, потом очищать поля от стеблей. — И опять пошутит: — Не может только волосы стричь.

Хотя Сидыкджан не поверил Рузымату, он с притворным удивлением схватился за ворот.

— О всемогущий! А что же останется делать тогда человеку?

— Э, Сидыкджан-ака, у человека найдутся дела по-

важнее, чем ковырять кетменем землю. Много еще таких дел, которых наши предки недоделали. Возьмите хотя бы этот канал. Его должны были сделать еще наши отцы и деды. А когда мы сядем на машину, разве такие дела будем делать!

Рузымат взялся за кетмень, и Сидыкджан понял, что пора возвращаться к месту работы.

— И собирать хлопок будет машина?— проговорил он больше для того, чтобы не уходить молча.

— Да, будет,— подтвердил Рузымат.— Ученые, видно, уже изобрели такую машину, иначе Ахмедов-ака не стал бы говорить об этом. Они тоже будут работать в колхозах...

Сидыкджан вернулся на свое место и снова принялся за работу, думая о Рузымате. Сначала этот парень показался ему пемного легкомысленным. Теперь он видел его в ином свете: «Оказывается, умный, толковый парень!»

За обедом Рузымат снова, как и утром, принялся подшучивать то над тем, то над другим из своих товарищей. Те не оставались в долгу, поддевали тоже крепко, и в словесной перепалке, пересыпанной остротами, верх брал то один, то другой. Когда к слову пришлось, Рузымат и Сидыкджана кольнул острым словом.

— Тешабай-ака,— сказал он,— если я буду соревноваться с товарищем Сидыкджаном, то, пожалуй, все вы окажетесь впереди меня. Он работает кетменем, как сытый ягненок треплет свой корм.

Сидыкджан, вместо того, чтобы пустить ответную стрелу, как это делали другие, смущенно опустил голову. Его обидели слова Рузымата. Тешабай подумал: «Э, парень, оказывается, не терпит шуток». Нахмурив брови, он хотел что-то сказать, но в это время щуплый человек средних лет, стукнув слегка Рузымата ложкой по лбу, шуточно сказал:

— А твоя работа кетменем, знаешь, на что похожа?— И не успел он сделать сравнение, как все уже громко захохотали, словно зная, на что он намекает. А щуплый человек закончил:— Добрая лошадка не быстро шагает, да быстрее норовистого коня идет.

После обеденного перерыва Сидыкджан работал так, что пот катился с лица у него градом, а руки немели от кетменя. И даже тогда, когда Рузымат отдыхал, Сидыкджан упорно продолжал наносить удары кетменем по зем-

ле, словно стараясь показать пасмешнику, что в силе и выносливости он, во всяком случае, никому не уступит.

После ужина табельщик объявил показатели дневной работы бригад и каждого из колхозников. В списке не было только имени Сидыкджана. Это никого не удивило, но самого Сидыкджана обидело.

На следующий день он работал еще более старательно, и опять вечером табельщик не назвал его имени. Сидыкджан выждал минуту, когда Тешабай остался один, и, стараясь не обнаружить своего раздражения, вежливо обратился к нему:

— Тешабай-ака, ваш хвалебщик все время забывает меня,— как это понять?

— А что случилось, Сидыкджан?— не понял Тешабай.— Не беспокойтесь, ваш заработок не пропадет.

— Я не о зареботке говорю, Тешабай-ака. Пусть и не записывает мне ничего, пусть... А вот вечером всех начинает хвалить, а я будто и не работаю!

Тешабай рассмеялся, поняв, в чем дело.

— Хотите, чтобы табельщик и ваше имя называл? Тогда включайтесь в соревнование.

— Ладно. А с кем мне придется тягаться? С Рузыматом?

— С кем хотите. Кого сможете победить, с тем и соревнуйтесь.

— А сколько для этого надо делать?

— Достаточно будет, если вы за день выработаете полтора трудоводня. Меньше у нас никто не дает.

— А кто всех больше? Рузымат?

— Нет, куда ему... Есть такие, что получше его кетменем работают. Наш Ихсан вырабатывает за день до трех с половиной трудоводней.

— Три с половиной трудоводней?— удивленно переспросил Сидыкджан.— Силен! Три с половиной трудоводней!— повторил он и покачал головой. Мысленно он уже представлял себе человека огромного роста, хмурого и сердитого, руки и грудь которого заросли черными волосами.

— А вон Аширмат, из колхоза «Ишчи»,— продолжал Тешабай,— вырабатывает еще больше— до четырех трудоводней.

— За один день четыре!— еще более удивился Сидыкджан и спросил:— А сколько же он съедает зараз?

Тут уж Тешабай решил немного подшутить над Сидыкджаном.

— Сколько съедает Аширмат, не знаю. А вот наш Ихсан может в один присест съесть целого барана с головой, потрохами и шкурой.

— Не может быть! Шкуру... уж шкуру-то он не съест.

Тешабай громко расхохотался и показал на щуплого человека, который, сидя у лампы, чинил сапоги.

— Вон, видишь, сделал три с половиной трудодня да еще на сапоги время нашел. Он и сапожничать мастер.

— Так... так это же наш бригадир, Каримов-ака!

— Он и есть, Ихсан Каримов. Самый знаменитый кетменщик у нас.

— Оказывается, тут сила не нужна.

— Почему же не нужна? Нужны и сила и уменье.

— Надо посмотреть, как он работает кетменем.

Видя, что Сидыкджан заинтересовался Каримовым, Тешабай спросил:

— Хотите поучиться у него?

— Да разве он станет учить?

Тешабай взял Сидыкджана за руку и потянул за собой.

— Ну как сапоги?— заговорил он, подходя к бригадиру.— Это ведь Рузымата? А сам он где?

Каримов отрезал нитку дратвы, поднес сапог ближе к лампе и оглядел свою работу. Потом поднял глаза на Тешабая и сказал:

— Спит Рузымат. Сегодня совсем уморил себя, бедняга. Горяч парень, слишком горяч. А когда работаешь кетменем, горячиться-то и не следует. Иногда так разойдешься, что, кажется, гору можешь своротить. А нет, не обманывайся. Гору не свортишь, если будешь просто, как дурак, бить кетменем, а из сил быстро выбьешься. Тут вот и следует себя чуть сдерживать. Устал — отдохни немного. Работать кетменем надо с легкостью, удары делать равномерно, дышать тоже и постепенно расходовать свою силу. Вот тогда много сделаешь. А Рузымат — как горячий конь...

Тешабай толкнул Сидыкджана локтем в бок, словно хотел сказать: «Видишь, ничего не скрывает». А вслух сказал:

— Вот Сидыкджан тоже хочет к вам в ученики пойти.

Каримов усмехнулся:

— В ученики?.. Говори уж прямо — хочет потягаться со мной.

На следующий день Сидыкджан первым взялся за кетмень, работал горячо и напряженно, ни о чем не думая, ни на кого не оглядываясь, и при этом старался придерживаться правил, о которых говорил бригадир Каримов. Так он работал еще два дня, а на четвертый табельщик, объявляя результаты соревнования, вдруг назвал его фамилию. Это было так неожиданно, что Сидыкджан даже вздрогнул, услышав свое имя.

Ему показалось, что табельщик произнес его имя громче и яснее, чем имена других, и что все в это время на один миг смолкли. Так было и в последующие дни. Табельщик прочно держал имя Сидыкджана в списке ударников. Но, даже после того как Сидыкджан уже достаточно привык слышать свое имя при вечернем объявлении выработки, при виде табельщика, идущего со списком в руках, он чувствовал, что сердце его начинало учащенно биться. Табельщик всякий раз громко выкрикивал его имя, и Сидыкджан испытывал при этом такое волнение, что даже не ощущал усталости после напряженной работы в течение целого дня.

И вскоре он почувствовал себя равным в дружной семье ударников, работавших на канале. Теперь Сидыкджан работал с такой охотой, с таким рвением, словно дело колхоза было его кровным делом и он никогда не знал никакой другой жизни. Он так свыкся с работой и жизнью колхозников на канале, что даже рыбу, особенно вареную, которую прежде просто видеть не мог, теперь ел за обедом с большим аппетитом и даже как-то сказал Рузымату:

— А рыба, по-моему, совсем не хуже курятины.

2

Однажды во время обеденного перерыва по просьбе Зиядахон Сидыкджан запряг пшাকা в маленькую арбу и поехал на реку за водой. Вернувшись, он увидел, что колхозники кишлака Капсанчи собрались перед навесом и какой-то человек, лет тридцати, говорит им речь. Боясь, что скрип арбы помешает оратору, Сидыкджан остано-

гился в сторонке. В это время раздалась громкие рукоплескания и со всех сторон послышались возгласы:

— Выполним! Выполним!

После этого люди быстро разошлись по своим местам и принялись за работу. Перед навесом остался только говоривший речь человек и с ним несколько колхозников. Среди них были и Тешабай с Каримовым.

Сидыкджан, ведя ишака в поводу, подвел арбу с бочком воды к самому навесу и, увидев Зиядахон, тихоюко спросил ее:

— Кто этот человек?

— Разве вы не знаете? Председатель нашего сельсовета товарищ Самандаров,— ответила Зиядахон.

Должно быть, Самандаров знал в лицо всех колхозников; заметив Сидыкджана, которого видел впервые, он спросил что-то у окружающих. А Тешабай, стоявший позади других, оглянулся и знаком подозвал Сидыкджана.

У Сидыкджана дрогнуло сердце. Сложив руки на животе, он на цыпочках подбежал к председателю сельсовета.

— Вы откуда?— спросил Самандаров и, улыбувшись, сказал:— Опустите руки.

— Из Бахрабада.

— Опустите же руки!— повторил Самандаров.

Сидыкджан опустил руки, но, не зная, куда их девать, снова сложил на животе.

— Мы уж так привыкли, домумла-ака.

Самандаров пахмурился.

— Привыкли? Перед каким же это начальством вы привыкли так стоять? В Бахрабаде вы были в колхозе?

— Нет, домумла, я не был в колхозе.

Председатель сельсовета помолчал, словно о чем-то думая, и опять спросил:

— А Урманджан-ака ваш родственник?

— Нет, домумла,— коротко ответил Сидыкджан и больше ничего не добавил.

Самандаров оглядел его с ног до головы и отвернулся. Потом передал Каримову какую-то бумагу и, направившись к своему копы, стал что-то объяснять бригадиру.

Сидыкджан сгрузил бочку с арбы у очага, распряг и привязал у кормушки осла, а затем, взяв кетмень, отправился на свой участок. Рузымат, работавший несколько дальше, как только увидел его, что-то крикнул и засмеял-

ся: как видно, подшучивал по своему обыкновению, по Сидыкджан не расслышал его слов и даже не переспросил. Все внимание его было устремлено на председателя сельсовета. А Самандаров в это время, сказав что-то напоследок Каримову, махнул плеткой в сторону канала и уехал.

У Сидыкджана становилось все беспокойнее на сердце. Сделав несколько ударов кетменем, он бросил работу и пошел к Тешабая, который возился с чем-то под навесом. Собственно, Сидыкджан даже и не знал, с чего начать, что говорить. И пока он, раздумывая, медленно подходил к навесу, Тешабай уже сидел верхом на осле и, пощупывая его тычками заостренной палочки в шею, удалялся куда-то вверх по каналу. Под навесом Зиядахон, разостлав кожаную подстилку, просеивала муку. Сидыкджан с таким видом, будто он пришел напиться, взялся за кувшин с водой и сказал:

— Зиядахон-апа, я вижу, вы собираетесь вечером кормить нас пельменями?

Женщина ответила не сразу. Вытряхнув из сита отруби, она осторожно, пригоршнями, накладывала в него муку из мешка и даже не взглянула на Сидыкджана, а он с трепетом в сердце ожидал, что она ответит, подумал было, что она и разговаривать с ним не хочет. Но Зиядахон, закрутив мешок, подняла на Сидыкджана глаза и, улыбнувшись, сказала:

— Что там пельмени, Сидыкджан-ака, сегодня я буду угощать вас жирными мантами. Как тесто сделать — потоще или потоньше?

От этих слов и улыбки Зиядахон у Сидыкджана просветлело лицо. Он даже не сразу нашелся что ответить и, спохватившись, торопливо промолвил:

— Спасибо, апа, живите долго! — Он перешительно потоптался на месте, потом спросил: — А Тешабай-ака куда поехал?

— На станцию.

— Зачем?

— Как «зачем»? Ах да, вас ведь не было, когда говорил товарищ Самандаров. На станцию прибыл цемент для плотины. Ну, вот теперь его будут выгружать и перевозить сюда.

— Значит, плотину будут делать из цемента?

— А как же! Разве земляной вал сдержит полую воду? А что вам сказал товарищ Самандаров?

Сидыкджану как раз самому хотелось заговорить об этом, и вопрос Зиядахон пришлось очень кстати.

— Спрашивал, откуда я и кем доводится мне Урманджан-ака, — ответил он и спросил в свою очередь: — А вы знаете, он ничего не говорил товарищу Каримову?

— О чем?

— Ну, обо мне.

— Почему же он должен был говорить о вас?

— Это я к тому, Зиядахон-апа, что вот он расспрашивал меня...

Зиядахон налила из кувшина воды в миску, бросив туда щепотку соли, помешала ложкой, попробовала на вкус и, засыпая горсть муки, сказала:

— Расспрашивал, потому что еще не знает вас. Вы не подумайте плохо, всякие люди ведь бывают. Вы из колхоза «Ишчи» зимой выгнали одного человека. Оказался чуждым элементом из Мирзаарала.

«Чуждый элемент», — повторил про себя Сидыкджан, и перед его глазами встала дрожащая от злобы теща со связкой документов, оставшихся от семи поколений. — Да разве эта старуха согласится на вступление Зуннуаходжи в колхоз? — подумал он и возразил: — Элементы не пойдут в колхоз.

Зиядахон, замешивая тесто, коротко бросила:

— Пойдут, если найдут дорогу.

— Даже если они против колхоза?

Зиядахон, бросив в миску еще горсть муки, с улыбкой взглянула на Сидыкджана.

— Вот потому и пойдут, что они против. Теперь ведь никто уж не верит в небыллицы, что все, дескать, будут спать под одним одеялом и жены тоже будут общими... Колхозы уже есть, а все спят на своих постелях, и никто не зарится на чужих жен... Не так ли?

Сидыкджан густо покраснел и, опустив голову, стал смотреть в пустой кувшин, будто нашел там что-то очень интересное.

— А раз так, — продолжала Зиядахон, — что же остается делать этим людям? Советская власть подрезала им крылья, вот они и полезли в колхозы. Для чего? Конечно, для того, чтобы развалить колхоз, как это было в Ходжакишлаке. Им очень хотелось бы вернуть старые времена, чтобы и земли и вода по-прежнему находились в их руках, а издольщики и батраки гнули спины на их полях.

Но нет, не бывать этому! Советская власть не допустит, чтобы бай сели народу на шею,— так говорит товарищ Ахмедов.

«Какой же я бай?»— чуть не вскрикнул Сидыкджан, но вместо этого тихо спросил:

— Каримов-ака, наверно, сказал ему, что он, дескать, то есть я, совсем не такой человек, а?

Зиядахон, отрывая кусок теста, усмехнулась и шутиливо ответила:

— А тут никто еще как следует не знает, что вы «не такой человек»!

Сидыкджан не понял, что она шутит, и грустно взглянул на нее.

— Почему, Зиядахон-ана, почему не знают?

Занятая своим тестом, Зиядахон не заметила, что ее собеседник пал духом, и в том же тоне продолжала:

— А откуда им знать?

Зиядахон припнулась раскатывать тесто, изредка бросая быстрые взгляды на Сидыкджана, а тот стоял, опустив голову, и раздумывал над ее словами. Долго длилось молчание. Наконец Сидыкджан заговорил, продолжая смотреть в землю:

— В детстве я искал работу в разных местах. И куда бы я ни пришел, везде оказывался чужим и не мог поиграть с ребятами. А потом уж и дети нашей махаллы перестали принимать меня в игру, считая чужим. Было обидно и больно... И теперь вот я тоже вроде как чужой среди своих...— Он поднял голову и прямо посмотрел в глаза женщине.— Нет, Зиядахон-ана, я не чужой, не элемент. Кто назовет меня элементом, очень и очень обидит меня.

— Никто же не называет вас элементом,— серьезно проговорила Зиядахон.

— Очень меня обидит,— повторил Сидыкджан и тяжело вздохнул.

Потом он снова заговорил о своем прошлом и рассказал о всей своей жизни — как бедствовал с матерью после смерти отца, был в учениках у армянского мастера, батрачил, как стал зятем Зунпуна-ходжи, работал на него и, наконец, ушел из его дома.

— Уж теперь,— закончил он свой рассказ,— я крепко ухватился за полы Урманджана, Тешабая и других колхозников. Куда они пойдут, туда и я, какой они путь

укажут, такой и будет моим... А если и здесь меня будут считать чужим...

Голос его дрогнул, и он замолчал.

Зиядахон и сама расстроилась, поняв, какую боль причинили Сидыкджану ее шутливые слова. Она старалась успокоить его:

— Шутила же я, Сидыкджан-ака, шутила. И вы не расстраивайтесь. Товарищ Самандаров, наверно, ничего и не говорил про вас. А если я сказал, разве товарищ Каримов и Тешабай-ака не объяснят ему? Вы же теперь ударник, уважаемый человек!

Сидыкджан слабо улыбнулся.

— Ударник забыл, что его ждет работа. Простите, Зиядахон-ана, я уж пойду.

И до позднего вечера, стараясь наверстать упущенное, он яростно копал кетменем твердую землю. Когда же, усталый и потный, с кетменем на плече он возвращался к навесу, вся бригада уже сидела за ужином и Тешабай с увлечением рассказывал о сером порошке, таком тяжелом, что один мешок его «чуть не раздавил пшак». Сидыкджану хотелось поговорить с Тешабаем наедине, но сделать это было невозможно: целый вечер Тешабай рассказывал о цементе и о разных способах применения его на стройке. Не представилось удобного случая поговорить и на другой день, а на третий из района прибыли артисты, и вечером после работы на берегу реки был устроен концерт. Но с концерта пришлось возвращаться вместе, и Тешабай вдруг сам заговорил о том, что так волновало Сидыкджана.

— Что, напугал вас товарищ Самандаров?— спросил он и засмеялся.— Вижу, вижу,— вас даже песни не веселят. Все думаете о чем-то, мучаете себя. И напрасно. Самандаров никогда не скажет: того, мол, принимайте в колхоз, а этого нет. Кого принимать в колхоз, кого исключать — дело самих колхозников. На это правила есть. Товарищ Самандаров предупреждал, чтобы не нарушались эти правила.

Сидыкджан был так обрадован этими словами, что не знал, как и ответить.

— Спасибо, Тешабай-ака, вот спасибо!— сразу оживляясь, взволнованно проговорил он.

— Правила эти такие,— продолжал Тешабай.— Прежде всего подаете заявление в правление колхоза. Правле-

вне обсудит ваше заявление и свое решение поставит на обсуждение колхозников. Как решит общее собрание, так и будет.

— А как же оно будет решать, если здесь меня никто не знает?

— Вот это уж вы напрасно говорите. Разве мы не видим, что вы из тех людей, которые не в дружбе ни с ленью, ни с хитростью?

— Здесь лентяй оказался бы вроде вора, Тешабай-ака. Я не об этом говорю. Что знают колхозники о моей прошлой жизни?

— Вы сами же о ней и расскажете.

— Урманджан-ака хорошо знает. Кому еще надо рассказать? Товарищу Каримову, вам?

— Всем расскажете на собрании.

— На собрании?..

— А как же иначе?

— Нет, вы скажите правду, Тешабай-ака! Не шутите.

Тешабай усмехнулся.

— Какие тут шутки! Раз колхозники будут поднимать руки, должны же они знать, кого принимают в колхоз, или нет,— как по-вашему? На собрании вы встанете, сначала ответите на вопросы, а потом расскажете по порядку, кто вы такой, откуда, чем занимались раньше...

Сидыкджан мысленно представил себе большую комнату, полную людей, перед которыми ему придется рассказывать всю свою жизнь, и это сильно взволновало его.

Когда они вошли под навес, фитиль в лампе был повернут, в полумраке люди укладывались в постели, а некоторые уже спали. Сидыкджан прошел к своей постели, быстро разделся и лег, но долго еще думал о колхозном собрании и о том, как он будет рассказывать на нем о своей жизни.

Если не считать того, что всякий раз при мысли о предстоящем собрании Сидыкджана вновь и вновь охватывало острое чувство беспокойства, с этого дня он стал держаться увереннее и уже не чуждался людей. В часы отдыха он присоединялся к той или другой группе колхозников, слушал забавные рассказы о приключениях Насреддина, сам шутил вместе с ними, а когда возникал

какой-нибудь деловой разговор или спор, не стеснялся высказывать и свое мнение.

Вскоре на стройку канала вернулись колхозники, ухаживающие за окучку хлопка. Работа пошла быстрее. Районная газета часто писала о ходе работы на канале. Часто приезжали представители из района, и Сидыкджану казалось, что за строительством следит вся область.

Ко времени очередной окучки хлопка большинство колхозов перевыполнило плановые задания. На участке плотины земляные работы в основном были закончены. Были подвезены нужные для постройки плотины крупные неотесанные камни, тут же, на траве, лежали крашенные железные ворота шлюза.

Приближался день, когда многим колхозникам надо было снова уходить на окучку хлопка. Сидыкджан вместе со своей небольшой бригадой оставался, но работать на плотине ему уже не пришлось. Накануне отъезда хлопковой бригады из района прибыл врач с двумя молоденькими медсестрами и сделал всем прививку. После укола Сидыкджан, никогда не болевший никакими болезнями, почувствовал себя плохо. Он вернулся с работы раньше времени и лег в постель, а ночью у него начался жар. Забывшись только к утру, он стал бредить. Встревоженный Каримов послал за врачом.

Врач не замедлил приехать. Это был пожилой седоволосый человек в белом халате, уже одним своим видом внушавший веру в излечение. Сидыкджан ожидал, что врач тщательно осмотрит его, найдет разные причины болезни и даст сразу несколько лекарств. Однако старик только подержал с минуту руку Сидыкджана в своей, что-то прощупал своими длинными сухими пальцами, лекарств никаких не прописал и, ничего не сказав, ушел вместе с Каримовым. Тут Сидыкджан решил, что ему уж ничто не поможет — все равно умрет. Перед его глазами возникла картина похорон: погребальные носилки, покрытые желтым молитвенным ковриком и полосатым халатом, рыдающая мать, горько плачущий Абиджан. И от жалости к самому себе Сидыкджан заплакал.

Когда под навес вошла медсестра с лекарством, Сидыкджан уже опять бредил. А к вечеру Каримов, Тешабай и Зиядахон, уложив больного в арбу, отправили его в кишлак Капсанчи.

Урманджана не было дома, а жена его Тупаниса страшно перепугалась, когда Сидыкджана под руки ввели во двор. Она быстро устроила постель на тахте под навесом, приготовила чай.

Сидыкджан с трудом вышил пиалу чая, который казался ему безвкусным, и прилег на тахте.

В это время приоткрылась дверь калитки и показалось круглое улыбающееся лицо незнакомого Сидыкджану человека.

— Заходите, кары-ака,— сказала Тупаниса.

Дородная фигура Абдусамада-кары просунулась в узкую калитку. По-кошачьи мягкими шажками он подошел к столу, положил узелок, который был у него в руке, и выпучил круглые глаза на Сидыкджана.

— Йе!— произнес он каким-то птичьим голосом.— Что случилось с товарищем Урманджаном?

— С ним ничего не случилось,— ответила Тупаниса.— Это наш гость.

— Все дурное от нечистой силы, тьфу, тьфу!— плювал кары за ворот халата.— Не дай бог... Так вы говорите, гость?

— Да, Сидыкджан. Заболел он.

Кары, наклонившись над тахтой, заглянул в лицо больного.

— Э-э, приятель, что с вами!— равнодушно спросил он и снова обратился к Тупанисе:— Это не он ли будет жить в доме тетушки Анзират?

— Да, он.

Присаживаясь возле стола, Абдусамад-кары вдруг рассмеялся, словно вспомнил что-то забавное.

— Очень интересный человек наш Урманджан-ака, очень, очень...— промолвил он и, не объясняя, что же он находит интересного в Урманджане, начал восхвалять его энергию и знание дела, сказал, что он принес пользу колхозу «Кошчинар» и что теперь «даже климат изменился в кишлаке Капсанчи». Тут же он, как бы мимоходом, заметил, что правление сделало ошибку, забрав Урманджана на животноводческую ферму и назначив вместо него

во главе совета урожайности Ибрагимова, «который знает о хлопке только по книгам». Затем, поговорив еще немного о больших заслугах Урмаджана, он подмигнул Сидыкджану и, рассмеявшись дробным смешком, сказал:

— Жена, хе-хе, жена тут всему причиной. Семейное согласие, хе-хе... Разве я не понимаю? Если «Кочичинар» стал «Кочичинаром» благодаря Урмаджану, то Урмаджан стал товарищем Урмаджаном благодаря своей жене.

Пока кары рассуждал об Урмаджане, Тупаниса хмурилась, считая его слова обычной лестью, а когда он начал расхваливать ее, она смущенно опустила глаза.

— Жена — это шея мужчины, — продолжал кары, обращаясь уже к Сидыкджану, который лежал с закрытыми глазами и не слушал его. — Шея может поворачивать и к хорошему и к плохому, не так ли? Хе-хе...

Кары масляными глазками оглядел Тупанису, почмокал губами и восхищенно покачал головой.

— Вай, вай, молодец вы, прямо скажу... Ведь Урмаджан-ака не выходит за ту линию, которую вы ему начертили? Не выходит! Или выходит?

— Что это за линию вы выдумали, кары-ака, — возразила Тупаниса. — Урмаджан поступает так, как считает нужным для дела.

— Хе-хе, верно... Золотые слова. Воля мужа — закон. Но разве Урмаджан-ака не слушает ваших хороших советов? Слушает, не сомневаюсь. А это и значит, что он не выходит за линию, начертанную вами, хе-хе!

— Всякий послушается хороших советов.

— Истинно. Это самое я и говорю. Но не всякая жена может дать хороший совет. Есть такие — слова толкового не добьешься...

Кары привел в пример свою жену и начал честить ее: не может истолочь зерно, чтобы половину не рассыпать, поставит воду кипятить — горит даже дно котла, из носа ребенка постоянно течет, начнешь ее наставлять — зевает.

— Ей и самой трудно, и мне трудно, — вздохнул кары. — Вы бы помогли ей, сестрица...

— Я? — на губах у Тупанисы мелькнула улыбка. — А что я могу сделать?

— Можете, все можете... Будьте для нее доброй сестрой... Она совсем не плохая женщина. Сегодня, как

увидела, что к вам подъехала арба с больным человеком, сразу встревожилась. «Что-то случилось, говорит, с товарищем Урманджаном. Иди, иди, говорит, скорей, ответи ему чего-нибудь». Вот прислала вам абрикосов.— Кары развязал узелок и протянул два абрикоса Сидыкджану.— Очень хорошие абрикосы! Как закончим работы на канале и начнем закладывать сады, обязательно посадим косточки этого абрикоса... А вас,— снова повернулся кары к Тупанисе,— жена очень уважает, очень. Так и говорит: «Работала бы я вместе с Тупанисой-апа, научилась бы чему-нибудь, говорит, стала бы сознательной женщиной». Хорошо, если бы она была в одной бригаде с вами. Я хотел бы сам попросить об этом Бутабая, но лучше уж скажите вы, сестрица. Вам он, конечно, не откажет...

Тупаниса ничего не ответила, а кары подсел к Сидыкджану.

— Так, значит, вы хотите переехать к тетушке Анзират? И в таком состоянии вы будете переезжать?

Сидыкджан, не поднимая головы от подушки, ответил:

— Куда мне теперь?...Хочу уехать в свой клшлак, в Бахрабад.

Абдусамад-кары бросил быстрый взгляд на Тупанису: соображает, мол, в чем тут дело? Сидыкджан заметил этот взгляд, но не понял, что такого нашел в его словах кары.

— У меня там старушка мать да брат младший,— добавил он, поясняя свое желание уехать на время болезни домой.

Тупаниса, извинившись, ушла в дом готовить обед, а кары грустно покачал головой.

— Мать, страдальца мать...— сочувственно вздохнул он.— Она, конечно, день и ночь думает о вас, во сне видит... И дом у вас есть?

— Есть,— тихо ответил Сидыкджан, отворачиваясь к стенке: при воспоминании о матери у него навернулись слезы на глаза.

— Ие!— воскликнул кары.— Раз у вас есть дом, так это же целое богатство! И зачем вам бродить по чужим домам, не понимаю. Самы страдаете и мать страдать заставляете... Трудно, трудно жить одинокому. Случилось вот такое с вами — и некому даже глотка воды подать... Что может быть хуже этого? А старуха Анзират — человек с черствым сердцем. И дом у нее похож на могилу.

Долго еще распроставаясь кары о том, как тяжело жить на чужбине и как трудно добиться у нынешних людей сострадания и сочувствия, говорил о сварливом праве старухи Анзират, упомянул о каких-то кладбищах, где хоронят всяких странников и бездомных бродяг. Сидыкджан представил себе холодную, темную, как могила, хижину, злую и сварливую старуху вроде его тещи и опять со страхом подумал о смерти вдали от родной семьи.

Незаметно для себя он задремал и сразу увидел мрачную картину: четыре человека несут его бездыханное тело на досках, покрытых простой камышовой циновкой, на кладбище бродяг — в яму.

А когда он открыл глаза, кары уже не было, а над ним стоял Урманджан и внимательно всматривался в его лицо. Сидыкджан хотел было подняться с подушки, но Урманджан прижал его плечо.

— Не надо, не вставай... Так, значит, укол тебе не поправился? — заговорил он, присаживаясь на тахту. — Это ничего, пройдет. Не ты один, еще семеро лежат вот так же, пластом... А что это ты все о смерти бормочешь? Оказывается, ты очень пугливый.

— Смерть не разбирает, Урманджан-ака... Вы уж как-нибудь отправьте меня к матери.

— Хочешь уехать отсюда? Неужели только из-за этого?

— А из-за чего же еще?

— Говори уж правду...

Сидыкджан, приподнявшись, облокотился на подушку.

— Нет, Урманджан-ака, — возразил он, — вы ошибаетесь, если думаете, что я решил бежать из колхоза. Спросите у всех... У нашего бригадира товарища Каримова, у Тешабая, у Рузымата спросите... Может, и Бутабай-ака вам скажет, он приезжал, видел...

Урманджан улыбнулся.

— Знаю, все знаю. Ты хорошо поработал на канале. Думаю, не стал бы так работать, если бы собирался уходить.

— Вы еще не знаете моей души, Урманджан-ака.

— Узнаю как-нибудь и душу. Ты тоже узнаешь, что такое колхоз, — опять дружески улыбнулся Урманджан и решительно заявил: — Никуда ты не поедешь! Завтра ты уже будешь здоров. А если и полежишь немножко,

никому это в тягость не будет. Плохо только вот что: жене приходится часто отлучаться, а тебя без присмотра оставить нельзя.

Сидыкджан молчал. Больше всего он боялся сейчас очутиться под крышей старухи Анзират, но ему не хотелось огорчать друга своим отказом от квартиры, найденной им.

— Ну, что ты скажешь?— спросил Урмаджан.— Говори, я спешу.

— Не знаю, как и быть с тетушкой Анзират,— осторожно сказал Сидыкджан.— Вы уже договорились с ней.

Урмаджан бросил на него быстрый взгляд.

— А ты уже знаешь ее имя? Договорился. Тетушка Анзират каждый раз при встрече спрашивает о тебе.

Урмаджана позвали. Он поднялся с тахты.

— Ладно, спи. Завтра поговорим,— сказал он и вышел на улицу.

А на другой день Сидыкджан, почувствовав себя значительно лучше, переехал в мазанку тетушки Анзират.

2

После смерти мужа тетушка Анзират осталась с двенадцатилетним сыном Мадраимом и пятнадцатилетней дочкой Кимсаной. Детям было еще трудно работать в поле, а сама тетушка Анзират была женщиной слабой, болезненной, и потому земля, полученная мужем во время земельной реформы, осталась невспаханной и постепенно заросла сорняками.

Тогдашний председатель сельсовета, чтобы помочь бедной вдове, отвез Мадраима в район и устроил там посыльным при райисполкоме. Тетушка Анзират была рада и этому. Мадраим время от времени присылал ей немного денег или еще что-нибудь, но мать больше всего радовалась тому, что сын вырвался из этого проклятого богом кишлака Капсанчи, где люди не знали светлого дня, и, может быть, на стороне найдет свое счастье.

А когда Кимсаной достигла зрелости, тетушка Анзират выдала ее за одного зажиточного вдовца в кишлак Чирик-Джиду. Мать и в этом видела большую удачу: дочь вышла замуж за состоятельного человека и, казалось, к убогой жизни капсанчей никогда уже не вернется. Но

она жестоко обманулась в своих надеждах. Когда Кимсаной забеременела, ее муж привел в дом другую жеицину. После года мучительной жизни Кимсаной наконец не выдержала и с маленьким сыном на руках вернулась к матери. А еще через год Кимсаной вышла за местного жителя, бедняка Абдували.

Тетушка Анзират надеялась зажить лучше: как-никак в доме появилось два крепких работника. Но в это время как раз начались работы по строительству дамбы, затем — на канале, и зять, испугавшись трудностей, охладел к колхозу. Взяв с собой Кимсаной, он уехал искать счастья в город, а маленького Хашимджана оставил у бабушки.

Вскоре после этого Мадраим ушел в Красную Армию, и осталась тетушка Анзират одна с маленьким внуком. Несколько позднее Урманджан поселил у нее одинокую молодую женщину по имени Канизяк.

Двор тетушки Анзират был огорожен дувалом из глиняных катышей. Дувал местами покосился, местами совсем обрушился, из него всюду торчали камни-голыши и красные черепки. В глубине двора стояли две мазанки и между ними — навес. Одну из этих мазанок тетушка Анзират уступила было Канизяк, но та не захотела жить там одна и поселилась вместе с хозяйкой в ее мазанке. Теперь вторая мазанка была снята Урманджаном для Сидыкджана.

Когда Сидыкджан вошел во двор, он увидел перед собой небольшого роста старушку лет шестидесяти, с морщинистыми, но все еще румяными щеками, с мягким и приятным голосом. Тетушка Анзират встретила Сидыкджана как родного сына, ввела его в свою комнату, усадила на старенькой, но чистой кошке. Потом разостлала перед ним дастархан, положила лепешки, поставила поднос с абрикосами и чашечку с сахаром. Пока кипятился чай, она расспрашивала Сидыкджана, отчего он заболел и кто у него есть из родных, а за чаем, то улыбаясь, то смахивая со щеки непрошеную слезу, рассказывала о себе, о детях и внуке, затем заговорила об Урманджане.

— Хороший человек, дай бог ему счастья, — говорила она, — о всех заботится. К нам он навещается каждый праздник и всегда приносит Хашимджану какой-нибудь подарок. Больше всего я довольна тем, что

он привел ко мне Капизяк. У нее, бедняжки, тоже нет никого. Хашимджан привязался к ней, как к матери, а мне она тоже как дочь родная. Целые дни работает на хлопке, ударница. Я тоже не сижу сложа руки. В этом году выстегала для детских яслей девять ватных подстилок и четырнадцать одеял. Шелковичных червей выкармливаю понемногу. Ну, и в колхозе мне тоже трудодни начисляют. Оказывается, кто шевелится, тому и горный хребет не преграда. Я ведь даже не думала, что мне будет под силу какая-нибудь работа в колхозе. Зерна мы получили на трудодни достаточно, денег, правда, маловато дали. Вот закончат канал, поднимут больше земли под хлопок, и денег будет больше. Как говорится, будущее — перед нами, а прошлое — позади. Всего у нас будет много.

До самого вечера тетушка Анзират не отходила от Сидыкджана, то угощая его, то расспрашивая или рассказывая что-нибудь. Тот сначала думал, что она принимает его так приветливо только потому, что это было ей строго наказано Урманджаном, но старушка весь день так ласково говорила с ним, так заботливо хлопотала вокруг него, что ему стало стыдно за свои подозрения.

Когда наступил вечер и удлинились тени, тетушка Анзират расстелила одеяло на суше под яблоней и пригласила туда Сидыкджана. Вдруг кто-то постучал в калитку, и вслед за тем послышался голос Анзират:

— Ах, родной мой! Ах, сынок! Наконец-то пришел проведать старуху!

Это пришел Самандаров. Маленький Хашимджан повис на нем, обхватив его шею руками, а он, немного откинувшись назад и коротко отвечая на вопросы тетушки Анзират, направился прямо к суше.

Увидев его, Сидыкджан испуганно вскочил, не зная, что ему делать и как держать себя. Но Самандаров, поставив мальчика на сушу, протянул ему руку как знакомому и дружески улыбнулся.

— Сидите, сидите. Как ваше здоровье? Я вижу — лучше?

Вынув из кармана двух сахарных петишников, он отдал их мальчику. Тот спрыгнул с суны и убежал на улицу.

Старушка была, видимо, очень рада приходу Самандарова и говорила без умолку, а Сидыкджан во все

глаза смотрел на председателя сельсовета, старался угадать, зачем он пришел.

— Почти два месяца не заглядывали ко мне, сынок, — говорила тетушка Анзират. — Забыли, забыли старуху. А кто же у меня есть-то, кроме вас? Зять, чтобы угодить ему в черную землю, не показывается ни живой, ни мертвый. Вот и дамбү закончили, и канал скоро будет открыт, отчего бы ему не привезти сюда мою доченьку? Встретили его паши, говорят, на базаре перцем торгует. Лучшие сдохнуть, чем так жить!

Самандаров усмехнулся.

— А с какими глазами он вернется сюда? Пусть уж лучше торгует перцем.

— Ну да, я это же самое и говорю: с какими глазами?.. Он — как мулла. Когда пашут, пет его, когда жнут, тоже нет, а на току он тут как тут. А дочка, бедняжка, из-за него только и страдает. Была бы сейчас в колхозе, работала бы и радовалась, как все. Работящей и честной она была раньше. Вот говорят, Канизяк станет звеньевой; а чем хуже ее Кимсапой?.. Да, видела я вчера сон. Не помню уж, где и с кем я была, только гляжу: взошли две луны. Я даже испугалась: что за чудо? Тут вдруг появляется Мадраим и говорит: «А вот и я! И никакого чуда тут нет...» Уж не случилось ли чего с моим сыном? Отнесла мулле подаяние.

— Напрасно беспокоились, тетушка Анзират, — сказал Самандаров. — По-моему, очень хороший сон. Одна луна — это ваш сын, а другая — невестка. Сын ваш придет издалека и привезет с собой жену... И лицо ее будет подобным луне, — добавил он и подмигнул Сидыкджану.

Старушка быстро обернулась и посмотрела на калитку, словно в эту минуту и в самом деле должен был войти ее Мадраим рука об руку с молодой невесткой.

— Вай, масло вам в рот, сынок! — проговорила она и вздохнула: — Неужели настанет день, когда я увижу в своем доме невестку?

— А есть у вас достаток, чтобы как следует встретить ее?

— Что получаю от колхоза, сынок, все складываю в сундук. Такой заботы, какую я от колхоза вижу, не увидишь и от родного сына.

— Значит, вы довольны, тетунка Анзират? Зачем же тогда жаловались на нас?

Старушка, кажется, не поняла вопроса и недоуменно посмотрела на председателя сельсовета.

— О чем это вы говорите, сынок?

— Да все о том же, о недостатке,— улыбнулся Самандаров.— Скажите, что вы писали в своем письме сыну?

— Ничего... А что случилось?

— Сын ваш прислал письмо в райисполком товарищу Мавлянбекову и пишет, что мать его, дескать, очень сильно нуждается, стала почти нищей. Как же это так, а?

Тетушка Анзират и в самом деле посылала такое письмо, но она совсем не думала, что сын может пожаловаться районным властям.

— Вай, умереть мне, что это значит?— в полной растерянности спросила она.

Самандаров вынул из кармана плоскую жестяную коробочку с табаком, свернул сигарку и закурил.

— Не понимаете, что это значит? Тогда я вам объясню. Ваш сын хотел этим письмом сказать: неужели Советская власть перестала существовать в районе? Вот что это значит!

Старушка даже испугалась, услышав такие слова. Она совсем не предполагала, что ее письмо может иметь такие серьезные последствия.

— Я ничего плохого не говорила о Советской власти...— с расстроенным видом проговорила она.

— А кто писал вам письмо? Может, он от себя добавил о вашем бедственном положении?

Тетушка Анзират пошлепала головой.

— Родной мой, уж не спрашивайте... Сама я виновата. Думала, если напишу так, может, Мадраима отпустят домой... соскучилась я...

— Можно вам поверить?

— Пусть не исполнится ни одно мое желание, если я говорю неправду!.. А он тоже, чтоб ему приснилась дурная жена, так сразу и написал вам.

— А куда же ему писать? Товарищу Ахунбабаеву или самому Калининцу?.. Вы теперь попросите своего писаря, чтобы он написал другое письмо. Напишите сыну всю правду. Пусть он знает, зачем вы писали так. Как же это вы заставили парня беспокоиться зря? Значит, не подумали...

Когда в небе начали зажигаться звезды, во двор вошла красивая женщина лет двадцати в широком платье абри-

косового цвета. Такого же цвета легкая косынка свободно лежала на ее голове, концы косынки были опущены на грудь. Увидев гостей, она остановилась на минуту, поправила волосы, подвязала косынку и направилась прямо к супе. С председателем сельсовета она поздоровалась за руку, а Сидыкджану поклонилась и спросила о здоровье.

Самандаров шутливо заговорил с ней:

— Ну, Канизьякхон, чем еще отличилось ваше зверо?

Канизьяк растерянно посмотрела на председателя сельсовета.

— Чем еще отличилось?

Губы у нее вдруг задрожали, она отвернулась и закрыла лицо концом своей косынки.

— Э-э, что с тобой, Канизьякхон? — спросил Самандаров. — Кто-нибудь обидел?

— Бутабай-ака сказал, что поставит мой вопрос на собрании, — ответила молодая женщина и всхлинула.

— Какой вопрос?

Канизьяк приоткрыла косынку и, искоса взглянув на Самандарова, слабо улыбнулась сквозь слезы.

— Будто не знаете? Сами же, наверно, и сказали председателю, чтобы он поставил вопрос на собрании.

Ее взгляд, обиженные нотки в голосе и все движения показались Сидыкджану очень привлекательными, и он подумал: «Даже плачет красиво, а какова будет, когда засмеется?»

— Но скажи наконец, в чем дело? — серьезно сказал Самандаров. — Я не откажусь от своих слов.

— Если не говорили, то скажите: пусть Бутабай-ака не ставит вопрос на собрании, пусть лучше вычитут из моих трудовых... А все началось с того, что во время обеда в звене Халмурада пропали три кетменя. Потом эти кетмени пашли на кукурузном поле, нашли сразу, работа не задержалась. Ну вот и стали говорить, что кетмени спрятало наше звено. Может, и правильно говорили, только никто не признавался. Я увидела, что будут обвинять все звено, и взяла вину на себя. А выходит, что зря...

— Вы что же, соревнуетесь с тем звеном?

Канизьяк очень не хотелось говорить об этом, но когда Самандаров прямо поставил этот вопрос, волей-неволей ответила:

— Да.

Самандаров насмешливо сказал:

— Зачем же прятать кетмени? Вы уж лучше вышли бы ночью на участок своих соперников и повырывали им весь хлопчатник.

Канизяк опять чуть не заплакала.

— Ой, зачем вы обвиняете меня? Я же сказала...

— Ну ладно,— продолжал Самандаров.— Допустим, вы победили в соревновании, но какая польза от такой победы? Какая польза колхозу, государству? Такие действия к лицу торговцам, которые из-за своего барыша готовы вцепиться друг другу в горло. А вы-то боретесь за что? Ты понимаешь, в чем суть социалистического соревнования?

— Понимаю, знаю!— задорно ответила Канизяк, ставя на стол возле супы лампу, принесенную тетушкой Апзират. И одним духом выпалила слова, слышанные от Урманджана: — Победа одного из соревнующихся должна вызывать не зависть, а желание работать еще лучше, еще старательнее.

— Ты это хорошо заучила, но смысла не поняла. Разве то, что вы сделали, может вызвать у звена Халмурада желание работать еще старательнее?

— Ой, опять вы меня обвиняете!..

Канизяк хотела снова объяснить, как было дело, но Самандаров перебил ее:

— А если бы пропали не кетмени, а деньги, ты и тогда взяла бы вину на себя?

— Нет, конечно!

— Постыдилась бы, да? А почему же тут не стыдилась? Потому что ты думала: «Что ж тут такого позорного? Тот, кто спрятал кетмень, хотел сделать добро нашему звену, желал ему успеха в соревновании». Может быть, ты даже гордилась перед звеном, когда взяла вину на себя: вот, мол, какое великодушие! Но если у вас и в самом деле приняли это как великодушный поступок, то, значит, никто у вас не понимает, что такое социалистическое соревнование... Когда это случилось?

Канизяк еле слышно прошептала:

— Давно... еще во время первой олучки хлопка.

— А Бутабай узнал только теперь?

— Нет, он узнал в тот же день.

Самандаров, хмурия брови, прикурив над лампой потухшую сигарку. Лицо его оставалось строгим, и Сидыкджан

думал, что он еще долго будет ругать молодую женщину за ее необдуманный поступок. Но Самандаров задумчиво посмотрел на Канизяк и сказал:

— Не бойся. Я знаю Бутабая много лет. Раз он сразу, сгоряча, не поставил вопрос на собрании, то теперь уже не поставит. А ты в будущем такие поступки не покрывай. И чужие грехи на себя не бери...

Канизяк так и не поняла: утешал ее председатель сельсовета или не одобрял Бутабая? Она ожидала, что он скажет еще что-нибудь и тогда все станет ясно. Но Самандаров обратился к мальчугану, который уже давно стоял рядом с Канизяк, заложив руки за спину.

— Ну, Хашимджан, что это ты там прячешь? Покажи.

Мальчик сделал два шага вперед, сунул в руку Самандарову что-то завернутое в тряпку и спрятался за спину Канизяк. Самандаров развернул тряпку и увидел в ней две гайки и маленькую медную шестеренку. Не понимая, зачем Хашимджан дал ему вещи, он сказал:

— Спасибо. А что я должен делать с этими гайками?

Хашимджан, привстав на цыпочки, потянулся к уху Канизяк и что-то зашептал ей. Та, выслушав его, широко раскрыла глаза и засмеялась.

— Он говорит, что они пригодятся вам, когда вы будете делать трактор.

Самандаров расхохотался и, притянув к себе мальчугана, поднял его и прижал к груди.

— Ай, какой же ты молодец! — сказал он, опуская Хашимджана на супу.

Мальчик все больше нравился и Сидыкджану. Наклонившись к его уху, он спросил:

— Разве этот человек умеет делать тракторы, Хашимджан?

Но Хашимджан, по-видимому, был твердо уверен в том, что Самандаров делает тракторы. Разве не о нем всегда говорят взрослые, когда речь заходит о тракторах? И он, взглянув на Сидыкджана, утвердительно кивнул головой.

Канизяк тем временем разостлала дастархан и принесла ужин. Ставя перед Самандаровым глиняную миску с супом, она сказала:

— Уж вы извините нас, Максуд-ака, тетушка сварила сегодня только пшеничный суп.

Самандаров, помешивая суп тяжелой ложкой с длинным черенком, пошутил:

— А что — вы привыкли есть суп с курицей?

— Уж не позорьте наш дом! — сказала Канизяк, ставя другую миску перед Сидыкджаном.

— Ладно, пока простительно, — согласился председатель сельсовета. — Но придет время, когда это будет уже неприлично. Однако, — продолжал он, прикидывая на руке вес ложки, — уже сейчас неприлично подавать гостям такой вот черпак. Надо бы завести в доме нормальные ложки.

Он быстро съел свой суп, поблагодарил хозяек и, прощавшись за руку с Хашимджаном, ушел.

После его ухода во дворе как-то сразу стало совсем пусто и тихо, словно здесь было много гостей и вдруг они все встали и ушли. Канизяк убрала посуду и скатерть. Сидыкджан прилег на тахту и долго еще слышал, как по двору в темноте бродила тетушка Анзират и что-то бормотала о злополучном письме к сыну, наделавшем столько неприятностей.

Проснувшись утром, Сидыкджан почувствовал себя так легко, словно и не болел. Однако, еще не совсем веря в свое выздоровление, решил отложить на день выход на работу и занялся разными поделками во дворе тетушки Анзират. Он укрепил стойки навеса, починил калитку, зарыл старую, уже полную помойную яму и выкопал новую, а Хашимджану сделал лук и много стрел из камыша. К вечеру, когда он собрался выйти на улицу, тетушка Анзират сунула ему в руку деньги. Сидыкджан смутился, начал отказываться, но тетушка Анзират так ласково смотрела на него, что он положил их в карман и пошел искать квишлачного парикмахера.

Вечером Канизяк, вернувшись с работы, как только вошла в калитку, радостно крикнула:

— Сидыкджан-ака, вы будете работать в нашем звене!

На следующий день рано утром Сидыкджан отправился вместе с Канизяк на хлопковые поля.

Бригадир Закир-ата решил сам испытать Сидыкджана на окучке хлопка, но, увидев, с какой ловкостью тот работает кетменем, остался очень доволен.

— Спасибо твоему отцу! — похвалил он.

Затем, словно боясь, что Сидыкджан может сбежать из его бригады, открыл свою тетрадку и долго, пыхтя и отдуваясь, вывел его имя.

1

Никогда еще Сидыкджан не чувствовал себя так бодро и радостно, как в эти дни, работая на хлопковых полях в бригаде деда Закира. Он удивлял своей силой и выносливостью все звено. В часы отдыха шутил и смеялся в кругу молодежи, а вечером, когда возвращался домой, из груди у него невольно рвалась веселая песня. Он и сам не знал, почему так весело у него на душе, да и не особенно задумывался над этим. Он уже не чувствовал себя гостем в колхозе, а все больше и больше сроднялся с ним. Старый друг Урманджан, Тешабай, Знядахон, Канизяк, вспыльчивый Бутабай и даже суровый на первый взгляд Самандаров — все, с кем работал он рука об руку, не жалея сил, стали для него близкими, дорогими людьми. Они сразу же протянули ему дружескую руку помощи, все время подбадривали, стараясь укрепить в нем уверенность, что именно здесь, в «Кошчпнаре», он найдет свое счастье. Тетушка Анзират встретила его с материнской лаской, а в своей молодой соседке Канизяк Сидыкджан почувствовал друга с того дня, когда она радостно сообщила, что он будет работать в одном с нею звене.

В первые дни его работы с ней Канизяк была удручена и подавлена. Причиной этого была все та же злополучная история с кетменями. В районной газете опубликовали решение райкома об усилении массово-политической работы в колхозах. В передовой статье, разъяснявшей это решение, обобщался опыт передовых сельскохозяйственных артелей, где в результате хорошо налаженной массово-политической работы все колхозники были вовлечены в социалистическое соревнование. В числе колхозов, где эта работа еще не была как следует поставлена, назывался и «Кошчпнар». Указывались факты извращения самой идеи социалистического соревнования и ударничества, когда бригады и звенья, вместо того чтобы помогать друг другу, старались любыми средствами не допустить победы соревнующейся бригады или звена. Приводился пример и с похищением кетменей одним звеном у другого.

Прочитав статью, Канизяк пришла в отчаяние. Она даже не заметила, что этот пример относился не прямо к колхозу «Кочичинар», и была убеждена, что об ее «поступке» знает теперь весь район и «сам товарищ Ахмедов». После разъяснений Самандарова она уж понимала, какое значение имеет эта невинная, как она думала вначале, проделка, а когда узнала, что решение райкома и статья будут обсуждаться на собрании активистов колхоза, совсем пала духом. Ей казалось, что теперь все будут говорить о ней как о несознательной колхознице, которая порочит колхоз, и это угнетало больше всего. А она, одна из лучших активисток колхоза и первая ударница своего звена, еще мечтала в скором времени стать звеньевой!..

Сидыкджан, видя ее подавленное состояние, несколько раз пытался осторожно выспросить, какое у нее горе. Канизяк обычно говорила: «Так, ничего...»—и отворачивалась, пряча слезы, или просто молчала. Сидыкджан не понимал, что творится с молодой женщиной, и однажды, когда они, возвращаясь с поля, остались вдвоем, снова настойчиво стал расспрашивать, почему она так изменилась с того дня, когда они впервые пошли вместе на окочку хлопчатника. Канизяк сначала отмалчивалась, а потом раздраженно ответила:

— Да что вы пристали ко мне? Вам-то какое дело? Вам весело, ну и пойте, а меня оставьте в покое!

Это было сказано так резко, что Сидыкджан растерялся и грустно посмотрел на Канизяк, а ей самой от своих слов стало неловко. Смутившись, она покраснела, опустила голову и через минуту, кусая губы и всхлипывая, рассказала все.

Сидыкджан, чувствуя, что она напрасно себя терзает, посоветовал ей сходить к Урманджану.

— Пойдите и расскажите ему всю правду!— горячо убеждал он ее.— Чем изо дня в день мучить себя, лучше отмучиться сразу. Пусть он и поругает немного, как Самандаров, но он и поможет вам. Обязательно поможет! Урманджан-ака человек умный и справедливый.

И Канизяк послушалась его совета. Пошла с тревогой на душе, с бьющимся сердцем, а вернулась радостно взволнованная, сияющая. Урманджан, оказывається, был на заседании райкома, когда принималось решение об усилении массово-политической работы в колхозах, и слышал немало историй, подобных той, которая случилась в звене Кани-

вяк. Выслушав молодую женщину, он посмеялся над ее страхами и сказал:

— На собрании будет стоять вопрос о всех нас, активистах: плохо ведем разъяснительную работу. А ударников и ударниц в обиду мы не дадим. Нет, не дадим!.. Вот с лодырями и теми, что стараются поменьше дать колхозу, а побольше урвать от него, будет другой разговор.

После этого между Сидыкджаном и Канизяк установились близкие, товарищеские отношения. Они жили в одном доме, шли на работу и возвращались с ней зачастую вместе, и никто как будто не видел в этом ничего предосудительного. Сидыкджан всегда старался чем-нибудь помочь Канизяк. По-видимому, ему доставляло удовольствие получить ее признательный взгляд.

Как-то к ним в звено, когда работа была в самом разгаре, пришел Урманджан. Обойдя участок, он остановился возле куста, у которого копался толстый Абдусамад-кары, работающий в том же звене, и, сорвав лист, поврежденный паутинным клещиком, показал его старику Закиру. Затем, окинув взглядом плохо окученные кусты хлонецника, он вдруг вырвал кетмень из рук Абдусамад-кары и ударил им по стволу тутового дерева. Рукоятка кетменя сломалась, Урманджан бросил ее и, не сказав ни слова, зашагал на участок другого звена.

Абдусамад стоял, выпучив глаза, и тупо ухмылялся. Все стало ясным, когда Закир-ата взял в руки сломанный кетмень: он был очень легкий и маленький. Закир-ата посмотрел на кетмень, потом на Абдусамад-кары, и белая борода его задрожала.

— Эх ты, слабосильный, — с презрением сказал он и, расщипев, швырнул клинок и обломок рукоятки кетменя к ногам кары.

Кто-то рядом громко захохотал.

Сидыкджан невзлюбил Абдусамад-кары с того самого дня, когда тот, придя во двор Урманджана, наговорил всяких небылиц про тетушку Анзират. Все в этом человеке — и тихий воркующий голос, и мягкая копачья походка, и лживая улыбка на пухлом лице — вызывало у Сидыкджана отвращение. Он старался держаться подальше от него, но как-то кары, когда возвращались с работы домой, случайно оказался его попутчиком.

Они долго шли молча. Наконец Абдусамад-кары, ехидно захихикав, сказал:

— Оказывается, очень строгий человек этот ваш друг, Урмаджан-ака, очень... Как же, правая рука председателя, колхозная власть... И вспыльчивый какой! Не дай бог, если кто-нибудь вздумает заглядываться на его вазнобу. Как говорится, не найдет соперника — пырнет пожом его ишака.

Сидыкджан усмехнулся.

— Что это вы болтаете, кары-ака, какая зазноба? Разве Урмаджан-ака развелся с женой?

— Хи-хи-хи... — противно захихикал кары. — Простак же вы, парень, недаром над вами смеются в колхозе... Неужели до сего времени так и не догадываетесь? Молодая красивая женщина, да еще и свободная — кто же откажется? Будь вы на его месте, разве отказались бы? Такое дело, браток, для нас с вами запретно, а для них дозволено. Власть, хе-хе...

— Кто же эта молодая свободная женщина? — нахмутив брови, сердито спросил Сидыкджан и даже остановился, ожидая ответа.

— Ай, ай, ушаси бог, — испуганно залепетал кары, — разве можно об этом, братец? Это я так, только с вами пооткровенничал. Урмаджан-ака неоценимый человек для колхоза и очень уважаемый, очень... Пускай развлекается в свое удовольствие! Кому это мешает? Вам мешает... Нет. Но поостерегитесь, я вам дружески говорю! Пусть уж лучше пож ишаку в бок, хе-хе, чем...

Кары захохотал, издавая звук, похожий на бульканье воды в горлышке опрокинутой бутылки, и, не досказав, повернул на тропинку, которая вела в сторону кишлака.

Сидыкджан проводил его гневным взглядом, плюнул ему вслед и направился по дороге в Бакакуруллак. Для него было ясно, что кары или сам стремился оболгать Урмаджана, или передавал чьи-то чужие сплетни. Но ехидная болтовня его навела на разные мысли: «Кто же эта «свободная женщина»? — думал Сидыкджан, быстро шагая по дороге. — Кого он имел в виду? Неужели Канизьяк? И на что он намекал, когда говорил, что надо мной смеются в колхозе?..»

Впервые, вернувшись домой, Сидыкджан не ответил на шутливые вопросы Канизьяк такой же веселой шуткой. Весь вечер он был молчалив, хмур и задумчив.

Работы по окучке хлопчатника подходили к концу. Сидыкджан уже подумывал о том, чтобы подать заявление о принятии его в колхоз. Воспользовавшись выходным днем, он с утра отправился в Кугазар, надеясь застать Урмаджана дома и посоветоваться с ним: не пора ли уже писать заявление. Но по дороге его перехватил мальчик-посыльный и позвал к Бутабаю. Сидыкджан и сам хотел сначала заглянуть в правление, посмотреть, нет ли там Урмаджана. Кивнув головой мальчугану, он ускорил шаги.

Когда он подошел ко двору правления, какая-то женщина, стоявшая у калитки, испуганно отшатнулась в сторону. Во дворе были еще две женщины: одна, рябая, средних лет, стояла перед Бутабаем и что-то говорила ему, но, заметив входящего Сидыкджана, умолкла, другая, молоденькая, сидела на корточках ближе к входу.

— Ладно, ладно,— сказал Бутабай,— давайте уж садитесь, выкладывайте все... Кто еще там? Позовите.

Молодая женщина, стоявшая снаружи, за калиткой, тоже вошла и присела на корточки.

Бутабай, пригласив сесть и Сидыкджана, снова обратился к женщинам:

— Говорите, я слушаю.

В это время во двор вошел Урмаджан и, поздоровавшись со всеми, сел рядом с председателем колхоза.

Женщины переглянулись. Рябая женщина, все еще стоявшая, поспешно под села к двум другим. Все молчали. Ни одна из них не решалась заговорить о деле, с которым они пришли к председателю.

— Да говорите же!— повторил Бутабай.

— Если говорить,— начала рябая женщина, опасно поглядывая на Урмаджана,— так в первую очередь насчет козы... Ариф теперь хорошо присматривает за скотиной, Урмаджан-ака заставил его работать. С тех пор как Урмаджан-ака взялся за ферму, скотина стала поправляться. Телята раньше даже мычать не могли от слабости, а теперь не дают поймать себя. Только вот с козой неладно получилось. Почему у Арифа коза сразу принесла двойню, а колхозные все время рожают по одному козленку? Это неправда, что коза Арифа принесла двойню, она одного родила! Другой козленок— колхозный.

Урманджан был удивлен. Об этом еще раньше ходили разговоры в колхозе и на поверку оказались пустыми слухами.

— Неправда все это,— сказал он. — Мы уже проверили.

— Проверьте еще!— потребовала рябая женщина.

Урманджан обратился к молодым женщинам, которые сидели молча.

— И вы пришли насчет козы Арифа?

— Да, мы пришли в первую голову насчет козы,— ответила за молодых рябая женщина,— а потом уж насчет Канизяк... Канизякхон,— поправилась она и насулилась, угрюмо поглядывая на Урманджана и на Сидыкджана.

Молодые женщины как будто только и ждали, когда пойдет речь о Канизяк. Перебивая друг друга, они застрекотали:

— Говорят, Канизяк хотят поставить звеньевой!

— Разве нет более достойной?

— Какая-то пришедшая, никто ее не знает!

Бутабай замахал рукой:

— Погодите, погодите трещать! Сначала разрешим вопрос о козе. Что же — снова проверять?

— Проверять!— ответила рябая.

Молодки снова затараторили:

— Пускай проверят!

— И козу пусть проверят и Канизяк!

— В первую голову Канизяк!

— Да, пусть проверят, а уж потом говорят, можно ли назначить ее звеньевой!

Бутабай понял наконец, что старая, всем уже надоевшая история о козе Арифа — только предлог и что женщины пришли главным образом из-за Канизяк.

— Хорошо,— сказал он,— вопрос о козе мы еще раз проверим. Теперь насчет Канизяк. Кто вам сказал, что она будет звеньевой? Только говорите не все сразу, а по очереди.

— Знаем!— в один голос воскликнули все три женщины.— Вы давно решили, а какая она звеньевая? Вай!..

— Во-первых,— спокойно перебил Бутабай,— правление еще не принимало решения по данному вопросу. Так что, если у вас есть что сказать против, говорите — учтем. А, во-вторых, по-моему, если Канизяк

станет звеньевой, она справится с делом. Так думают и другие. Вот пусть скажет Сидыкджан — он работает с ней в одном звене. Спросите у старика Закира — он кривить душой не станет. Если судить по работе, то она хоть и женщина, а на работе не уступит двум крепким мужчинам. Нет, не уступит. А, кроме того, во всей бригаде кто лучше, чем Канизьяк, понимает хлопковое дело? Она уже теперь стала правой рукой бригадира. Пусть сам Закир-ата вам скажет об этом. Были бы у нас в колхозе все женщины такие, эхе!.. Разве так пошло бы дело?

Женщины выслушали речь председателя, не проронив ни слова. И даже когда он кончил, они еще некоторое время молчали. Потом одна из них, потупившись, мягко сказала:

— Ваши слова правильны, Бутабай-ака. В поле Канизьяк работает так, что зависть берет. В прошлом году, когда мы получали на трудодни, даже многим мужчинам было стыдно перед ней. Все завидуют ей. Только она молодая еще, озорная. Да, вот это мы и хотели сказать: молодая и озорная!

— Уж это так, озорная и с мужчинами заигрывает! — вставила другая, бросая косой взгляд на Сидыкджана.

Сидыкджан покраснел до ушей и опустил глаза.

— И неизвестно еще, откуда она пришла, — добавила третья. — Может, распутная какая-нибудь?

В разговор вмешался Урманджан.

— И молодая и озорная немного, — мягко заговорил он, — все это верно. Можно еще добавить, что она свободная незамужняя женщина. Но те, кто говорят, что она распутная, болтают зря. Я кое-что знаю о ней. Родилась Канизьяк в здешних местах, а росла в Намангане. Родители ее умерли, когда она была еще маленькой. Как она жила в Намангане и что там делала, я не знаю, не расспрашивал. Но я думаю, что если бы она там вступила на дурной путь, она не приехала бы сюда, а если бы и приехала, то не работала бы так рьяно в колхозе. Вероятно, потянула ее сюда память об отце и матери, надежда найти среди нас родителей, сестер и братьев. Так что же нам было делать? Сказать ей: мы тебя не знаем, ты, может быть, распутная женщина или завтра станешь такой? Вот вы пришли требовать, чтобы не допускали ее в звеньевые. Говорите — «молодая», «озорная»,

даже «распутная». А мы этого не замечали. Так что же — прикажете нам слушать всякую злостную болтовню? И, может быть, выгнать Канизяк из колхоза?

— Мы же не говорим, что ее надо выгнать, — сказала, начиная заметно сдавать, рябая женщина и повернула разговор в другую сторону: — Да она сама виновата! С нами не водится, дружит с русскими женщинами с водочками, — откуда же нам ее знать?

— А почему Канизяк, даже не умея хорошо говорить по-русски, тянется к русским женщинам? Вы об этом не думали? — спросил Урманджан и сам же ответил: — Человек тоже, как хлопчатник, тянется к солнцу. Только солнечным светом для него чаще всего бывает внимание и сочувствие другого человека. Я думаю, что Канизяк потому и дружит с русскими девушками и женщинами, что у них она находит больше внимания и сочувствия, чем у вас. Подозревать женщину в распутстве только потому, что она несколько свободнее держится с мужчинами, — что это такое? Старое рабство, старый обычай, темпота! Нельзя так относиться к своей подруге! По-моему, и вам следовало бы побольше общаться с русскими женщинами. Они умеют поддерживать свое женское достоинство, а вам надо еще учиться этому. С чего это вы взяли, что молодая незамужняя женщина должна быть обязательно распутной? Плохо, по-старому вы думаете о людях и прежде всего — о самих себе...

Урманджан говорил спокойно, не повышая голоса, но Бутабай вдруг вспыхнул:

— Какой это элемент нашептывает все это? Вижу я теперь, с чем вы пришли. «Насчет козы»... Хороших людей чернить пришли! Канизяк — лучшая наша ударница! «Молодая», «озорная»... Хотел бы я, чтобы вы все были такими озорными на хлопок! Идите-ка лучше да подумайте над тем, что вам говорил Урманджан-ака.

Пристыженные, с растерянным видом женщины молча поднялись и одна за другой вышли за калитку.

Все время, пока шел разговор о Канизяк, Сидыкджап сидел ни жив ни мертв и со страхом ждал, когда назовут его имя. Вспомнились ехидные намеки Абдусамада-кары, подумал о том, зачем позвал его председатель колхоза. Неужели за тем, чтобы он собственными ушами услышал, какие слухи о Канизяк пошли по колхозу? Последние слова Бутабая несколько притободрили его, и все же, как

только закрылась калитка за женщинами, он поднял глаза на своего друга и сказал прямо, что думал:

— Урманджан-ака, раз об этой женщине идут такие разговоры, нехорошо мне оставаться в одном доме с ней. Я не зарюсь на нее, но... лучше жить мне в другом месте. И для нее лучше, и для меня.

— А ты уже испугался разных сплетен? — улыбнулся Урманджан. — Если не знаешь за собой никакой вины, то чего же бояться? Поговорят и перестанут.

Сидыкджан не решился рассказать Урманджану о том, что слышал от Абдусамада-кары, и только повторил:

— Нет, нехорошо получается.

— Нехорошо? — шутливо проговорил Бутабай. — Смирный ты больно, парень. Бабы языки таких любят... А у меня к тебе, брат, такой разговор, — уже серьезно обратился он к Сидыкджану. — На канале ты работал неплохо, в поле — еще лучше. Может, поедешь еще раз на канал? Плотина — большое дело, надо кончать. Тешабай и Каримов там по тебе уже скучают. «Давай, говорят, побольше таких кетменщиков».

— Поеду, — не задумываясь, согласился Сидыкджан.

— Ну, вот и хорошо! — удовлетворенно заключил Бутабай. — И думать о новом жилье пока не надо... Так через недельку готовься, брат...

С этого дня Сидыкджан больше уже не ходил вместе с Канизяк ни на работу в поле, ни с работы домой; на людях старался совсем не разговаривать с ней, а если и говорил, то только по необходимости и строго нахмури брови.

Канизяк сразу заметила, что Сидыкджан начал избегать ее, была огорчена этим и не могла понять, почему он так изменился.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Все лето в Бишсерке на МТС шло большое строительство. Строились служебные и жилые помещения, гараж, ремонтная мастерская, новое здание красной чайханы. В старой чайхане былолюдно и шумно. На строительство с разных сторон поаехал много народа. Приезжие не

сразу находили себе постоянное жилье и временно устранились в чайхане. Старый Курбан-ата выбивался из сил, стараясь обслужить всех посетителей, и в конце концов подал директору МТС заявление с просьбой дать ему помощника. Директор прислал было ему крепкого и проворного парня, но тот побегал недели три с чайниками и пиалами и вдруг заартачился: «Нет, не по мне эта работа!» — и ушел учиться на тракториста. Так до самой осени маялся Курбан-ата один. А осень выдалась погожая, и летняя чайхана закрылась только в конце октября.

Строительство новой зимней чайханы закончилось к Октябрьским праздникам. Но внутренняя отделка помещения должна была занять еще некоторое время, и Курбан-ата решил воспользоваться случаем побывать в кишлаке Капсанчи и навестить могилу своей матери.

Когда он собирался в дорогу, к нему заглянул его сосед Гияситдин Махзум. Узнав, что Курбан-ата едет до Наймана с попутной машиной МТС, Махзум попросил прихватить и его, сказав, что у него есть дела в Капсанчи.

Гияситдин Махзум был местным старожилом и еще не так давно служил при мечети, выполняя обязанности суфи. Но молящихся из года в год становилось все меньше, мечеть закрылась, и Махзум перешел на обслуживание покойников. Иногда, впрочем, он обслуживал и живых, когда его звали поворожить или прочесть молитву об исцелении недуга. Курбан-ата, все еще не теряя надежды разыскать свою давно пропавшую племянницу, однажды попросил Махзума, как старожилу, навести о ней справки. С этого и началось их знакомство.

В канун Октябрьского праздника Курбан-ата и Махзум рано утром выехали на грузовике в Найман, а оттуда к полудню добрались пешком до кишлака Капсанчи. Курбан-ата рассчитывал посетить могилу матери, переночевать у Урманджана, а на другой день к вечеру вернуться домой. Но когда гости стали собираться в обратный путь, Урманджан сказал:

— Кто же уходит от праздника? Нехорошо, Курбан-ата, обидите. Завтра большой праздник, а у нас, кроме того, большое торжество — открытие канала. Устраиваем большое народное гуляние.

Курбан-ата принял приглашение. Хотелось посмотреть старику, как будут праздновать бывшие капсанчи

открытие канала, а кроме того, повидать и Сидыкджана, который, как он узнал, работал на плотине. Старик не забыл почти, проведенной с ним несколько месяцев назад, их задушевного разговора.

На другой день в полдень улицы и площади Кугазара стали быстро заполняться народом. Молодые мужчины и женщины шли торопливо, почти бежали, оживленно перекликаясь и перебрасываясь шутками. Дети носились из конца в конец, кричали, шумели, дудели в камышовые дудки. Группа стариков в ожидании автомобиля расположилась на самом солнцепеке, но никто этого не замечал. По всем тропинкам и проселочным дорогам двигались и двигались люди. Все направлялись к каналу.

Курбан-ата и Махзум спустились с пригорка на площадь и присоединились к группе стариков. Как раз в это время со стороны Бакакуруллака подъехал Урманджан верхом на большом белом осле. Старики окружили его. Оказалось, что машина из-за плохой дороги не могла подойти ближе и остановилась у моста. Урманджан объявил, что скоро подойдет арба и до моста можно будет доехать на ней. Некоторые из стариков не захотели ждать арбу и направились к мосту пешком.

Махзум залюбовался белым ослом. Он оглядел его со всех сторон, потрепал по шее, почему-то попробовал согнуть торчащие трубкой уши, затем, похлопав осла по гладкому крупу, промолвил:

— Животное, которое служило святым!

Урманджан понял, что Махзуму очень хочется поехать на белом осле, и он, передав ему поводья, сказал:

— Поезжайте оба. Ишак сильный, выдержит.

Махзум подвел осла к косогору и прыгнул ему на спину.

Курбан-ата, усмехнувшись, подсел к нему сзади.

Отправились.

Белый осел легко нес двух седоков, шел иноходью, а иногда даже рысцой. Махзум, покачивая своими длинными ногами, сидел в седле прямо, как палка. Курбан-ата, держась за его сухую спину, рассказывал об этих местах. Он показал развалины одной из княжеских водокачек, места, где он когда-то сопровождал дочерей князя на вечерние верховые прогулки, дачу, где князь проводил лето со своими дочерьми и восемнадцатью собаками, и,

накопеч, сады ишана Абдуваккаса. Эти сады начипались сразу же за выездом из махалли Кошчинар. Невдалеке от дороги, среди засохших фруктовых деревьев, виднелись развалины большого каменного здания. Развалины, как и края большого водоема перед ним, заросли верблюжьей колючкой, лебедой и полынью. Махзум, взглянув на все это, сокрушенно вздохнул.

— Эх, райские места, видно, тут были! И все погибло... Вот они, колхозы...

— «Райские места», — сердито повторил Курбан-ата. — Логово кровавого дракона, который терзал людей, — вот что тут было! А колхозы вы оставьте в покое... У колхозов будут и получше сады, вот увидите!

Сказав это, старик вздохнул. Перед его глазами встали, как живые, Фарманкул, Вася Темин и другие люди, которые знали в этом мире только горе и ушли из него, как мученики, борясь за счастье народа. На глазах его выступили слезы, и он не сказал больше ни слова, чувствуя, что его спутник не способен понять его.

Грузовую машину, остановившуюся за мостом, на перекрестке дорог, окружала чуть ли не сотня людей — молодых и старых, мужчин и женщин. Стоял невообразимый крик. Какая-то женщина средних лет умоляла шофера:

— Родной, довези хоть до Какыра, я еще никогда не ездила на самоходной арбе!

Кто-то густым басом отчитывал какого-то Абдухалыка, который расположился на сиденье, не давая места старикам. Шофер, молодой, краснощекий парень, ловко отбивался от нападающих. С молодых мужчин и женщин он срывал тубетейки, платки и отбрасывал в сторону, а когда те с визгом и криком бросались поднимать их, подхватывал под руку стариков и помогал им подняться на машину.

Наконец грузовик загредел мотором, пыхнул в стоящих позади людей едким газом и покатился по дороге. Ребятишки, цеплявшиеся за борта машины, прыгнули, а двоих, наиболее упорных, взрослые за руки втащили в кузов. Когда грузовик, подняв за собой целое облако пыли, скрылся вдали, молодежь, окликающая друг друга, с веселым гомоном двинулась вслед за ним.

Старики, которым не удалось уехать с первым рейсом, уселись в ожидании машины на обочине дороги, старухи

расположились немного в стороне, на земляной насыпи. Махзум привязал осла к перилам моста, нарвал ему немного травы и, отойдя в сторону, вступил в разговор с кем-то из встретившихся знакомых.

Курбан-ата подсел к старикам. Гадая, когда вернется за ними машина, они спорили о том, сколько пилал чай можно вынуть, пока грузовик съедит на плотину, сколько верблюжьих вьюков он может поднять и сколько улиц в кишлаке могут осветить его фары, если их установить где-нибудь повыше.

Тем временем поток людей все увеличивался. Толпа подростков и парней, появившись со стороны Актавука, прошла по мосту с гикашьем, свистом, смеем и выкрикивая разные шутки. Вслед за ними проехали на телеге шумливые ребятишки. Затем показался грохочущий трактор, таща на прицепе две огромные, как помосты, четырехколесные повозки. В повозках было полно женщин, они пели, хлопая в ладоши, подзадоривая полную женщину средних лет, которая сидела на передней повозке и, как бы танцуя, делала руками плавные движения. Когда телега поравнялась со стариками, женщина поднялась на колени, увершись руками в бока, задвигала плечами и, взметнув бровями, бросила на седоволосых дедов смеющийся взгляд. Кто-то из стариков одобрительно крикнул:

— Дост!¹ Будь счастлива!

По дороге из кишлака Капсанчи, нагоняя трактор, подкатила бричка, запряженная парой сытых лошадей. Колеса ее прогремели по деревянному настилу моста и сразу затихли, врезавшись в мягкую пыль, грохот сменился мелодичным звоном бубна. Женщины и девушки, празднично разодетые в цветные платья и шелковые косынки, несли свадебную песню. Среди них стройная женщина, немногим старше двадцати лет, с ярко-красными губами на смуглом лице была в бубен, пританцовывая, и глаза ее озорно поблескивали.

Глядя на нее, Курбан-ата вспомнил свою племянницу. «Да, она теперь была бы вот такой же,— думал он.— Жива ли? Счастлива ли вот так же, как эти женщины и девушки с горящими глазами и счастливыми лицами? Если она пошла в мать, которая могла встать во главе сорока

¹ Дост — о бычий возглас одобрения танцору или певцу.

молодцом, то она теперь не пропадет. Может, жива и так же счастлива...»

— О аллах! О святой Бахаутдин! О Гавсул азам!— раздался над его ухом хриплый шепот Махзума.— Арба шайтана и дети его... Видите эту распутную женщину?

Курбан-ата, услышав эти слова, вздрогнул и возмущенно повернулся к Махзуму.

— Оставьте свои заклинания! Замолчите! Пусть танцуют, смеются!— сердито сказал он и, поднявшись, отошел в сторону.

Через некоторое время к мосту снова примчался грузовик за оставшимися стариками. Шофер сделал крутой поворот и остановил машину, подняв тучу пыли. Старики и старухи бросились к машине, снова поднялся шум. Хватаясь за чьи-то плечи, наступая кому-то на ноги, Махзум протолкался вперед и, усевшись у кабины шофера, стал звать своего спутника. Но Курбан-ата, заняв первое попавшееся место на скамейке, даже не откликнулся. Рядом с ним какая-то дряхлая старуха твердила на ухо своему соседу, еще более древнему старику:

— Следите за мной, следите! Когда тронется, держите, а то упаду!

Грузовик тронулся, старики и старухи испуганно вцепились друг в друга: «Ах, вах!» Но шофер, не обращая внимания на испуганные возгласы пассажиров, многие из которых впервые ехали на «самоходной арбе», лихо помчался по дороге. Он спешил, надо было успеть сделать еще один рейс. Машина неслась, подпрыгивая на ухабах, раскачиваясь, стариков швыряло из стороны в сторону, но они скоро освоились с тряской и уже с удовольствием смотрели, как грузовик обгонял одну за другой арбы и брички, оставляя их далеко позади, как разбегались в стороны пешеходы, услышав резкий гудок. А когда машина вырвалась из зарослей в беспредельную степь и покатила по ровной дороге, даже та дряхлая старуха, которая проспала держать ее, спокойно сказала соседу:

— Не держите, теперь и сама домчусь.

Вскоре впереди показалась блестящая полоска реки, протянувшаяся у подножья бурых холмов, и молодой парень, стоявший у кабины шофера, громко сказал:

— Вот она, плотина!

Машина, непрерывно сигналив, медленно продвигаясь между толпами людей и рядами распряженных арб, направилась прямо к реке. В плетеных кузовах арб из-под соломы и сухой травы выглядывали пузатые бока поздних дынь и арбузов. Всюду стояли открытые мешки, большие и малые торбы, корзины и ящики с урюком, джидой, изюмом, курагой, айвой, виноградом, грушами, яблоками, сушеной шелковицей, орехами, миндалем — всеми плодами, которые понавели колхозники из садов и бахчей для праздничного угощения. Кругом суетились люди, раздавались оживленные голоса, смех. Где-то звенел бубен, с одной стороны доносились звуки веселых песен, с другой — раздавалась протяжная грустная мелодия. Тут и там слышались задорные выкрики:

— Эй, подходи! Поешь — рад будешь, откажешься — жалеть будешь!

— Вот отборные! Попробуешь — скажешь спасибо!

Машина остановилась у невысокого холма с травянистым покатым склоном. На кошмах, паласах, циповках, разостланных по всему склону и у подножия его, сидели группами пожилые люди. Проворные юноши разносили чай, стопки лепешек на подносах, разные фрукты и сладости.

Вновь прибывших встретили две молодые женщины и высокий плечистый парень. Старух провели к группе женщин, которые расположились на склоне холма, а стариков — прямо на вершину его. Здесь на разостланных паласах сидело десятка полтора седобородых старцев, они оживленно беседовали, поглядывая на толпы празднично разодетых людей. Отсюда хорошо было видно и цементную с красными воротами плотину и все гулянье на берегу канала.

Махзум опустил на свободное место и потянул за полу Курбана. Но в это время снизу послышался звонкий, веселый голос:

— Здравствуйте, Курбан-ата!

Обернувшись, Курбан-ата увидел Сидыкджана, который бежал по косогору прямо к нему, и улыбающееся лицо стоявшего внизу Урманджана. Кивая головой, Урман-

джап, по-видимому, хотел сказать: «Гляди, как обрадовался!»

Сыдыкджан, взбежав на вершину холма, с разбегу крепко обнял старика, приподнял его и, опустив на землю, снова заключил в объятия.

— Молодец, сынок, молодец!— сказал Курбан-ата, поглядывая добрыми глазами на Сыдыкджана.— Каждый раз, когда приезжает Урманджан, я спрашиваю о тебе... Работает, говорит, веселый. Вчера хотел тебя повидать, а ты, оказывается, здесь... Ну, как живется?

— Хорошо, отец, хорошо!— взволнованно проговорил Сыдыкджан.— Спасибо.

Тот же высокий парень, который встречал стариков, принес чай, поднос с лепешками и сушеными фруктами и пирожки с тыквой, завернутые в платок.

Сыдыкджан стал рассказывать и как работал тут, на канале, и какие люди в колхозе, и о том, какой человек «шаш секретарь райкома, товарищ Ахмедов». Говорил он, захлебываясь от волнения, как мальчик, который торопится выложить своему отцу все сразу, и Курбан-ата улыбался, глядя на него. Выслушав, он удовлетворенно качнул головой.

— Так, так, сынок... Разве я, седобородый, мог тебе соврать? Когда Урманджан говорил, что у них в колхозе, мол, работы много да мало еды, разве не я советовал тебе не бояться? В наше время кто трудится, не пропадет.

— Это верно, отец, только Урманджан-ака говорил тогда так не для того, чтобы пугать меня или испытывать. Работы оказалось и в самом деле много.

— Плов готовым с неба не падает. А если потерпишь, и из незрелого плода может получиться халва.

— Я и не жалуюсь, отец. Теперь здесь никто не жалуется. Те, что были недовольны, давно ушли из колхоза.

— Наверно, из всех сорока трудностей осталась сейчас только одна?

— Да, отец, можно сказать, что главные трудности остались позади, но осталась еще одна, самая большая. К весне мы должны поднять двести двадцать гектаров новой земли.

— Сколько?— удивленно спросил Курбан-ата.

— Двести двадцать.

— Тапанов?

— Нет, отец, гектаров и каких! Большая часть — за-

росли, тугай. За зиму мы должны спилить и раскорчевать их.

Курбан-ата с сомнением покачал головой.

— Столько земли да еще корчевать заросли...

— На днях товарищ Ахмедов сам объехал все целинные земли и тугай. А потом записал в план и поставил на заседании в райкоме. Раз товарищ Ахмедов записал двести двадцать гектаров, значит, так и будет.

Сидыкджан умолк, засмотревшись на людей, которые заполнили весь широкий треугольник между рекой и каналом и очутились даже на самой плотине, где красные ворота горели на солнце, как раскаленные угли.

О начале праздничного гуляния возвестили звуки карнаев. Их длинные медные трубы разом взметнулись к небу, и четверо карнаистов, откинувшись назад, затрубили торжественный сбор. Низкий, протяжный рев карнаев заглушил все другие звуки и человеческие голоса. Когда карнаи умолкли, стали слышны высокие и дрожащие греды сурнаев.

К плотине устремилась молодежь. Девушки шли в ряд, взявшись за руки, в цветных шелковых платьях и ярких косынках. Курбан-ата, глядя на их веселые лица, опять вспомнил о племяннице, о Фарманкуле, о своей молодости, в которой он никогда не знал таких радостных дней, подумал об одинокой старости, лишенной сыновней и дочерней ласки, и сердце его сдавила давнишняя тоска.

Подошел Урмаджан с чайником в руках.

— Что это ты заставляешь скучать отца?— сказал он, присаживаясь подле Сидыкджана.

Сидыкджан встал и, предложив ему сесть повыше, сказал:

— Да нет, Урмаджан-ака, мы разговариваем. Вот рассказал отцу, какие работы мы должны выполнить зимой, до весны.

— А это верно, сынок?— спросил Курбан-ата.— Двести двадцать гектаров поднять да к тому же еще корчевать заросли... Трудное дело затеяли.

— Очень трудное,— подтвердил Урмаджан и подмигнул старику.— В эту зиму колхоз опять просеется через сито, как зерно в сортировочной машине. И я боюсь, как бы и ваш Сидыкджан не просеялся.

— Э, нет, Урмаджан-ака,— засмеялся Сидыкджан,— теперь я большой. Не просеюсь, если даже прорвется это

ваше сито. Теперь даже те, кто сбежал при постройке дамбы и канала, кружатся вокруг колхоза и ирригируются: хотят снова попасть в него и больше не высеваться через сито...

— Кто же это?— спросил, заинтересовавшись, Урманджан.

— Да вон хотя бы дядя Рузымата. Приезжал, три дня жил у него. Говорят, все расспрашивал о колхозе. Ну, Рузымат, кажется, здорово отчитал его.

Рузымат как раз проходил в это время внизу, в группе парней. Урманджан окликнул его, и он быстро взбежал на вершину холма.

— Слушаю вас, Урманджан-ака,— сказал он и почти-тельно поклонился старику.— С праздником, отец!

Курбан-ата несколько смутился: ведь и в самом деле сегодня большой праздник, а для Урманджана и Сидыджана двойной, а он не догадался поздравить их.

— Садись,— пригласил Урманджан Рузымата.— Говорят, приезжал твой дядя?

Рузымат, бросив недовольный взгляд на Сидыджана, коротко ответил:

— Да, приезжал.

— Ну, рассказывай. Что он говорил?

— Э-э, Урманджан-ака, что может сказать человек, который сидит в седле задом наперед? Едет в будущее, а глядит в прошлое... Все расспрашивал о колхозе: как, да что, да что будет? Услышал, что канал скоро откроют, говорит: «Там, где сеяли раньше пшеницу, теперь, наверно, хлопок будут разводить?»

— А чем он теперь занимается?

— Не спрашивал.

— Так что же ты ответил ему?

— Ответил так: «Эх, дядя, говорю, какой там хлопок? Хорошо, что вы вовремя ушли, а мы вот никак не можем удрать из этого колхоза». Смотрит на меня, выпучив глаза. А я ему опять: «Ничего, говорю, у нас не вышло с этим каналом. Копали, копали, сколько мозолей на руках набили, а вода не пошла. Теперь собираемся запрудить реку плотиной. Утопу — не помишайте лихом».

Урманджан не рассмеялся, как того ожидал Рузымат. Наоборот, он недовольно заметил:

— Ты это напрасно так говорил. Надо было рассказывать всю правду.

Улыбка моментально слетела с лица Рузымата.

— Так что же, — хмуро спросил он, — может, мне же ему поклониться? Приходите, мол, к нам, будем очень рады?

Урманджан не стал возражать. Он только подмигнул старику Курбану: каковы, мол, ребята!

— Да ведь он не знал, не понимал, сынок, — мягко вмешался в разговор Курбан-ата. — Не понимал, что дело у вас получится.

Но Рузымата уже трудно было убедить в том, что он не совсем прав.

— А чего он не знал, отец, чего не понимал? Вот когда пришел к нам Сидыкджан-ака, мы тоже еще не лакомились халвой. Так почему он все сразу узнал и все понял? Он еще не колхозник, а работает как ударник и лучше иных колхозников.

Подшли женщины, разостлали перед стариками скатерть, поставили блюда с горячим, дымящимся пловом. Рузымат поднялся, взял кувшин с водой и стал поливать всем на руки.

После обеда Урманджан выпил пиалу чая и, поручив Сидыкджану сопровождать гостей, заторопился на плотину. Махаум, заявив, что чувствует себя усталым, лег отдыхать, а Курбан-ата пошел с Рузыматом и Сидыкджаном на торжественный митинг.

Не успели они спуститься с холма, как снова загудели карнай и тысячи людей устремились к плотине. Все впадины и холмы по каналу сразу опустели, возле кустарников остались только ряды арб с привязанными к ним лошадьми и ослиами. Чем ближе подходили Сидыкджан и Курбан-ата к плотине, тем гуще становилась толпа. Люди, толкаясь, двигались вперед, но идти становилось все труднее. Рузымат затерялся где-то в толпе. Сидыкджан, оберегая Курбана-ата от толчков, подал ему руку и помог подняться на бугорок. Дальше они не пошли.

С бугорка было хорошо видно плотину и людей, стоявших на мостике, над красными воротами шлюза. Должно быть, там находились все гости из районного центра и товарищ Ахмедов, но Сидыкджан узнал только Бутабя и председателя райисполкома Мавлянбекова, — оба выделялись высоким ростом и грузными фигурами. Они стояли на самой середине плотины, над их головой на длинном шесте висел приспущенный красный флаг.

Когда рев карнаев оборвался, Мавляббеков взмахнул рукой, и издали донесся его голос:

— Товарищи!

Говорил председатель райисполкома не больше десяти минут. Несколько раз его речь прерывалась выкриками одобрения и шумными рукоплесканиями.

Но вот наступил самый торжественный момент. Мавляббеков нагнулся и под громкие аплодисменты и крики «ура» перерезал протянутую перед ним красную ленту. Один конец ленты взметнулся вверх и, мелькнув в воздухе, скрылся из глаз. А красный флаг взвился на самый верх высокого шеста, развернулся и запылескал на ветру. Торжественно и протяжно загудели карнаи, около плотины загремело «ура». Тысячи людей приветствовали поднятие флага над каналом радостными рукоплесканиями.

В это время на плотину вбежало несколько молодых колхозников. Один из них, более проворный, первым добежал до винта шлюза и, взявшись за рукоятку, начал быстро крутить колесо. Сидыкджан узнал его и вскрикнул:

— Так это же Рузымат! Вот счастливец!

Широко раскрылись ворота плотины. Из реки в канал хлынула бурлящим потоком вода.

Председатель райисполкома высоко поднял руку. В установившейся сразу тишине раздался его голос:

— Матери и отцы, братья и сестры, будьте здоровы, не уставайте! Не уставайте!

Несколько тысяч голосов одновременно ответило ему:

— Живите долго! Бывайте здоровы!

И долго еще над каналом раздавались радостные возгласы и гремели аплодисменты.

3

Когда представители района и одиннадцати колхозов сошли с плотины, бубны начали отбивать танцевальные ритмы. С обоих концов на плотину вышли, танцуя, по три девушки в белых одеждах. Так начался концерт артистов областного и районного театров. К артистам присоединились любители — певцы, танцоры, комики-острословы. Концерт продолжался до наступления темноты.

Вечером в разных местах на берегу капала вспыхнули огромные костры, поднятые на треногах в полтора раза выше человеческого роста. Пламя костров залило все вокруг желтовато-красным светом. Молодые и старые, мужчины и женщины — все расположились большими кругами вокруг костров, и начались танцы.

Урманджан нашел Сидыкджана и старика Курбана в кругу, где музыканты играли веселые мотивы. Оба они сидели в переднем ряду. Сидыкджан время от времени, ударяя ладонями по коленям, выкрикивал: «Дост! Живи долго!» Урманджан пробрался к ним через ряды сидящих и опустился на кошму рядом. Курбан-ата радовался, как маленький ребенок. Предполагая, что Урманджан еще не видел всего того, что происходило на площадке круга, он стал описывать и восхвалять танцоров и певцов.

После короткого перерыва музыканты заиграли танец «Уфар». На середину круга выбежала молодая женщина в шелковом полосатом халате, опоясанном платком с серовато-синими разводами, в расшитой цветными шелками чувстской тибетейке, надетой набскренъ. Одна из длинных черных кос ее была опущена на грудь, другая перекинута через плечо. Широко раскинув в обе стороны руки, подавшись грудью немного вперед и слегка покачивая головой, она легко пробежала по кругу один раз и другой и, приглашая на танец, остановилась перед юношей, одетым в такой же полосатый халат. Юноша прошелся танцующей походкой по кругу и вытащил из рядов пожилого человека с бородой, похожей на онахало. Бородач, подражая стыдливым девушкам, немного пожеманничал и вдруг пустился так лихо плясать, что все удивились. Потом он остановился перед Мавляпбековым, двигая плечами и головой. Со всех сторон раздались выкрики и смех. Грузный председатель райисполкома встал, заложив одну руку за спину, а другую изогнув перед собой, повел два-три раза плечами и засеменял перепелливыми шажками по кругу.

Все хлопали в такт музыке, постепенно ускоряя ритм танца. Мавляпбеков сделал несколько кругов и внезапно бросился к Урманджану, но тот ловко увернулся. Под руку председателю райисполкома попал Курбан-ата. Старик поднялся с места и, приложив руку к груди, что-то сказал, показывая на свою искалеченную ногу, но разгоряченный председатель, видно, ничего не расслышал.

Обхватив старика поперек туловища, он поднял его и, выйдя на середину круга, опустил на землю.

Курбан-ата на секунду опешил. Он ничего и никого не видел, кроме пылающего костра и председателя райисполкома, который стоял перед ним, подергивая плечами и головой, приглашал к танцу. И Курбан-ата, раскинув в обе стороны руки, осторожно ступая больной ногой, впервые в своей жизни пустился танцевать под замедленный ритм музыки.

И опять все дружно захлопали в ладоши, подбадривая нового танцора. На площадку вышли еще юноши и девушки и закружились, замелькали цветистым хороводом вокруг старика.

Только в полночь стало затихать праздничное веселье.

Люди начали расходиться. Заскрипели арбы, послышались окрики:

— Пошт, пошт!

Рузымат с группой парней поднял прикрепленную к доскам треногу с пылающим костром и опустил в канал. Эта затея сейчас же была подхвачена молодежью. По каналу поплыли костры, освещая оба берега красноватым светом, а вслед за ними двинулось множество людей.

Урманджан подвел старика Курбана к арбе, в которой уже сидел Махзум, съжившись и дрожа от холода. В арбу забралось еще шесть пожилых колхозников. Сидынджан сел править конем. Перед тем как тронуться в путь, Урманджан шепнул ему на ухо: «Гостей отвези к нам, у тетушки Анаират не хватит одеял. А я скоро подъеду верхом».

Степь быстро пустела.

Над плотиной поднялась огромная луна, и в ее серебристом сиянии величественно трепетало красное знамя.

По каналу медленно плыли огни. Вслед за ними по обоим берегам шли шумные толпы молодежи. Когда арба, на которой ехал Курбан-ата, въехала на новый мост, перекинутый через канал, все увидели множество маленьких огоньков, которые тоже плыли по воде между большими кострами.

— Это уж затея ребятишек, — заметил кто-то.

Огни на канале словно перемигивались с яркими звездами, сиявшими по всему небосклону.

Пошт! — Берегись!

Урманджану пришлось потратить немало времени, чтобы разместить на почь всех гостей из соседних колхозов. Домой он пришел уже под утро. Сидыкджап, не дождавшись его, ушел к тетушке Аназират.

Когда Урманджан вошел в комнату, Махзум уже храпел, а Курбан-ата лежал на боку, облокотившись на подушку и подперев ладонью седую голову. Старику не спалось — он о чем-то думал.

— А вы, отец, оказывается, мастер плясать! — улыбаясь, сказал Урманджан.

Курбан-ата глубоко вздохнул.

— И то правда, сынок, никогда не плясал, а тут... Да я ли один? Видел своих капсанчи? Оказывается, эти люди тоже умеют веселиться. Как видно, и им к лицу веселье и смех!

— Эти люди умеют и работать и веселиться. И все хорошее им к лицу, отец. Только вот бедность да такие дома, в которых они живут, им совсем не к лицу. Хотите, я вам покажу новый кишлак капсанчей?

— А ну покажи, если сможешь.

Урманджан достал из ниши несколько свернутых в трубочку чертежей и развернул один из них на столике перед тахтой. Это был план нового кишлака колхоза «Кочичинар». Курбан-ата никогда не видел таких планов, поэтому, как он ни разглядывал многочисленные квадраты, линии и круги, разноцветные пятна, какие-то знаки, ничего не мог понять. Урманджан начал объяснять. Зелено-ватопестрый овальный круг, нарисованный посередине листа, обозначал парк культуры и отдыха в центре кишлака, а прямая синяя полоска, пересекавшая его из конца в конец, изображала открытый сегодня канал. Квадраты, расположенные полукругом перед парком с одной и с другой стороны, указывали места будущих зданий правления колхоза, клуба, школы, библиотеки-читальни и других зданий общественного назначения. От верхнего и нижнего полукруга веером расходились в разные стороны двойные красные линии улиц нового кишлака. Развернув другой чертеж, Урманджан показал эскиз одной из таких улиц. Прямая и ровная дорога уходила за голубой горизонт. По обеим сторонам дороги, вдоль арыков, зеле-

ли молодые деревья. За ними белели домики колхозников, окруженные цветущими садами.

Курбан-ата долго, не отрывая глаз, смотрел на эскиз, потом сказал:

— Суждено ли мне увидеть все это, сынок? Если бы удалось хоть сторожем поработать в этих садах, поливать их, тогда у меня не осталось бы неисполненных желаний. Эх, жаль, — слишком рано я родился на свет... А что будет в этих местах лет через двадцать, пятьдесят? А, сынок? Какие будут эти места через пятьдесят лет?

Урмаджан улыбнулся.

— Что будет тут через десять, двадцать лет — это зависит от нас самих, от наших вкусов и желаний. А вот что будет через пятьдесят лет, трудно сказать. Это уже будет зависеть от вкусов и желаний тех ребят, которые родятся в этих домах и будут расти в новом кишлаке. Тут, пожалуй, наш аршин окажется старым. Капсанчи когда-то сидели возле могучей реки и с тоской ждали, когда упадет с небес капля влаги. Сегодня мы открыли канал, и нам уже смешными кажутся эти старые капсанчи. А нашим потомкам, наверно, будет казаться смешным и то, что мы этот канал считали великим делом. «Вот, — скажут они, — большое дело сделали: построили канал, который не мог оросить поля хотя бы одного района. Мы такие каналы построим, которые оросят поля всей республики!» Времена меняются, меняются и люди. Я рад, что вам по душе пришлись планы нашего строительства, но было бы еще лучше, если бы вы тоже приняли участие в строительстве нового кишлака.

— Со всей бы душой, только... — нерешительно проговорил Курбан-ата, показывая свою изувеченную правую руку, — что можно сделать с такой рукой?

— Говорят, когда нет букета цветов, хорош и пучок зеленого луку. Захотите строить новый кишлак, найдется работа и для вас, — сказал Урмаджан и спросил: — Придете?

— Приду! — твердо ответил Курбан-ата.

Гости двинулись в обратный путь на рассвете. Сидыкджан проводил их до берега канала. С моста, перекинутого через канал возле Бакакуруллака, виднелось белое двухэтажное здание. Заметив, что Курбан-ата засмотрелся на него, Сидыкджан сказал:

— Это школа.

— Школа!— повторил Курбап-ата.— Школа!
Сидыкджан горячо распрощался с ним и пошел обратно.

Курбап-ата довольно долго шел молча, задумчиво глядя вперед. Молчание нарушил Махзум.

— Курбап-бай,— сказал он,— мы пропустили время намаза. Нехорошо.

— У капсанчей пет мечети,— отозвался Курбап-ата.

— Почему?

— Потому что мало людей, совершающих намаз.

— Была бы мечеть, нашлись бы и молящиеся!

Курбап-ата разозлился.

— Глупо вы рассуждаете, Махзум, очень глупо! Мечеть сделала людей молящимися или молящиеся построили мечеть?

Махзум, вытянув шею, словно испуганная курица, посмотрел маленькими круглыми глазками на своего спутника и, замедлив шаги, отстал.

А Курбап-ата, не обращая на него внимания, положил руку на поясницу и, прихрамывая, зашагал вперед. Он смотрел на зеленеющие вдали деревья, и перед глазами его вставала красочная картина нового кишлака, его улицы, сады и радостные лица людей.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Прошла осень, быстро надвигалась зима. По небу ползли густые пухлые облака, в сером воздухе кружились снежинки.

В доме тетушки Анзират было тепло и довольно уютно. Сидыкджан, навалившись грудью на сандал, упражнялся в письме, а Канизяк сидела напротив него и читала книгу. Сама тетушка Анзират, медленно глотая чай из пиалы, смотрела в окно и следила за Хашимджаном, бегавшим по двору. Заметив, что Хашимджан старается поймать на язык снежинку, она, засмеявшись, понерхнулась чаем и сильно смутилась. Затем, вытирая губы платком, взглянула на Сидыкджана.

— Довольно уж тебе, сынок..Выпил бы чаю!

Канизяк, подняв глаза от книги, тоже взглянула на него и улыбнулась насмешливо.

— Не мешайте ему, пусть готовит уроки. Ведь сегодня ему придется выступать на собрании. А вдруг кто-нибудь спросит насчет уроков? Урманджан-ака обязательно спросит!

— Да ведь я и забыла, — озабоченно сказала тетушка Апзират. — Сегодня, значит, проходишь через собрание? Тогда уж пиши, покрупнее пиши... Ладно, ладно, больше не буду говорить, — спохватилась она, заметив, что Сидыкджан посадил кляксу и недовольно поморщился, и обратилась к улыбающейся Канизяк: — Я ведь это к тому, что он вот уже три дня пишет, не поднимая головы.

Не прошло и минуты, как она, ставя перед Сидыкджаном пиалу с чаем, снова заговорила:

— Пиши, пиши, сынок... А бояться собрания не надо, мы все так-то вот проходили через собрание. Тебя все хорошо знают, пройдешь сразу... Ну ладно, ладно, не буду говорить, пиши уж... Кто же будет препятствовать тебе? Спросят два-три слова и все!

Сидыкджан отложил наконец ручку и взялся за пиалу.

— Что ж, — усмехнувшись, сказал он, — пусть спрашивают, я сумею ответить. Если же не примут, скажут, что я еще не достоин быть членом колхоза, значит, падо мне еще больше работать, чтобы стать достойным. Такую речь я и на собрании поведу. Ну, если и собьюсь немного, меня там поправят.

— Это я потому говорю, сынок, — мягко заметила тетушка Апзират, — что на сердце у тебя, кажется, не совсем спокойно.

— Верно, — согласился Сидыкджан, — не совсем спокойно. Но это вовсе не оттого, что я боюсь чего-нибудь.

— А отчего же тогда?

— Не могу сказать, — улыбнулся Сидыкджан. — Вот, кажется, вертится на языке, а сказать не могу... — Помолчав немного, он взглянул на Канизяк и продолжал: — Никто до сих пор не смотрел мне в лицо, не спрашивал, что я за человек, зачем родился на свет, что собираюсь делать, о чем мечтаю. Жена, которая клала свою голову на подушку рядом со мной, и та не прислушивалась к моим словам, и не было ей до меня никакого дела. А потому и любви у нас настоящей не было. Да, как подумаю, оказывается, у меня и не было никаких желаний, и не о чем я не мечтал. А вот теперь не один, не десять чело-

век, а больше сотни людей будут смотреть мне в лицо, будут спрашивать, кто я такой, что я делаю и чего хочу. Как же не волноваться? Когда я ехал сюда, у меня было единственное желание — быть сытым, одетым, иметь в кармане немного денег, которые можно расходовать без попреков. А потом у меня, бывшего батрака, которого и в своей-то семье за человека не считали, появилась мечта!.. Ну, о ней я пока ничего говорить не буду. Скажу только, что желание иметь новый халат или пачку хрустящих бумажек кажется мне теперь очень мелким, не стоящим внимания. А вот само собрание и то, что столько людей будут думать и говорить обо мне, только обо мне и моих делах... вот и радуется и... как бы это сказать...

Тетушка Анзират, видимо, не совсем поняла, что хотел сказать Сидыкджан, и, подавляя зевок, поднялась с места.

— Ладно уж, чего там, сынок? Все прошли через это. А тревожить себя понапрасну не надо, — сказала она и вышла во двор посмотреть за шаловливым внучком.

Сидыкджан, словно жалуясь на то, что тетушка Анзират не поняла его, посмотрел на Канизяк. Та закрыла книгу и серьезно проговорила:

— Да, Сидыкджан-ака, вы правы. Иногда человек так меняется, что и сам не узнает себя.

— Как это так? — спросил Сидыкджан.

— Да так... Когда я приехала сюда, у меня тоже не было никаких надежд и никаких особенных желаний. Мечтала я тоже только о куске хлеба. А вот теперь так же, как и вы, мечтаю о многом. И совсем не узнаю себя.

— Вот это я и хотел сказать! — обрадовался Сидыкджан и, помолчав, подумав, заговорил, продолжая какую-то свою мысль: — Рассказывают, что после того, как бог сотворил животных и человека, он решил раздать всем сроки жизни. Первым будто явился к нему осел. Бог спрашивает его: «Ну, сколько же лет жизни отпустить тебе? Сорок лет хватит?» Осел долго думал, потом спросил: «А как я проживу эти сорок лет?» Усмехнулся бог, отвечает: «Известно, как. Будут люди на тебе грузы возить и сами ездить, тыкать палкой в загорбок». Подумал еще осел и сказал: «Если так, хватит мне и половины срока». Ну, отпустил ему бог двадцать лет жизни, а оставшиеся отложил себе в торбу. Прибежала собака. Бог и ее спрашивает: «Сколько лет жизни просишь? Сорока хватит?»

Собака умильно посмотрела на бога и тоже спросила: «А как мне придется жить? Будут меня кормить?» Бог ответил ей: «Жить будешь у порога людей; бросят кость — будешь есть, не бросят — самой придется искать себе пропитание». Собака тоже попросила только двадцать лет жизни, а остальные вернула богу. За собакой пришел человек. Говорит ему бог, этак с хитрецей: «Тебе, я думаю, сорока лет жизни вполне хватит?» Человек подумал немного, спросил: «А что меня ожидает?» — «Женишься, будешь наслаждаться жизнью, весь мир будет принадлежать тебе!» — ответил ему бог. Человек совсем растерялся от радости. «Если так, говорит, то дай мне, о боже, восемьдесят лет жизни. На меньший срок никак не согласен!» Ну что тут делать. Отпустил бог человеку его сорок лет да еще прибавил те, что остались от осла и собаки. И стал жить человек сорок лет своей жизнью и сорок лет ослиной и собачьей... А у меня, — заключил Сидыкджан свой рассказ, — получилось так: начал я собачьей жизнью — ходил по чужим порогам и ждал, когда мне бросят кусок хлеба, а потом, как осел, послал на себе чужой груз и его хозяина. И вот только теперь я начинаю жить своей собственной человеческой жизнью.

Канизьяк рассмеялась.

— Эта легенда как раз про батраков и капсаңчей. Многие из них так и не дождались человеческой жизни. А вы расскажите об этом на собрании. Посмеются люди. Расскажите?

— Расскажу.

— Не сумеете. Когда человек выступает на собрании впервые, он всегда теряется.

— Нет, не растеряюсь.

— А ну, как вы начнете?

— Как же еще начинать? Встану вот так... — Сидыкджан поднялся. — Вот так встану и скажу: «Товарищи!..»

В окно постучали, и громкий голос прервал Сидыкджана:

— На собрание!

2

Вереницы людей тянулись из Кугазара, Бакакуруллака и Кошчинара к новому зданию красной чайханы, построенному на берегу канала по плану нового кишла-

ка. Парк еще не был разбит, вокруг расстилались далекие заросли, и ночью, боясь волков, люди не решались ходить сюда. Внутренняя отделка здания еще не была закончена. Поэтому чайхану так и не перевели в это зимнее помещение, а зал пока использовался для общих колхозных собраний и клубных вечеров.

Для того чтобы весной было легче корчевать деревья, в заросли была пущена вода. Теперь вода замерзла, земля покрылась ледяной коркой, ходить по ней было трудно.

Когда Сидыкджан и Канизяк вошли в зал, он был уже полон людей. Канизяк тотчас же окликнули, и она отошла к группе молодых женщин и девушек. Не успел Сидыкджан опуститься на скамью, как кто-то толкнул его в спину. Оглянувшись, он увидел Тулягана. Тот прижался жесткой, как колючка, бородой к самому его уху и зашептал: «Оказывается, приятель, сегодня для нас обоих праздник!» Сидыкджан, хотя и не понял, что он хотел сказать, кивнул головой и улыбнулся.

За столом президиума уже сидели члены правления колхоза и о чем-то тихо переговаривались между собой. Но вот агроном Ибрагимов встал, объявил общее собрание колхозников открытым и огласил повестку дня. Первым вопросом стоял доклад председателя правления о хозяйственном и строительном плане колхоза на будущий год и об использовании долгосрочной государственной ссуды, а вторым — прием новых членов. Когда Ибрагимов спросил, будут ли другие предложения, Закир-ата сказал, что нужно внести в повестку вопрос о школе. Большинство его поддержало. После этого Ибрагимов предоставил слово председателю правления.

Сидыкджану показалось, что Бутабай начал свой доклад со середины, даже пропустив обычное обращение: «Товарищи!» Председатель правления так сразу и заговорил:

— В этом году мы должны превратить «Кошчинар» в крупный хлопководческий колхоз, а сами выйти из мышиных норок на белый свет...

Затем он сказал о плане осуществления этих двух задач. Это был план первого года колхозной пятилетки. Им предусматривалось прежде всего расширение посевной площади под хлопчатник и снижение себестоимости хлопка путем широкого применения механизации и агротехники. В плане строительства намечалось сооружение

хозяйственно-необходимых зданий и первых жилых домов нового кишлака. Свой доклад Бутабай закончил призывом трудиться еще более самоотверженно и выполнить поставленные задачи. Собрание ответило на призыв громкими аплодисментами.

Начались прения. Выступавшие критиковали отдельные недостатки в работе правления, но одобрительно отзывались о хлопководческом и хозяйственно-строительном плане, и резолюция с одобрением этого плана была принята единогласно.

По вопросу о школе слово получил Закир-ата.

— Наше правление, — сказал он, — построило очень хорошее здание для школы, но... фарфоровое блюдо хорошо, да ничего не стоит, если нет хорошего плова. Я думаю, что учитель Рахматулла Абиди для такой хорошей школы не годится.

— Почему не годится? — спросил Урманджап. — Знаний мало?

Закир-ата помолчал, не зная, как ответить, но быстро нашелся и продолжал свою речь:

— Нет, знания-то у него есть, да не такие, какие нужны нашим детям. По-моему, надо просить район, чтобы прислали другого учителя.

— Почему у вас сложилось такое мнение? — опять спросил Урманджап. — Какие причипы?

— Я говорю то, что думаю, — ответил Закир-ата. — Это мое мнение.

В зале послышался шум. Ибрагимов позвонил в колокольчик, встал.

— Закир-ата, — обратился он к старику, — мы не сомневаемся, что вы честно высказываете здесь свое мнение, но мы должны знать, на чем оно основано. Почему вы думаете, что учитель Рахматулла Абиди не на месте?

Закир-ата снял с головы тюбетейку и, положив ее на выступ дощатой трибуны, почесывая затылок, задумался. Из зала послышался насмешливый голос:

— Думать раньше надо было, а потом уж и вылезать на трибуну! Чесать за ухом можно и в зале!..

Вслед за тем кто-то крикнул:

— Учитель Рахматулла назначен сюда из области!

— А что из того, что из области? — заговорил вдруг Закир-ата, вскинув голову. — Недаром говорится: что не заметит старший, заметит младший, что не заметит

младший, заметит старший, а если они оба вместе будут глядеть, то ничего не пропустят...

Громкие аплодисменты на минуту прервали речь старика, и он, ободренный этими аплодисментами, заговорил решительнее:

— Почему, спрашиваете, учитель Рахматулла не может обучать маленьких? А вот почему. Если он, к примеру, скажет мне что-нибудь неправильное и меня возьмет сомнение, я могу спросить других и узнать правду. Вот есть у нас тут и Урмаджан и Рауфджан... А что, если это неправильное будет сказано детинкам? Ребенок верит слову учителя, не рассуждает... Ладно уж, буду говорить откровенно. Как-то мы со старухой поссорились. Я ей одно слово, она мне — два...

— А ты бы, отец, наоборот! — съязвил кто-то.

— Ну и пошло у нас, и пошло. Узнал об этом учитель Рахматулла, вмешался в наш спор и примирил нас со старухой. За это ему можно только спасибо сказать. Потому что мы со старухой поссориться-то поссорились, а помириться никак не можем...

По залу опять пробежало оживление. Закир-ата продолжал:

— После этого случая учитель как-то зазвал меня к себе домой. Посидели, поговорили. А когда опять зашла речь о ссоре со старухой, Рахматулла и говорит: «Да, вот что значит — дать женщине свободу, Ты ей слово — она тебе два!» Это мне не понравилось. Потом заговорили о том, что такое свобода. И тут тоже учитель говорил довольно странно. Послушал я его рассуждения о свободе и подумал, что же получилось бы из моей бригады, если бы ее вот так поучали? По словам Рахматуллы, хочешь — выходи на работу, не хочешь — не выходи, можешь махать кетменем, а не нравится — мух шапкой гоняй. Потому, дескать, что свобода всем и во всем. Свобода — значит, всякому лентяю на боку лежать и чтобы другие за него работали. Оказывается, учитель Рахматулла хотя и имеет знания, но не знает, что такое свобода? Да и откуда знать ему? Откуда знать курице, которая сидит в своем курятнике и жиреет, полезно или вредно летать? Так и наш учитель Рахматулла. В те времена, когда на нашей шес сидели князья, ишапы и бан, он, должно быть, сидел в каком-нибудь княжеском курятнике и набирал жиру!..

Громкий смех, возгласы и рукоплескания покрыли эти слова, а Закир-ата не спеша сошел с трибуны и направился на свое место. Ибрагимов призвал собрание к порядку и, когда установилась тишина, спросил:

— Кто желает еще высказаться?

Сразу поднялось несколько рук. Рузымат, сидевший в первом ряду, вышел на трибуну.

— Вопрос ясеи, товарищи...— как всегда заговорил он решительным тоном.— Закир-ата удивляется, почему на месте учителя сидит такой отсталый человек, а об этом надо спросить нашего председателя. Может быть, на это есть много причин! Я хочу рассказать об одной из этих причин. Однажды я вез со станции фанеру для школы. Наступили сумерки, только что взошла луна. Проезжаю через мост, слышу чей-то голос: «Ай-яй-яй, ли в одном колхозе так красиво не восходит луна!» Смотрю: учитель Рахматулла. «Да, домулла, говорю, в других колхозах, пожалуй, такой красивой луны не увидишь». А он в ответ: «Увидишь, если колхозом управляет такой председатель, как Бутабай-ака...» Так говорит он за спиной председателя. Интересно, что же он скажет ему в лицо? Есть же лизоблюды на свете, а этот учитель Рахматулла готов лизать подметки каушей у товарища Бутабая!

Все громко захохотали, а Бутабай, густо покраснев, только покачал головой.

— Закир-ата сделал правильное предложение,— продолжал Рузымат.— Нам нужен учитель, который хорошо, по-советски обучал бы детей, да и взрослых мог бы кое-чему полезному научить. Вот такой, как товарищ Ибрагимов. Он у нас председатель совета урожайности и агроном, дел у него хватает, а он еще и в вечерней школе преподает. Он для всех нас стал учителем. Какое бы событие ни случилось в мире, он все объяснит. Хорошо бы иметь в нашем кишлаке двух таких учителей! Я присоединяюсь к предложению просить район освободить нашу школу от Рахматуллы Абиди.

Не успел Рузымат сесть на свое место, как на трибуну, даже не дожидаясь предоставления ему слова, выскочил Абдусамад-кары и заявил:

— Этот вопрос поставлен очень своевременно.

— Нет, поставлен с большим опозданием!— крикнул кто-то из зала.

— Правильно, можно сказать, даже с опозданием, — тотчас же согласился кары. — Обвинять в этом нашего председателя, с одной стороны, правильно, а с другой — неправильно. Один из тех, что пострадал из-за учителя Рахматуллы, это я сам. Почему? Я по-старому пемпожко грамотный, но по-новому еще недостаточно научился. Когда наш председатель крепко отругал меня и раскрыл мне глаза... вай, мне даже страшно стало! Но я от всего сердца приношу ему благодарность... Так вот, как только раскрылись мои глаза, я со всем усердием принялся учиться, чтобы овладеть новой грамотой. Я познакомился с учителем Рахматуллой, ходил к нему домой, приглашал к себе. И что же? Вы думаете, он научил меня? Нет. Он еще больше затуманил мне голову. Пожалуй, я даже поглупел от его ученья, хотя мне стыдно сознаться в этом. Верно сказал здесь товарищ Рузымат, что у Рахматуллы мало знаний. Я должен добавить, что у него нет почти никаких знаний. С другой стороны, как говорил товарищ Рузымат, дело тут, может быть, и в другом. Я вполне присоединяюсь к тому, что здесь говорили Закирата и товарищ Рузымат... Они хорошо говорили...

— Да и вы, кары, поете не плохо! — сострил кто-то из передних рядов, и в зале рассмеялись.

— Теперь, граждане, — продолжал кары, — я хочу пемпожко покритиковать Закира... Впрочем, покритикую сначала себя, а потом его. Почему я хочу сперва покритиковать себя? А потому, что Рахматулла, — чтобы ему сгореть в огне! — и со мной говорил о свободе. И я сделал такую же ошибку, как и почтенный Закирата, — не сообщил сразу нашим уважаемым руководителям о вредных словах учителя. Когда Рахматулла объяснил по-своему, что такое свобода, я готов был схватить его за горло. И надо было схватить! Но он, видя, что я рассердился, сказал: «Эх, кары, я за сорок девять лет ни одного умного слова не вымолвил, а теперь сразу состарился, вот и несу чепуху». Я рассмеялся, поверив ему по своей простоте. В этом я виноват перед вами, граждане. Ну, меня он сбил с толку этой своей шуткой. А вот почему Закирата, такой умный, сообразительный старик, сразу не схватил его за холку? Почему он молчал вот до этого собрания? Но довольно. Я не хочу обвинять других, чтобы оправдывать себя. Я тоже виноват. Надо, чтобы наши уважаемые руководители Урманджан-ака, Бутабай-

ака, Ибрагимов-ака и все члены правления обратили на школу самое серьезное внимание и приняли соответствующие меры. Я тоже за то, чтобы Рахматуллу Абиди выпнуть из школы!

Кары сел на свое место. На вопрос Ибрагимова, не желает ли еще кто выступить, никто больше не поднял руки. Собрание так же единогласно постановило просить районный отдел народного образования прислать нового учителя.

Ибрагимов, переходя к вопросу о приеме в колхоз новых членов, предоставил слово секретарю правления Зиядахон и улыбнулся, взглянув на Сидыкджана.

У Сидыкджана сердце дрогнуло от волнения.

Зиядахон прочитала решение правления о приеме в члены колхоза Тулягана Сулейманова и Сидыкджана Сахибджанова.

Туляган вдоль стены пробрался к самой сцене и обратился к председателю правления:

— Ну, Бутабай, мне нечего скрывать перед тобой... Прошлому нет возврата...

Бутабай усмехнулся, двумя пальцами погладил густые усы.

— Какому прошлому?

— Чего уж поминать? Я сделал большую ошибку, когда вышел из колхоза, но и ты был не прав, когда говорил, что заставишь меня курицей кудахтать... Вот видишь?

— А что ты мне говоришь? Говори собранию!

Туляган повернулся лицом в зал и заговорил, волнуясь, отрывисто:

— В то время лошадь да бык... да несознательность, оказывается, стали путями на моих ногах... Мне нечего таить, все было на ваших глазах... А потом работал на канале, хотя никто и не заставлял меня выходить на работу... Вот пусть скажет Урманджан-ака... Помогал мастерам, которые строили конюшни и коровники, и ни у кого не просил ни копейки и не буду просить... Весной начнется раскорчевка зарослей, большое строительство. Будем живы-здоровы, увидите меня на работе... Учусь, уже исписал девять тетрадей...

Того, что говорил дальше Туляган, Сидыкджан не слышал. К нему подошла Канизьяк и спросила:

— Расскажите? Зиядахон-апа тоже хочет, чтобы вы рассказали...

Сидыкджап посмотрел на Зиядахон. Та стояла и, улыбаясь, смотрела на него. Не слышал толком Сидыкджан и то, о чем говорил Урманджан. Кажется, он внес предложение об утверждении решения правления.

В зале раздались голоса:

— Правильно! Приять!

— Сидыкджап Сахибджанов! — вызвал Ибрагимов. — А ну, покажитесь!

Сидыкджан вздрогнул, услышав свое имя, и встал. С разных сторон послышались голоса:

— Видали! Знаем его!

— Говорите, — кивнул Ибрагимов Сидыкджану.

Сидыкджан растерянно обвел глазами зал, переполненный колхозниками.

— Что я могу сказать?

Канизяк тихою подтолкнула его сзади:

— Да говорите же: «Бог раздавал животным сроки жизни...»

Но Сидыкджан ничего не слышал и не видел.

— Что сказать?.. — повторил он и медленно, словно обдумывая каждое слово, продолжал: — Раньше, когда я слышал о колхозе, я думал, что люди там работают сообща, а потом делят между собой урожай. Что это и есть колхоз. Нет, оказывается, колхоз — совсем другое...

— А что же? — спросил Урманджан.

— Оказывается, в колхозе человек узнает свою цену. И человек должен ценить колхоз... Я в жизни никогда не говорил на собраниях, уж извините...

Видя, что Сидыкджап больше не находит слов, Ибрагимов кивком головы дал ему понять, что он может сесть.

Решение правления было утверждено.

Когда Ибрагимов объявил о закрытии собрания, друзья Сидыкджана стали громко звать его, чтобы поздравить со вступлением в колхоз. Но его нигде не было. Даже Канизяк не заметила, когда он выскользнул из зала.

3

Учитель Рахматулла Абиди, о котором так много говорилось на собрании, был родом из Коканда и одним из тех байских сынков, которые в свое время, читая газету кокандских автономистов, провозглашали: «В ханском дворце осталось всего шестнадцать большевиков. Уничто-

жим их, и власть будет наша!» Но буря народной революции смела, как осенние листья, все надежды вдохновителей байской контрреволюции. Рахматулла, в страхе перед этой бурей, стал искать, куда бы ему спрятаться.

Более умные и ловкие его друзья уже давно попрятались, замаскировались. Они и его научили. Еще до того, как рассеялся дым пожарищ, по всему краю начали быстро развертываться различные культурно-просветительные учреждения. Школы, интернаты, вечерние курсы для взрослых нуждались в грамотных людях. Их было мало, очень мало в сравнении с проснувшейся в народе огромной тягой к грамотности и просвещению. Рахматулле Абиди удалось устроиться преподавателем и воспитателем в одной школе типа интерната.

Он принялся воспитывать детей в духе национализма. Но вскоре его разоблачили, и он вынужден был бежать отсюда. Так, скитаясь из города в город, с места на место, он встретил одного из воспитанников интерната — Джавдата Наима, который работал теперь секретарем облисполкома. Джавдат Наим приветливо встретил своего воспитателя, но Рахматулла остался не очень доволен разговором с ним. На тонких губах Джавдата все время скользила улыбка, она словно говорила Рахматулле: «Зачем тебе знать о наших делах? Кто не сумел быть искусным гребцом — тот только лишний груз в нашей не очень-то прочной лодке».

Наставник в течение двадцати дней изучал у своего воспитанника новый алфавит, а затем отправился учителем в Ходжа-кишлак. Провожая его, Джавдат сказал:

— Действуйте осторожно! Помните: чем быть волком, лучше стать мухой, потому что ее нельзя поймать в капкан.

И Рахматулла старался не «обнаруживать себя». В Ходжа-кишлаке он прикидывался больным, немощным и не особенно лез на глаза людям.

Прошли месяцы. К новому учителю первое время еще проявляли в кишлаке интерес, потом на него перестали обращать внимание. Он почти не выходил на улицу, а если иногда заходил в красную чайхану, то каждому встречному жаловался на свои болезни, на то, что уж немного осталось ему жить на свете. И в самом деле: кто видел, как Рахматулла, с обвязанной шеей, еле передвигая ноги,

входит в свою каморку, тот не сомневался, что скоро его уже вынесут оттуда в гробу.

Между тем в распространении разных слухов, пугающих население, в отборе людей, которые должны были служить планам Джавдата Наима и тех, кто стоял за ним, Рахматулла Абиди проявлял неутомимую энергию. Но недалекий и недостаточно осведомленный, он действовал вслепую, не понимая сущности происходящих событий, не зная их взаимосвязи, причин. Во время кулацкого бунта, вспыхнувшего в Ходжа-кишлаке, Рахматулле показалось, будто судьба Советской власти решается именно там, и он сделал несколько необдуманных, слишком рискованных заявлений, которые чуть не привели его к новой катастрофе. Его спас все тот же Джавдат Наим. Он немедленно отозвал Рахматуллу в городской отдел народного образования.

Некоторое время Рахматулла работал в городском отделе, затем перешел на более спокойное место, в музей, но и тут не покидал его страх перед возможным разоблачением. Пораздумав над своим положением, он вскоре пришел к мысли, что в городе ему уже нельзя работать, а лучше всего уехать опять куда-нибудь в кишлак, только подальше, в глухое место. Эта мысль пришла по вкусу Джавдату Наиму, и он решил запрятать Рахматуллу поглубже.

Вот тогда-то и отправился Рахматулла Абиди в далекий кишлак капсанчей. Джавдат Наим, провожая его, сказал:

— Меч ваш сломан, щит пробит, домулла, и, ничего не поделаешь, придется лезть в мышпину юру. Но мне помнится одно сравнение, сделанное вами, когда я был еще вашим воспитанником: «Мышь — тварь беспомощная, однако из истории известно, что мыши прогрызли Ноев ковчег». Каждый колхоз — это ковчег, судно, домулла. Но судно железное! А железо нельзя перегрызть зубами, его надо разесть ржавчиной. В Капсанчи живет Абдусамад-кары, мой свояк. Будете действовать вместе с ним. Передайте ему привет от меня. Пусть заедет ко мне в конце этого месяца...

В колхозе «Кошчинар» с большой радостью встретили прибывшего из областного центра «старого, опытного учителя». Бутабай тотчас же нашел ему хорошую квартиру, и сделал все, чтобы учитель ни в чем не нуждался.

Для Абдусамада-кары прибытие Рахматуллы открыло более широкие возможности. Он сумел их использовать. Однако то, что произошло на собрании, привело кары в полное смятение. После разоблачения Рахматуллы карающая рука могла протянуться и к самому Джавдату Наиму. Удастся ли спастись от этой руки, подсунув ей подол Рахматуллы?

Вернувшись с собрания домой, Абдусамад-кары подождал до полуночи, а затем направился к учителю. Когда Рахматулла услышал от него, что говорилось на собрании, он опустил голову и задумался.

— Уезжайте, домумлла,— сказал кары,— немедленно уезжайте!

Но Рахматулла вдруг злобно, как затравленный зверь, посмотрел на кары.

— Вы хотите, чтобы я бежал? Нет! Мне уже больше некуда идти!

А на рассвете Рахматуллу Абиди нашли на обледенелой дороге возле школы со сломанной рукой и разбитой головой. В бесчувственном состоянии его отвезли в районную больницу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

В середине февраля наступило потепление, и снег, покрывавший толстым слоем поля и луга, начал быстро таять. Появилось много проталин. Над землей, словно обрызганной кислым молоком, поднимался легкий парок. На ветвях сразу побуревших зарослей громко каркали вороны, чуя приближение весны.

С каждым днем становилось теплее.

Почва покрылась талой водой, стала рыхлой, и кошчи-нарцы заторопились начать работы.

Это произошло на полмесяца раньше намеченного срока. Для раскорчевки зарослей были созданы специальные бригады, каждая из них получила гусеничный трактор. На помощь бригадам вышло все население кишлака — молодые и старые, женщины и мужчины. В зарослях загудели тракторы, зажужжали пилы, застучали топоры. Тракторы вырывали с корнями кусты боярышника, ивы,

мелкие деревья дикой джиды и туранги, выдергивали обвязанные цепью или спиленных крупных деревьев. Люди разделявали деревья и кустарники на дрова, на строительные материалы, нагружали ими арбы, и не успели колхозники оглянуться, как на площадке каждой махалли образовались горы леса.

В один из этих дней в бригаду деда Закира явилась молодая женщина с ребенком, в красной парандже, но без чиммата, в атласном платье и лаковых ичигах с каушами. Она спросила Сидыкджана. Он в это время пилил деревья на другой стороне еще не раскорчеванных зарослей. К женщине вышел Абдусамад-кары и заговорил с нею.

Канизяк, поняв из разговора, что к Сидыкджану пришла жена, побежала предупредить его. Она думала, что Сидыкджан обрадуется, но тот, выслушав ее, нахмурил брови. Ему вспомнилось, как он, прижав к груди маленького сынишку, уходил из дома Зуннуна-ходжи, как жена догнала его и отняла ребенка, как заплакал ребенок. Может быть, этот плач, вновь прозвучавший в его ушах, смягчил его сердце.

— Ну, Канизякхон,— сказал он,— посоветуйте, что мне делать?

— Как это «что делать»?— улыбнулась Канизяк.— Ваша жена с ребенком сама пришла к вам. Надо поговорить с ней. Покорную голову и меч не сечет.

— Я не об этом... Куда я их поведу?

— Поведете к себе домой.

— Это неподходящее место, Канизякхон.

— Почему же? Ведь у вас отдельная комната.

— Не то...— поморщился Сидыкджан.— Я хотел спросить, нельзя ли найти дом получше.

— А чем плох дом тетюшки Анзират?— спросила Канизяк и вдруг рассердилась.— Вот еще... Что же, ваша жена с неба свалилась? Не понимает, что хороших домов нам никто еще не настроил? Мы тоже люди, однако живем. Ничего с ней не случится, проспит одну ночь в доме, где люди весь век живут. Подумаешь! Если она такая, то не надо было ей приезжать сюда.

Канизяк даже падула губы и отвернулась. Она хотела еще что-то сказать, но искоса взглянула на Сидыкджана и промолчала.

— Вы не поняли меня, Канизякхон,— сказал Сидыкджан.— От вас я ничего не хочу скрывать. Так вот, если

говорить правду, я не хочу, чтобы она, увидев мое жилище, сказала: «И ради этого вы бросили дом, ребенка? Лучше умереть, чем так жить!» А она, поверьте мне, так и скажет. Я знаю ее!

Канизяк быстро обернулась и пристально взглянула на Сидыкджана.

— Так разве она не мириться приехала?

— Нет... не знаю,— перешептывая проговорил Сидыкджан и задумался.— От нее всего можно ждать. Если она увидит, как я живу, нарочно оставит мне ребенка. Решит, что я вернусь к ней, раз лучшего не смог добиться.

Заметив тревогу на его лице, Канизяк почувствовала к нему жалость, а к женщине с ребенком, раздетой в красную паранджу и атласное платье, сразу прониклась недоброжелательством.

— Не огорчайтесь, Сидыкджан-ака!— сказала она.— Если эта женщина бросит ребенка, как-нибудь обойдемся и без нее. Днем он будет в детском саду, а вечером присмотрит за ним тетушка Анзират. Да и я...

— Только этого еще не хватало тетушке Анзират — заниматься моим ребенком!

— Что же делать? Если бросит — придется...

Теперь уже сама Канизяк забеспокоилась, словно все заботы свалились на ее плечи.

— А может быть, нам отвести ее в дом Урманджана? Как-никак дом из жженого кирпича, под железной крышей, есть окна... Я сейчас пойду предупрежу Тупанису. Не волнуйтесь, все сделаем. Раздобудем кое-что из вещей, украсим комнату...

И, даже не договорив, она побежала прямо через заросли в кишлак.

Сидыкджан проводил ее благодарным взглядом, а сам заторопился домой сменить штаны и рубаху.

Когда он, чтобы сократить путь, пробирался через ворох беспорядочно сваленного хвороста, позади него раздался голос Урманджана:

— Эй, чего ты тут лазишь?

Сидыкджан, увидев его, так обрадовался, точно все трудности сразу разрешились.

— Арбы приехали?— спросил Урманджан.

— Да, три...

— Ты что, рехнулся — ходишь в одной рубахе? Не жето. Иди надень халат.

— Жена приехала...

— Что?..— Урманджан даже остановился.— А ну, по-
дойди сюда. Приехала, говоришь?.. Зачем? Мириться?

— Не знаю... я еще не видел ее.

Урманджан вынул из кармана платок и, о чем-то думая, медленно провел им по лицу, по шее, затем спросил:

— А ты сам-то как, намерен мириться? Если вы оба хотите этого, миритесь. Только так, чтобы эта женщина стала тебе настоящей женой и осталась здесь. Ты обязательно настаивай на этом. Покажи ей свое житье-бытье, но сразу не пугай, расскажи, что мы построили, что собираемся строить. Словом, постарайся раскрыть ей глаза, чтобы она поняла все. Вот закончили канал, раскорчевываем заросли и поднимаем новые земли, будем строить новые дома... А если думаешь, помирившись, уехать с ней, скажи об этом прямо.

— Вы все еще плохо думаете обо мне, Урманджан-ака,— обиженно проговорил Сидыкджан.— Нет, уж оставьте этот разговор. Я стал колхозником и останусь им!

— Так и я же это хотел сказать!— усмехнулся Урманджан.— Ты теперь другой человек, я не сомневаюсь, что ты больше не пойдешь на поводу у Зуннуна-ходжи. А семейные дела надо как-то устроить. Ребенок.

— Да еще неизвестно,— перебил Сидыкджан,— приехала она мириться или...

— Зачем же тогда? Показать тебе сына? Не думаю.

— А может, она скажет так: или бери ребенка, или давай на его содержание!

— Ну да, очень она нуждается! Да и ребенка, по моему, не бросит. Мать она все-таки... Но ты вот о чем подумай: может, она не по своему желанию разыскивает тебя. Делает это, наверно, Зуннун-ходжа. А с какой целью? Не он ли прислал к тебе дочь?.. Мой совет: будь осторожен. Если она приехала мириться, хорошо, укажи ей настоящий путь к примирению. Покажи, как живешь, скажи, как думаешь жить. Не скрывай от нее недостатков, трудностей, с которыми еще придется столкнуться, но и не заполняй ей пазуху пустыми орехами.

— Я так и думал,— соврал Сидыкджан и, густо покраснев, добавил:— Только Кавизяк не согласилась: «Не надо, говорит, показывать ей дом тетушки Анзират». Попла прибираться ваш дом...

Урманджан рассмеялся.

— Ну, это уж вроде сурьмы для слепых глаз... Зачем это нужно делать? Зачем обманывать?

— Это для первого раза, Урманджан-ака, чтобы она не сказала: «Вот какое, оказывается, твое положение? Лучше умереть, чем так жить!» Чтобы сразу не сказала, а дальше я ей объясню... Да кто их знает, женщин? Они друг друга лучше понимают.

— А что плохого в твоём положении? Если она не разглядит, что мы готовим кирпичи для кладки, а будет смеяться над тем, что руки у нас в глине,— пускай смеется. Для нее же хуже... Ну ладно, иди, вечером встретимся, поговорим.

Урманджан повернулся и быстро зашагал по дороге.

А Сидыкджан забежал к нему домой, предупредил Капизяк, чтобы та ни о чем не беспокоилась, а затем зашел к себе домой, переоделся и пошел к жене.

2

Если до встречи с Урманджаном Сидыкджан, словно испугавшийся коршуна цыпленок, не знал, куда сунуть голову, то теперь он шагал гордо, как молодой петух. И все же, завидев издали знакомую красную паранджу, замедлил шаги, и сердце тревожно забилося. Сидыкджан не мог и представить себе, как он встретится с женой.

Шарафат стояла на дороге со скучающим видом. Заметив приближающегося Сидыкджана, она торопливо подняла ребенка на руки, потом, когда он подошел ближе, опять опустила на землю, и, поколебавшись, слегка прикрыла лицо паранджой.

Сидыкджан перепрыгнул через широкий арык и остановился. С губ сорвались обычные слова приветствия.

— Пожалуйста. Как ваше здоровье?— сказал он и, опустившись на корточки в нескольких шагах от жены, раскрыл объятия ребенку.

— Да вот, пожаловали. Как вы поживаете? Хоть вы и не справлялись о нас, мы вот сами приехали...— зачастила Шарафат и подтолкнула к Сидыкджану ребенка, который цеплялся за подол ее платья.— Вот он, твой отец, иди же! Чего надулся, как пузырь? Все уши мне прожужжал: «Папа, папа...» Или не узнаешь? Похудел твой папа...

Сидыкджан был, как во сне. Он ясно слышал слова же-

пы, но не понимал их смысла. Заметив, что сынишка чуждается его, он сделал два шага, нагнувшись, подхватил его за поясной платок и поднял на руки. Ребенок захныкал было, но не заплакал. Освоившись, он с удивлением посмотрел на отца, провел рукой по носу, по колючим усам и вдруг сукул ему в рот сладко-соленый палец.

— Ну что же, пойдете,— предложил Сидыкджан, повернувшись в сторону кишлака.

Шарафат молча последовала за ним. Взглянув на жепу, Сидыкджан нашел нужным из вежливости спросить о здоровье ее родителей:

— Как там они... живут?

Шарафат словно ждала этого вопроса и сразу ответила:

— Наказывали передать вам много поклонов.

На этом разговор оборвался. Ребенок, по-видимому, уставший в дороге, положил голову на плечо отца и задремал. Неловкое молчание затянулось. Стараясь показать, что все его внимание сосредоточено на том, чтобы не разбудить ребенка, Сидыкджан осторожно переступал даже через маленькие канавки, низко наклонялся даже под высокими ветвями деревьев и все смотрел себе под ноги. Они вышли на большую дорогу, и молчать стало уже совсем неудобно. Сидыкджан, вынуждая себя хоть что-нибудь сказать, снова спросил:

— Ну, как там... в кишлаке?

— Умер Сабирджан-кары,— сообщила Шарафат.

Она произнесла эти слова с такой грустью, что Сидыкджан невольно оглянулся на нее. Шарафат уныло поникла, но по губам ее скользнула улыбка.

— Кто?— переспросил Сидыкджан.

— Сабирджан-кары... разве забыли? Быстро вы начали забывать...

Шарафат вздохнула, улыбка исчезла с ее лица. «И вы могли забыть те дни, когда мы встречались в саду кары, и розы?»— словно говорил ее обиженный взгляд.

— Нет, не забыл... Как же можно забыть своего благодетеля?— с легкой насмешкой сказал Сидыкджан.

— Такая уж, оказывается, наша жизнь. Да, такая уж, видно...— уныло проговорила Шарафат и опять вздохнула.

Сидыкджан попял, на что она намекает, но не знал, как ей ответить.

Пошли дальше. Слова наступило молчание. Шарафат ожидала, что Сидыкджан скажет что-нибудь такое, что развяжет язык обоям. А тот, решив, что она приехала мириться, раздумывал, с чего начать и как нарисовать ей будущее колхоза, прежде чем показывать свое собственное житье-бытье.

— Ну как,— начал он, кивая головой на бурые заросли камыша и реку, которая белела за ними,— правятся вам эти места?

Но Шарафат, как видно, поняла его в другом смысле. Она как-то расслабленно проговорила:

— Да... гляди-ка, река... белая-белая... Когда я была девчонкой, я верила, что по реке течет молоко. Верила даже тогда, когда стала взрослой девушкой. Даже в те годы...— снова вспомнила она то время, когда в саду Сабирджана-кары встречалась с Сидыкджаном.

Однако Сидыкджан, занятый своими думами, не обратил никакого внимания на эти слова. Показав на высокий земляной вал, поднимавшийся над густым кустарником, он сказал:

— Вон... видите? Канал. Большой канал! Провели в прошлом году. Я сам там работал. А теперь раскорчевываем заросли, новые земли... поднимаем.

Шарафат лишь мельком взглянула в сторону канала и продолжала свое:

— Да, была взрослой уже девушкой, а верила в такое... Или я была тогда слишком легковерной, верила на слово всему, что мне скажут? Да нет, не была я такой! Среди моих подруг не было более озорной, чем я...

Они продолжали свой путь. Шарафат все говорила о молочной реке, о том, какой она «в те годы» была смелой и решительной девушкой, стараясь, по-видимому, внушить Сидыкджану, что не по наивности неопытной девушки бросилась ему в объятия, а по любви. Но до сознания Сидыкджана почти не доходили ее слова. Он думал: «Нет, насчет канала я не сумел сказать ей как следует. Как же это так? Раз я не могу как следует сказать о таком большом, уже законченном деле, как я смогу показать ей то, чего еще нет?»

Увидев узкую тропинку, проложенную сквозь густые заросли, он свернул на нее, чтобы сократить путь в Бакауруллак. Шарафат остановилась.

— Куда это вы меня ведете?

— Домой... Отдохнете там с дороги.
— Домой? А кто у вас в доме?
— Старушка одна.
— А еще кто?
— Еще женщина одна. Она сейчас на работе.
— Канизяк?— спросила Шарафат, и глаза ее зло сверкнули, а на топких губах появилась ехидная улыбка. Сидыкджан растерялся.

— А кто вам сказал о Канизякхон? Эта женщина... Я вовсе... Кто вам сказал?

Сердце у Шарафат дрогнуло. «Эге, он оправдывается,— удовлетворенно подумала она.— Значит, не совсем еще отказался от меня. Если бы отказался, мог бы прямо сказать: «Я женюсь на этой женщине, и вы мне больше не нужны». Или спросил бы: «А вам какое до этого дело?»

— Незачем нам идти туда,— сказала она, хмурясь, и протянула руки к ребенку.

Сидыкджан, не давая ребенка, спросил:

— О чем вы подумали? Накажи меня бог, это неправда! Кто вам сказал?

— Человек один... Зачем вляете? У каждого своя воля,— сказала Шарафат и, скривив губы, отвернулась.— Мы туда не пойдем. Несколько слов у нас к вам, затем мы и приехали. Дядя Исаметдин высадил нас там, на большой дороге, а сам поехал в Ходжа-кишлак. На обратном пути заберет нас. Велел поджидать его там... на дороге.

Как видно, она рассчитывала на то, что Сидыкджан будет клясться и упрашивать ее пойти к себе на квартиру, но тот сразу поверил ее словам и, решив, что все его предположения были неправильны, равнодушно сказал:

— Можно было бы там поговорить.

Этот равнодушный тон сильно задел Шарафат, и она, еле сдерживая себя, сердито проговорила:

— Нет, здесь будем говорить!

Сидыкджан пожал плечами.

— Здесь же дорога.

Шарафат задумалась. Опустив глаза, она чертила носком кауна какой-то узор на мокрой тропе, потом, кивнув в сторону зарослей, еле слышно сказала:

— Отойдем подальше туда.

Сидыкджан, улыбнувшись, прижал ребенка к груди, наклонился и, раздвигая плечами переплетающиеся ветви

кустарника, быстро направился в глубь зарослей. Шарафат пошла за ним, то и дело вскрикивая: «Вай умереть мне!»

Дойдя до огромной ветвистой джиды, Сидыкджан остановился под ней. Когда Шарафат подошла, он одной рукой спял с ее головы паранджу, бросил на сухую высокую траву и хотел положить ребенка. Но Шарафат, выхватив из его рук ребенка, села с ним на паранджу и указала Сидыкджану место в двух-трех шагах от себя.

— Вы чужой,— с улыбкой взглянув на него, сказала она.— Хоть самой мне вы и не объявляли развода, все равно теперь вы уж чужой мне. По шарияту...

— Я это знаю,— спокойно отозвался Сидыкджан.

Шарафат совсем ошенила, услышав эти равнодушно сказанные слова, и как-то сразу поблекла. Помолчав немного, она хмуро проговорила:

— Мне чужой, но своему-то сыну ведь вы не чужой?

— И это знаю,— ответил Сидыкджан.

— Знать мало.

— Что же я должен делать?

— Вы еще спрашиваете? Когда это вы спрашивали у меня, что вам нужно делать?.. Раз мои родители вам так надоели, неужели вы не могли мне сказать: «Эй, жена, я не хочу больше так жить, давай отделимся от стариков и заживем своим домом!» Ну, все это — прошлое, теперь об этом уж нечего вспоминать. К слову пришлось, потому и говорю. Задумали объявить мне развод, ругались бы прямо со мной. Или не считали меня человеком?.. Я не хочу сказать, что не признаю развода, который вы объявили в разговоре не со мной, а с отцом. Признаю или не признаю — это другое дело...

— Вы же сказали: «Можете уходить, а я остаюсь у родителей».

Шарафат схватилась за ворот и подняла глаза к небу:

— О боже! Когда? Когда это я сказала «можете уходить»? У вас, кажется, не было привычки говорить неправду? Когда вы предлагали отделиться от стариков, а я сказала вам «нет»?

— Да разве можно было тогда говорить с вами об этом? — возразил Сидыкджан.

— Почему нельзя было говорить? Ведь вы же были моим мужем.

Сидыкджан усмехнулся.

— Вот этого я, значит, не знал.. Ну что же, если тогда можно было говорить об этом, и я не сказал, скажу теперь. Я хотел устроиться как следует и поехать за вами. Теперь, раз вы сами здесь, отвечайте: согласны остаться здесь совсем?

Шарафат притворно расхохоталась.

— Вай-вай, уморил!.. Зачем это я должна уйти из дому, бросив столько земли, воды и усадьбу? Отец уже состарился, мать больна, кому все это останется после них? Нет, я не похожа на вас: если земля и вода не нужны мне самой, они нужны моему сыну. Он ведь, бедный, тоже с надеждой родился на свет. Не успеешь и оглянуться, как станет взрослым, обзаведется семьей. Вам вот ничего не осталось от отца, росли в бедности, испытали нужду. Сами, значит, должны понимать. Неужели я могу пожелать того же сыну? Это только отцы с таким черствым сердцем, как у вас... Я вот думаю о моем сыне.

Сидыкджап сидел с опущенными глазами и, не перебивая ее, перво ломал стебельки сухой травы, а когда Шарафат умолкла, бросил на нее исподлобья беглый взгляд и, усмехнувшись, негромко промолвил:

— А что, если я постоянно думаю о своем сыне.. больше, чем вы?

Он хотел сказать этим, что все делает сейчас ради сына, ради того, чтобы он никогда не знал никакой нужды. Однако Шарафат поняла его по-своему. «Хочет сказать, что, мол, в гневе так вышло, а теперь и сам не знает, как поступить», — подумала она и, помолчав немного, с важным видом, нахмурив брови, заговорила:

— У родителей, кроме этого ребенка, нет других наследников, а в нынешнее время землю нельзя продать. А может быть, вы можете? Так продайте. Если вода в кишлаке, где вы столько лет пользовались кровом добрых людей, вам теперь кажется невкусной, продайте землю и купите ее там, где вам нравится. Воля ваша... Отец, вы знаете, не годится для тяжелой работы. А времена вам тоже известны: никто за другого не то что из четверти, а и за половину урожая не ударит кетменем. Колхоз уже зарится на наше рисовое поле. Недавно отца выывали в сельсовет, спрашивали насчет этого поля. Он им ответил: я, мол, сам что могу поделать? Земля за зятем, с него и спрашивайте. В сельсовете еще не знают, что вы на-

ходите здесь. Подумайте. Если у нас в этом году земля останется незасеянной, колхоз никого и спрашивать не станет. Просто возьмет и вспашет ее. И останется мой сыночек без земли, нищим...

— Сыночек не останется без земли,— сказал Сидыкджан,— а... вашего бедного отца, наверно, хотят раскулачить? Скажите уж прямо: раскулачивают?

Шарафат растерялась.

— Что вы!.. Неужели вы хотите этого? Он же старается ради вашего ребенка, а то мог бы сам пойти в сельсовет и заявить... Что ему, старику, нужно? Ради вас же, ради вашего ребенка... Поймите...

Сидыкджан все еще сидел, опустив глаза, комкая в руках стебельки сухой травы.

— Так что же делать?— спросил он после долгого молчания.

— Как хотите, мне все равно,— ответила Шарафат.— Лишь бы ребенка обеспечить.

— Вы хотите, чтобы я вернулся?

Шарафат, бледнея, подняла глаза на Сидыкджана и снова потупилась.

— Не знаю... Если хотите, возвращайтесь. Возьмете ли вы там другую жену или... Ах, если бы можно было продать землю!

— Значит, я должен вернуться ради земли?

— И ради ребенка.

— Да? А не лучше ли будет для ребенка, если вы переедете сюда?— серьезно заговорил Сидыкджан.— Я не хочу соблазнять вас пустыми обещаниями: живем еще трудно... Впрочем, сами увидите. Мы еще только готовим кирпич для кладки... руки у нас в глине... Пока не построим новые дома, вам не придется носить такие вот атласные платья да лаковые ичиги. Вы привыкли есть из большой кормушки, а первое время вам покажется, может быть, страшновато, но...

— Вай, что он говорит!.. Разве я сказала вам, что приехала мириться с вами? Очень мне нужно...

Сидыкджан сурово посмотрел на жену.

— Нет, я тоже, если на то пошло, сказал только так, к слову. Вы же много говорили «к слову»!

Шарафат, закрыв лицо рукавом, заскулила:

— Вай, я несчастная!.. Значит, вы хотите сделать нашего сына бездомным нищим? Таким же бездомным, как

вы сами... Надо же иметь каменное сердце! Люди ни перед чем не останавливаются, чтобы добыть добра для своих детей, а вы бросаете добытое.

— Я тоже кое-что добываю сыну.

— Колхозную лачугу?

— Все! Нужна моему сыну земля и вода? Они уже есть. Нужны дом и усадьба? Будут...

Шарафат со смехом перебила его:

— Ах, какой вы добрый! Вы уж лучше подарите сыну всю государственную казну! С каких это пор вы отвечаете за власть, за колхоз?

— С тех пор как обрел разум.

— Кто дает, тот может и отобрать.

— Что? Землю?— насмешливо спросил Сидыкджан.— Зачем же ее отбирать у колхозников? Складывать в железный сундук? Вот этими землями владел здесь один человек, ишан Абдуваккас. У него были сотни чайрикеров и батраков. Так что же, вы думаете, Советская власть вернет землю вот такому ишану? Я не считаю вас столь глупой женщиной, чтобы не могли понять таких простых вещей. Конечно, если бы на месте товарища Ахунбабаева сел кто-нибудь вроде Сабирджана-кары или вашего отца, тогда все могло бы случиться.

Шарафат снова принялась тереть рукавом глаза.

— Вам что, вам ничего не стоит назвать отца «элементом». Не знаю, что вам сделал плохого мой бедный отец. Он так страдает из-за того, что вы ушли, скучает по вас. Один день здоров, три дня болеет. Каждый день ругает мать, два раза даже бил ее за то... Хотел поехать вместе со мной, да не хватило сил. Плакал, когда провожал. А вы... Нет у вас совести!

— А от кого вы узнали, что я здесь?— спросил Сидыкджан.

— Вай!— испуганно произнесла Шарафат.— Никуда я не ходила, ни у кого не справлялась. Пусть ноги у меня отвалятся, если я переступила порог чьего-нибудь дома после того, как вы ушли! Вам-то все равно, к слову говорю... Отец разузнавал.

— Та-ак, разузнавал, значит...— Сидыкджан насмешливо посмотрел на Шарафат и спросил:— А может быть, он сам и послал вас сюда?

Шарафат сидела, опустив голову и теребя бахрому паранджи, как видно, не собиралась отвечать на этот вопрос.

— Тогда я вам вот что скажу,— продолжал Сидыкджан.— Вы говорили, кажется, что среди ваших подружек не было более озорной, чем вы, а сейчас представляетесь смиренной овечкой. Напрасно вы стараетесь заманить меня туда, откуда я ушел навсегда. Да, навсегда! Слепец только один раз теряет свой посох. Здесь я нашел новую жизнь и только здесь перестал себя чувствовать батраком. Так и передайте своему отцу: из колхоза я не уйду!.. А вы, если хотите жить со мной здесь, оставайтесь. Мы не будем считаться с шариадом. У шариада, оказывается, много путей и выходов: закрыт один, найдутся десятки других...

Тонкие губы Шарафат посинели и задрожали, нос побелел, ноздри расширились. Сидыкджану казалось, что она сейчас крикнет какое-нибудь непристойное слово и убежит. Но Шарафат поступила иначе. Она положила ребенка на паранджу, а сама упала на землю и, извиваясь, как укушенная змеей, принялась громко причитать:

— Несчастливая моя голова, о-о-ой!.. И зачем я только приехала, о-о-ой!.. Хотела, чтобы ребенок не остался при живом отце сирото-о-ой!..

Вдруг она подняла голову, зло посмотрела на Сидыкджана и села. Лицо ее было бледно, глаза покраснели, но оставались сухими.

— Думаете, мне нужен муж? Если захочу, найдутся десятки толстомордых. Не из-за себя приехала, а из-за сына — не хочу, чтобы он стал батраком бездомным.

— Всю батрацкую долю я на своих плечах выпес,— строго сказал Сидыкджан,— и за себя и за сына. Ему уж батрачить не придется!

— Значит, не вернетесь?— вскрикнула Шарафат и еще сильнее повысила голос:— Не вернетесь?

— Не шумите. Что подумают люди, если услышат? Я сказал...

— Это ваше окончательное решение? Вы не откажетесь от своего слова?

— У меня слова одни: хотите жить одной семьей, бросайте дом отца-кулака и переезжайте ко мне.

— Не откажетесь? Спрашиваю до трех раз: не откажетесь? Ну ладно, пусть будет так. Ребенок не только мой. Я сделала все... что могла,— теперь пусть грех падет на вашу голову... Если уж быть ему сиротой, так я сделаю так, что он будет плакать кровавыми слезами! Не

я буду; ёсли не выйду за какого-нибудь толстомордого! И пусть он за каждый кусочек черствого хлеба стучает его по башке кулаком!

С этими словами Шарафат вскочила и рванула ребенка с паранджи так, что он проснулся и громко заплакал.

Сидыкджану больше нечего было сказать Шарафат, но он не хотел, чтобы она ушла от него в таком состоянии. На какой-то миг он даже представил себе, как она сидит в доме «толстомордого», как тот сует сыну в рот корку черствого хлеба, а затем бьет его по голове...

Он протянул руки к плачущему ребенку и, когда Шарафат, нисколько не сопротивляясь, отдала его, по возможности мягко сказал:

— Оставайтесь на сегодня. Уже поздно, Исаметдин, наверно, давно проехал. А завтра я достану арбу и отправлю вас...

Шарафат, точно только сейчас спохватившись, испуганно завопила:

— Вай, умереть мне!.. Конечно же, проехал, разве он станет ждать меня?.. Что же мне делать, несчастной?

Однако, когда Сидыкджан, выйдя из зарослей, снова повернул на тропу в Бакакуруллак, она покорно двинулась вслед за ним, громко ругая себя за то, что отстала от арбы Исаметдина.

3

Шарафат не узнавала мужа. В долгом и упорном споре с ним она использовала все ходы и слова, каким научил ее отец и какие знала сама, но ничего не добилась. Поэтому она и не воспротивилась предложению остаться переночевать в кишлаке капсанчей. Она решила разузнать хорошенько, что так привязало Сидыкджана к этому кишлаку, что давало ему такую уверенность в себе и в своем будущем, и уже в зависимости от этого поступить так или иначе.

Всю дорогу до дома тетушки Анзират они шли молча, Шарафат, усиленно размышляя, делала всевозможные предположения насчет Сидыкджана и в конце концов пришла к мысли, что самым близким к истине является то, что он сошелся с Каизяк. «Но очаровали его, видно, — размышляла она, — не одни черные глаза этой прок-

алтой. А что же еще? Нет же у нее закопанного золота. Нет, если бы имела, не зарилась бы на женатого человека, магла бы холостого парня.

Может быть, есть у нее дом с усадьбой, хозяйство, оставшееся от первого мужа? Может, поэтому так и задирает нос этот безродный?

А на что тогда позарилась эта распутная? Она ведь тоже соблазнилась, наверно, не только его красотой. Чем же мог похвалиться перед ней этот безродный? Прежде всего сказал, наверно: у меня, мол, нет никого, один-одинешенек. Конечно, скрыл и то, что у него есть попрошайка мать, съевшая змеиное сало¹...

Когда Шарафат переступила порог дома тетушки Анзират, она уже была до крайности озлоблена. Она увидела бедный дворик с навесом и двумя мазанками, мальчижи, который тащил за собой на веревочке корку тыквы, старушку, которая шла к ней с распростертыми объятиями, и сердце ее немного смягчилось. А когда тетушка Анзират сказала: «Ах, какой неблагодарный человек — бросил такую жену и такого сына и скитается в наших местах!» — лицо у Шарафат посветлело и приняло высочайшее выражение.

Тетушка Анзират повела гостью в свою мазанку. Шарафат, считая хозяйку недостойной внимания, даже не дожидая приглашения, прямо прошла на почетное место и опустилась на середину мягкой ватной подстилки. Перевязывая платок на голове, она хмуρο оглядывала бедное убранство комнатки.

Сидыкджан, весело болтая с ребенком, опустил его на пол и присел у порога; глаза его внимательно следили за Шарафат. Хотя он и сказал ей, что не собирается соблазнять ее пустыми обещаниями, он почувствовал себя очень неловко, видя, с какой брезгливостью разглядывала Шарафат комнату. Он следовал за взглядом жены, и все в этой хибарке казалось ему теперь жалким и неприглядным, каждая вещь словно кричала о вечной, неизбывной нужде.

Тетушка Анзират принесла дастархан. Сидыкджан, не дожидаясь чая, встал и пошел на работу.

Шарафат и тетушка Анзират остались одни. Втянув старушку в разговор, гостя очень много узнала от нее

¹ Это выражение применяется к хитрым, коварным людям.

о жизни мужа, о работе его и о том, как его единогласно приняли в колхоз. Но все это мало интересовало ее. Ей хотелось знать, что же привязывало Сидыкджана к этим местам, а на этот-то вопрос тетушка Анзират и не могла ничего ответить.

«Врет эта бесстыжая старуха, врет,— наконец решила Шарафат,— а я по простоте своей верю ей. Она одинокая, кормится, видно, около них, так разве же она выдаст их тайпу?»

Она вспомнила, что нашептывал ей по дороге толстый человек, и с ненавистью подумала о Канизяк:

«Конечно, эта развратная потаскуха строила ему глазки. Живут в одном дворе... А этот безродный сразу и ошалел. Так ошалел, что теперь даже и на богатство глядеть не хочет. Неужели бывает такая любовь?..» И, думая о том, почему так изменился Сидыкджан, сказала себе: «Нет, тут дело не обошлось без шайтана! Наверно, та нященка, его мать,— чтоб ей сдохнуть!— сотворила какое-нибудь колдовство и отворотила его от меня. Гляди-ка, заговорил как! А был смиреннее ягненка. Колдовство все это. А то, что он говорил: «Переедешь сюда — помирюсь», тоже хитрость. Говорил, чтобы я не подумала, что он сошелся с Канизяк... Ведь он же знал, что я не переседу. Во всем они уже сговорились. Если бы не сговорились, разве он привел бы меня сюда? Он же знает, что скорее откажусь от ста мужей, чем соглашусь отдать каким-то безродным свое богатство...»

И чем больше она раздумывала над тем, что случилось с мужем, тем сильнее кипела в ней ненависть к людям, которые оторвали от нее Сидыкджана и покушались еще на более ценное — на богатство отца... К вечеру, когда Канизяк пришла с работы, Шарафат кипела от злости. Однако, чтобы не спугнуть «соперницу», обмануть ее притворной лаской и поймать врасплох, она встала ей навстречу, поздоровалась в обнимку и даже проговорила обычные ласковые слова приветствия. Канизяк не ожидала такой встречи с ее стороны, по несколько не смутилась, весело поздоровалась, потом приласкала ребенка. Шарафат начала расхваливать хороший воздух в кишлаке Капсанчи, красивые заросли, молочно-белую реку.

— Я решила переехать сюда,— сказала она и пристально заглянула в глаза Канизяк.

— Хорошо сделаете, сестрица, — отозвалась Канизяк и поднялась с места.

В это время во двор вошел Сидыкджан и прямо направился под навес, где тетушка Анзират возилась у очага.

Канизяк подошла к Сидыкджану, сообщила ему, что ходила за мясом, но не достала; мясник предложил ей курицу, а курица оказалась очень худой. Сидыкджан недовольно проворчал что-то в ответ, а тетушка Анзират рассмеялась.

Для Шарафат, которая была уверена, что речь идет о ней, уже одного этого было достаточно, чтобы выйти из себя, а тут еще Канизяк весело воскликнула, очевидно, про курицу: «Ах, чтоб ей подохнуть!» И Шарафат затряслась от бешенства.

Когда Канизяк вернулась в комнату, глаза у гостей сверкали, как у разъяренной кошки.

— О ком это ты говорила, проклятая? Кому это подохнуть? Кому?! — взвизгнула Шарафат, задыхаясь от ярости.

— Ай, сестрица, что с вами?.. — испуганно спросила Канизяк и не успела больше сказать ни слова: Шарафат схватила стоявший перед ней чайник и швырнула его в лицо молодой женщине.

Канизяк упала, вскрикнув от боли, но тут же вскочила на ноги и отбежала к двери. Прижав ладонь к щеке, она стояла растерянная, не понимая, что случилось с гостьей, которая еще за минуту до этого разговаривала с ней так приветливо.

На голову тетушки Анзират, которая прибежала, услышав крики, Шарафат обрушила глиняную чашку, а когда в дверях показался Сидыкджан, в него полетели щалы, кауши, умывальный кувшинчик.

В первую минуту Сидыкджан тоже растерялся, не понимая, что случилось. Горестно причитая, тетушка Анзират выбежала во двор. Канизяк стояла у двери и всхлипывала; забившись в угол, громко плакал ребенок.

Немного придя в себя, Канизяк взяла белый узелок и выбежала на улицу.

Шарафат металась от одной стены к другой, хватала вещи и бросала их в Сидыкджана, но теперь она бесновалась уже не от злости, а от страха: она видела перед собой суровые глаза мужа. Сидыкджан стоял неподвижно, сгорая от стыда за нее, с налившимися кровью глазами. На-

конец он не выдержал, грубо выругался и, векинув руку, шагнул к Шарафат.

— Сидыкджан! — раздался позади него негодующий голос. — Опомнитесь! Что вы хотите делать?

Сидыкджан обернулся: в дверях стояла Зиядахон.

— Пожалуйте, Зиядахон-апа, — сказал он и отошел в сторону.

Шарафат, почувствовав поддержку неизвестной женщины, истерично захохотала.

— Что хочет делать?.. Разве не видите? Собирался бить меня. Враг раскрепощения! «Элемент»! Я там возжусь с его щенком, а он здесь держится за подол потаскухи! Ты сначала устрой одну жену, а потом уж протягивай руку к другой. Если не хочешь жить со мной, дай мне развод!

— А разве я не дал тебе развода? — задыхаясь, спросил Сидыкджан.

— Нет, не давал!

— Ах, так! Ладно, тогда повторяю тебе — громко и ясно: талак, талак, талак! Ну, теперь мы в расчете?

— Рассчитайся сначала с отцом, потом будешь в расчете!

— Что же я должен твоему отцу?

— Ты пришел к нам в рваном халате с веревочным кушаком!

— А с чем ушел?

— Не стоит спорить, все равно вы сейчас ничего не сможете решить, — сказала Зиядахон и обратилась к Шарафат: — Пойдемте, сестра, сегодня переночуете у нас, а завтра поговорите спокойно. Берите ребенка.

— Не возьму! — злобно крикнула Шарафат. — Пусть сам нянчится со своим щенком!

Ребенок заплакал еще громче, когда мать, накинув паранджу и оттолкнув его от себя, выбежала во двор.

Сидыкджан тихонько коснулся руки Зиядахон.

— Зиядахон-апа, — волнуясь, проговорил он, — что я буду делать с ребенком? Вы уж как-нибудь уговорите ее. Пусть возьмет его.

Зиядахон улыбнулась.

— Не волнуйтесь, Сидыкджан, у колхоза сердце широкое. Как-нибудь вырастим и вашего сынишку.

Она подняла на руки мальчика, охрипшего от плача, дотронула Шарафат ужалитки и попыталась уговорить ее.

— Подруга, сестрица, чем же виноват бедный ребенок? Возьмите его, успокойте! Видите, он тянется к вам...

Но Шарафат, быть может, боясь расчувствоваться при виде сына, резко отвернулась от него.

Тогда Зиядахон подозвала тетушку Анзират и передала ей ребенка. Старушка прижала мальчика к груди и приложила свою щеку к его щеке, что-то пашентывая ему. Шарафат рванулась к ней и злобно крикнула:

— Сводница! Раз ты кормишься от сводничества, няичи и ребенка!

— Ладно, доченька, ладно,— сказала тетушка Анзират, унося мальчика к себе в мазанку.— Что бы ты не говорила, живи долго. Дай бог увидеть тебе сына взрослым... дай бог!

Зиядахон взяла за руку Шарафат и вышла с ней на улицу.

Сидыкджан тоже вышел вслед за ними, проводил взглядом удаляющихся женщин и сел на порожек у калитки. Из мазанки доносились всхлипывания ребенка и тихий голос тетушки Анзират, убаюкивающей его.

Прислушиваясь к этим звукам, Сидыкджан думал о последствиях разыгравшегося скандала. Какими глазами посмотрит он теперь на тетушку Анзират? А что подумает Зиядахон? О чем сейчас, по дороге, болтает ей Шарафат? А что скажут завтра люди, когда о скандале станет известно всему колхозу? Как убедить их и в том, что все это гнусная клевета?.. Да и эта бедняжка Капизьяк... Сможет ли она показаться теперь на глаза людям?

Во дворе послышались шаркающие шаги тетушки Анзират. Сидыкджан поднялся и, кашлянув, вошел в калитку.

— А, сынок, где это ты был?— заговорила старушка.— Иди, иди в комнату, сейчас ужин принесу. Ты совсем, наверно, измучился.

Тетушка Анзират направилась к очагу, а Сидыкджан вошел в мазанку. Ребенок уже спал. Некоторое время спустя тетушка Анзират принесла большую миску с молочной кашей и поставила ее перед Сидыкджаном.

— Ешь, сынок, ешь...— сказала она и, заметив подавленный вид своего жильца, добавила:— Ничего, ничего, ты не огорчайся. Всякое в жизни бывает. Оказывается, она очень всныльчивая...

— Тетушка,— заговорил Сидыкджан дрожащим голо-

сом,— как мне теперь загладить все это? Ведь из-за меня... вы наслышались таких слов, каких за всю жизнь не слышали!

— Ничего, сынок, ничего, если и наслышалась. Не ради нее, ради тебя... Сын твой помучается, поскучает дня три-четыре, потом привыкнет... Ну, ты посмотри тут за ним, а я схожу узнаю, как там Капизяк... Наверно, она к Марусе пошла.

Тетушка Анзират вакинула на голову теплый платок и вышла, а Сидыкджан остался со своими невеселыми думами.

4

Как человек, получивший серьезный ушиб при падении, ощущает боль не сразу, так и Сидыкджан ощутил весь ужас случившегося только ночью, когда безуспешно пытался заснуть. Ему казалось, что теперь весь кишлак только и будет говорить о скандале в доме тетушки Анзират: одни станут обвинять Шарафат, другие всю вину возложат на Капизяк; а некоторые, быть может, скажут, что во всем виноват Сидыкджан.

Больше всего было стыдно Сидыкджану перед тетушкой Анзират, которая с такой лаской припяла его ребеночка, брошенного матерью. Горело сердце от стыда и перед Капизяк, которая, быть может, сейчас вот так же лежала без сна в чужом доме и мучилась от сознания незаслуженного позора, павшего на ее голову.

Внезапно ребенок, лежавший подле тетушки Анзират, резко вскрикнул и захныкал. Сидыкджан вскочил и метнулся к нему, но тетушка Анзират уже взяла ребенка на руки и принялась убаюкивать:

— Нет, нет, дитяtko, нет! Никто тебя не тронет... Испугался, бедненький,— ласково и тихо ворковала она.— Спи, родной...

Ребенок сразу умолк. Сидыкджан, стоя за спиной тетушки Анзират, тихо сказал:

— Тетя, дайте его мне, он не даст вам спать.

— Вай, что ты бродишь тут в темноте, сынок?— недовольно проговорила старушка.— Иди-ка ложись. Тебе ведь с рассветом надо подниматься на работу, а мне... Что за беда, если и не посплю. Впервые мне, что ли, вот так-

то с ребенком?.. Напугали бедненького, вот и спится ему всякое... А ты что, проснулся от его плача?

— Нет, я не спал... Она завтра, наверно, заберет его. Должна же быть у нее материнская жалость!

— Возьмет — хорошо, а оставит — тоже нечего волноваться, сынок. И без нее обойдемся. Дай бог ему жизни, а расти будут вместе с Хашимджаном, как родные братья...

На сердце у Сидыкджана потеплело, на глаза навернулись слезы.

— Спасибо, тетушка, дай бог вам долгой жизни, — чуть слышно промолвил он.

— Раз жена у тебя такая вспыльчивая, — продолжала тетушка Анзират, — так пусть уж лучше оставит у нас ребенка. Еще молодая, а такая злая. Хорошо еще, подоспела Зиядахон, а то она тут все перевернула бы вверх дном... Я боялась, что эта злюка прибьет и ее. Вот было бы дело! Она же беременная. Досталось бы нам от Тешабая. Горячий человек... Как он любит ее, уважает! И у них так долго не было детей. В прошлом году Зиядахон всю зиму ездила в район к доктору. И вот понесла, дай бог ей благополучно разрешиться. Хорошая женщина, умная... Когда она пришла, Канизяк уже не было? Я даже не помню.

— Да, она пришла уже после, как и я... — ответил Сидыкджан и вдруг спросил: — Тетушка, а ведь нехорошо, что Канизяк осталась почевать у Маруси, — что подумают люди? Скажут: не была бы виновата, не убежала бы. Может, мне сходить, привести ее? Нет, пожалуй, и это нехорошо — будут лишние разговоры. Как, по-вашему, тетушка?

Тетушка Анзират, подумав, ответила:

— Лучше будет, сынок, если она вернется после отъезда твоей жены.

— И то верно, — согласился Сидыкджан, ложась обратно в постель.

У него сразу стало как-то легче на душе. Ему теперь казалось, что все дурные последствия безобразной выходки его жены пройдут сами собой. «Канизякхон, конечно, обиделась на меня, — думал он, — надо постараться, чтобы она забыла все это. А тетушке Анзират и обижаться не на что — сама все видела и знает, что я-то тут ни при чем; она стала мне вроде родной матери. Ребенка завтра

Шарафат заберет, не может не забрать, — воробыха и та чирикает, когда лишается птенца! Перед отъездом она, конечно, еще раз попытается устроить скандал...»

Перед ним вдруг встала картина скандала: Шарафат, бледная, с налившимися кровью глазами и посиневшими тонкими губами, беснуется и шумит, выкрикивает всякие ругательства, которые приходят ей на язык, обзывает всех мужчин животными, а женщин потаскухами. Кто-то пытается ее успокоить, кому-то она вцепилась в лицо. Кто-то смеется, кто-то плачет... В это время тихоенько входит Зиядахон и говорит: «Сидыкджан, не горячитесь. Все видят и понимают, что ваша жена бесстыдная клеветница...» Но вот уже и не Зиядахон, а Канизьяк обращается к нему: «Ах, Сидыкджан-ака, как это вы терпели? Как вы могли жить с такой женщиной!..»

Когда Сидыкджан открыл глаза, ему показалось, что он вздремнул лишь на минуту. Но на улице было уже совсем светло. Он быстро вскочил с постели и, даже не умывшись, побежал на работу.

5

В зарослях уже раздавался стук топоров, звон пил, тарактенные трактора. Закир-ата в паре с Туляганом сплывал деревья; он хмуро взглянул на Сидыкджана, и тот, спеша паверстать упущенное время, торопливо схватился за топор. Обрубая сучки поваленного дерева, он поглядел по сторонам: Канизьяк нигде не было видно. Закир-ата, словно угадывая его мысли, спросил:

— А где же Канизьяк?

Сидыкджан, думая, что в кишлаке еще не знают о вчерашнем скандале, ответил:

— Придет еще...

Сначала Сидыкджана даже обрадовало то, что Канизьяк не вышла на работу: могла появиться Шарафат, и тогда новый скандал был бы неизбежен. Но уже через минуту его охватило беспокойство: «А не утаила ли от меня чего-нибудь тетушка Апзират? — подумал он: — Может, у Канизьяк поврежден глаз, и она лежит в тяжелом состоянии?»

Когда был подан сигнал на обед, Закир-ата взял сумку с хлебом и, как обычно, пошел к своему приятелю в

соседнюю бригаду, тоже глубокому старикку, — они всегда обедали вместе. Сидыкджан развернул свой узелок и с тревогой оглянулся вокруг: «Сейчас начнется!» Но колхозники завтракали, перебрасывались шутками, и никто даже не обмолвился о вчерашнем скандале. Сидыкджан совсем успокоился и принялся за еду. Единственно, что продолжало его тревожить, — это здоровье Канизяк. В голову лезли всякие предположения, хотелось кого-нибудь спросить, не знают ли, что с ней, но он не решался.

Незадолго до отбоя Закир-ата вернулся в свою бригаду, что-то недовольно бормоча себе под нос. У Сидыкджана защемило сердце. «Ага, узнал все, — решил он, — узнал, почему Канизяк не вышла на работу! Кого же он ругает — меня или Шарафат? Как видно, меня. Сейчас подойдет и начнет шуметь. А что я могу сейчас объяснить ему? Да и станет ли он слушать мои объяснения?..»

Но Закир-ата, опустившись рядом, положил свою сумку и негромко сказал:

— У тебя, парень, я вижу, кошки на сердце скребут... Ты скажи-ка, после того... ты видел свою соседку? Как у нее, не поврежден глаз?

Сидыкджан совсем не ожидал, что строгий старик так сердечно заговорит с ним. Он даже не сразу понял, о чем тот спрашивает.

— Что вы сказали? Соседка?.. — переспросил он и, сообразив, о ком идет речь, ответил: — Нет, глаз ничего... Я не знаю...

— Ну, хорошо, коли так, — задумчиво отозвался Закир-ата и посоветовал: — Что было, то было, теперь ты об этом никому ни слова! Шито-крыто... А та, твоя жена... видать, пустая бабенка. Ты правильно сделал, что сбежал от такой напасти. Раз она бросила родного ребенка, чего еще можно ждать от нее? Есть такая мать или нет ее — все равно! Правильно я говорю?

— Да, как только увидела мое житье, вздулась, как чирей. А теперь хочет запугать меня: брошу, мол, ребенка... Думает, подействует...

— Уже бросила.

— Пока еще ничего не известно. Вчера Зиядахон-апа увела ее к себе.

Закир-ата удивленно взглянул на Сидыкджана.

— Эх-хе! Так ты ничего не знаешь? Твоя жена уехала. Тешабай проводил ее. Четыре человека уговаривали

ее, чтобы не бросала ребенка. Куда там! Только и вопит: «Пусть он сам нянчится со своим щенком!» Помилуй бог, как можно обзывать так родное дитя? Если оно — щенок, так кто же она сама?..

Закир-ата крепко выругался и, взяв топор, принялся за работу.

Сидыкджан тоже работал, но перед ним все время стояла тягостная картина: обессиленный от плача ребенок стоит в темном углу хибарки и горько плачет. Измученная тетушка Анзират пытается его успокоить, но он продолжает всхлипывать и повторяет только одно: «Мама!» Повторяет тоскливо, настойчиво, ничего не слушая и захлебываясь слезами...

Вечером, измученный не работой, а думами о сынишке, Сидыкджан решил посоветоваться с Урманджаном, что делать.

Урманджан, выслушав его, задумчиво сказал:

— Видно, Зушун-ходжа держится на волоске...

— Я тоже так думаю, — согласился Сидыкджан и, помолчав, спросил: — Урманджан-ака, а как быть с ребенком? Что, если я отвезу его к бабушке в Бахрабад?

— А к своей бабушке, по-твоему, ребенок привыкнет скорее, чем к тетушке Анзират? Нет, ты просто теряешь голову. И напрасно. В таком возрасте дети очень быстро забывают и привыкают к тем, кого все время видят возле себя. Вот помяни мое слово, не пройдет и месяца, как твой сынишка начнет называть «мамой» тетушку Анзират или Канизяк.

— Да, но мне уж и так неловко перед тетушкой Анзират, — сколько беспокойства я доставил ей! Нет, я не могу бросать ребенка на нее одну. Она измучится с ним.

— Почему «бросать» и почему «на нее одну»? А детский сад и ясли у нас на что? Я уже сказал заведующей детским садом Марусе, а ты сейчас зайди к ней и договорись окончательно. Утром по пути на работу будешь отводить ребенка в сад, а вечером забирать его домой. Тогда и тетушке Анзират он не будет в тягость.

Сидыкджан вышел от Урманджана повеселевшим и направился к заведующей детским садом.

Дверь ее домика была открыта, изнутри слышался женский смех. Сидыкджан поднялся на бугорок и заглянул в окошко. Маруся читала книгу, а Канизяк и еще какая-то молодая женщина, слушая ее, покатывались со

смеху. Присмотревшись внимательнее, Сидыкджан узнал одну из тех колхозниц, которые приходили к Бутабаю и возражали против назачения Канизяк звеньевой. Он подумал: «Ну, уж если и эта женщина пришла проводить Канизяк, значит, в колхозе никто не осуждает ее». Все же он считал неудобным заходить в домик Маруси в такой поздний час и, спустившись с бугорка, зашагал домой.

Когда он вошел в комнату, ребенок уже спал. Тетушка Анзират немного пожурела Сидыкджана за то, что он не пришел пораньше, когда она укладывала сынишку спать, потом со смехом стала рассказывать о всех проделках мальчика за день, о том, как он лопотал, играя во дворе с Хашимджаном. На лице у тетушки Анзират не было и следа недовольства, наоборот, она казалась даже веселее, чем обычно.

— А ведь уехала эта скандалистка-то, — сказала она, ставя ужины перед Сидыкджаном.

— Уехала. А вы откуда слышали?

— Да ходила проводить Канизяк, ну, а там у нее целое собрание. Все женщины заходят узнать о ее здоровье.

— Канизякхон, наверно, в обиде на меня?

— В обиде не в обиде, а сюда не хотела вернуться. Зиядахон даже побранила ее.

— Ну, и как решила?

— Не знаю. Все время смеется. Там все смеялись. Да и в самом-то деле, сынок, разве не смешно, если посмотреть со стороны на все, что тут у нас произошло?

— А все-таки как вы думаете, тетя, вернется Канизякхон или нет?

— Придет, наверно, завтра, когда ты уйдешь на работу. Говорят, стыдно встречаться, а, по-моему, чего стыдиться?.. Спрашивала сегодня про твоего сынишку, не плачет ли? Ну и радостно стало у меня на душе, сынок! Дай бог счастья, доброе у нее сердце.

Сидыкджан рассказал тетушке Анзират насчет детского сада. Тетушка Анзират одобрила этот план и начала рассказывать, чьи дети бывают в детском саду, как они проводят там день и как ухаживает за ними Маруся. И Сидыкджану показались уже смешными все его дневные тревоги за сынишку. Однако, когда на следующее утро тетушка Анзират стала одевать ребенка и тот

заплакал и теперь уже наяву раздалось это тоскливое: «Мама!», у Сидыкджана сдавило сердце от жалости. Ребенок метался из стороны в сторону, ища мать, и тетушке Анзират с трудом удалось одеть его и закутать в одеяло.

Держа на плече всхлипывающего ребенка, Сидыкджан направился в детский сад. Возле красной чайханы он увидел Канизяк. В синем платке, надвинутом на самые глаза, она шла ему навстречу быстрыми шагами, низко опустив голову. Когда она была уже не более чем в десяти шагах, Сидыкджан окликнул ее:

— Канизякхон!

Услышав его голос, Канизяк вздрогнула и остановилась, не поднимая головы.

— Канизякхон! — взволнованно повторил Сидыкджан. — Если я в чем-либо виноват перед вами, простите!.. Вы сами все видели, знаете...

Он хотел сказать еще что-то и умолк, почувствовав, что ничего сейчас объяснить не сумеет.

Канизяк посмотрела на него пристальным, немного испуганным взглядом. Лицо его в предрассветном сумраке казалось бледным, осунувшимся, глаза как будто ввалились. Не понимая, зачем понадобилось Сидыкджану поднимать ребенка в такой ранний час, Канизяк спросила:

— Куда вы его несете?

— В детский сад.

— А доктору показывали его?

— Нет.

— Надо, чтобы сначала осмотрел доктор. Пока не получите справку о здоровье ребенка, его в детский сад не примут. А доктор будет только в среду.

Канизяк пошла дальше.

Сидыкджан вернулся домой.

В среду он должен был с утра уехать в МТС за горючим для тракторов, поэтому нести ребенка к доктору пришлось Канизяк.

Она одела мальчика во все чистое и пошла из дому, но у калитки нерешительно остановилась и посмотрела на тетушку Анзират.

— А что скажут люди, когда увидят меня на улице с чужим ребенком?

.. Тетушка Анзират усмехнулась.

— Что они могут сказать, доченька? Скажут, что, жол, ребенок ей очень к лицу.

Кавизяк смущенно опустила глаза и вышла за калитку.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Когда тракторы вышли поднимать целину, все заросли на землях Кугазара, Кошчинара и Бакакуруллака были уже вырублены и выкорчеваны. На бескрайнем лугу, который простирался теперь от горизонта к горизонту, виднелись лишь два больших здания — двухэтажной школы и красной чайханы. Неподалеку от них возводились различные хозяйственные постройки.

Люди, довольные своим успешным трудом, горячо бралась за всякую работу и, если бывала необходимость, работали даже ночью, при лунном свете.

Еще до начала сева наметились очертания нового жилища: в центре его, разделенном каналом на два полукруга, и по обеим сторонам будущих прямых улиц, лучами расходившихся от центральной площади, было посажено более восьми тысяч молодых деревьев-саженцев.

Единоличники, увидев поднятые плодородные земли и воду, пущенную из канала в арыки, тракторы и сельскохозяйственные машины, работающие на колхозных землях, все более убеждаясь в том, что «Кошчинар» смело прокладывает себе путь к светлому будущему, начали целыми группами подавать заявления в колхоз. За три месяца в колхоз вступило больше тридцати дворов. Колхозное стадо увеличилось на сто двадцать голов рабочего скота.

В самый разгар сева случилась беда: за три-четыре дня пало девять колхозных коров. Из района прибыл ветеринарный врач с целым отрядом помощников. Весь скот «Кошчинара» и соседних колхозов был тщательно обследован и поставлен на дополнительную проверку. Во время обследования пало еще несколько коров.

Не прошло и недели после отъезда ветеринаров, как из района нагрянула новая комиссия. Она обследовала все хозяйство, всю работу правления. Три члена ее беседовали не только с руководителями колхоза, бригадирами

и звеньевыми, по и со многими рядовыми колхозниками. И никто не мог понять, почему и с какой целью явилась эта комиссия: один из ее членов почему-то интересовался событиями, имеющими место лет десять тому назад и раньше, другой расспрашивал о каких-то никому не известных попойках и драках, о пустых, совсем незаметных в кишлаке людях и каких-то легкомысленных женщинах, а третьего больше интересовало бытовое и материальное положение колхозников.

На следующий день после отъезда комиссии поздно вечером к Урманджану пришел Абдусамад-кары и, оставившись у калитки, позвал его таким жалобным голосом, словно собирался сообщить о большом горе. Урманджан пригласил его в дом, но кары, кивнув головой на Тупанису, дал понять, что ему пужно говорить с парторгом наедине.

Они вышли на берег реки и, отойдя подальше, опустились на траву.

— Сказать — язык стогрит, не сказать — душа стогрит, — заговорил кары, подергиваясь всем телом, словно ему и в самом деле насыпали за халат раскаленных углей. — Давно эту тайну хранил я про себя, а теперь нельзя... Нельзя таить от вас, Урманджан-ака, потому что сплетня у всех на устах. Да, у всех, и касается она вас...

— Сплетня?

— Да... наверно. Очень пехоршая сплетня, очень... Будто жена ваша нечестная женщина.

— Почему?

— Путается с одним.

— С кем же?

— И не спрашивайте!

— Да уж говорите. Сплетня же?

— Может, и сплетня, не знаю...

Урманджан засмеялся.

— Так кто же этот негодяй, который вздумал разрушить мою семейную жизнь?

— Самый близкий друг ваш... Бутабай.

— Так... И кто же распускает такие сплетни?

— Теперь говорят во всем кишлаке.

— А вам кто сказал?

— Учитель Рахматулла, когда еще был здесь...

Урманджан пахмурился.

— Еще что?— спросил он после минутного молчания. По лицу его было видно, как закипает в нем гнев.

— Хоть бы это оказалось неправдой...— уныло проговорил кары.

— Ну?

— Говорят, будто Бутабай жил с вашей женой, а потом... потом будто увидел у нее на боку пятно ложной проказы и перестал с ней встречаться.

Урманджану стало не по себе.

Абдусамад-кары, видя, что он задумался, тихо встал и молча, опустив голову, удалился.

Через некоторое время поднялся и Урманджан и медленно зашагал домой. «Подлецы...— мысленно ругался он.— Чего не наплетут!» Сначала в нем горело только возмущение. Но потом он стал думать о том, что больше всего поразило его в этой сплетне. «Белое пятно... Откуда они знают?»— встал перед ним неразрешимый вопрос. Белое пятно, след большого нарыва, действительно было у жены на боку, но кто его видел?

Тупаниса спала под навесом. Урманджан, войдя, постоял над ней. При желтоватом свете лампы лицо ее казалось бледным, усталым. Веки слегка трепетали, точно она не спала, а лишь притворялась спящей. Урманджану хотелось с ней поговорить, сразу выяснить, откуда пошли разговоры о белом пятне. Но Тупаниса спала крепко и даже не шевельнулась, когда Урманджан потрогал ее за руку.

Отойдя к своей постели, он разделся и лег, решив на другой день откровенно рассказать все, о чем говорил Абдусамад-кары, сначала жене, потом Бутабаю. При мысли о Бутабае почему-то вспомнились слова, как-то сказанные им в беседе: «Почему мы по-разному относимся к согрешившим мужчине и женщине? Почему такую женщину презираем, считаем развратной, а мужчину превозносим?» На ум невольно пришел вывод: «Значит, он говорил это в оправдание развратных женщин!» Урманджан опять выругался: «Тьфу! Лезет же в голову всякая ерунда!..» Он повернулся на бок и постарался заснуть, но это долго ему не удавалось.

На рассвете сквозь сон он слышал, как постучали в жалитку, и догадался, что это пришла жена Абдусамад-кары. Каждое утро она заходила за Тупанисой; после завтрака они вдвоем уходили на молочную ферму. Во

дворе: послышался веселый голос жены. Потом начал бегать его сынчик, который, собираясь в школу, искал свою чернильницу. Несколько раз в комнату заходила и Тупаниса. Видя, что муж еще спит, она старалась не шуметь и проходила мимо его постели на цыпочках. Наконец хлопнула калитка, и в доме наступила тишина. Где-то вдали тарахтел трактор.

Урмаджан встал и вышел во двор. На столе под навесом, как всегда, был приготовлен для него завтрак и стоял чайник с горячим чаем, завернутый в скатерть. Взгляд Урмаджана упал на выжарки, он вспомнил, что мясо и сало принес для плова Бутабай. Выжарки были, по-видимому, из этого сала, и Урмаджан почему-то почувствовал к ним отвращение. Умывшись, он выпил чаю, поел хлеба и вышел из дому.

В правление колхоза он не пошел: не хотелось встречаться с Бутабаем, не выяснив ранее с женой, откуда пошли разговоры о «белом питне», а с Тупанисой он мог теперь увидеться только вечером. Урмаджан взял на конном дворе коня и поехал в поле.

Обычно он прежде всего отправлялся на те участки, где хуже работали. Завидев его, люди сразу подтягивались, боясь замечаний, снова просматривали выполненную работу и старались поскорее исправить недостатки. Но сегодня Урмаджан был хмур и задумчив и никаких замечаний не делал, хотя побывал на всех участках полевых работ. С утра он ничего не ел и к вечеру так устал, что еле держался в седле. Внезапно ему пришла в голову мысль, что незачем говорить сейчас с женой, а что лучше прежде всего сказать о гнусной сплетне Бутабаю. Повернув коня, он направился к центру кишлака и проехал уже половину пути, как вдруг вспомнил, что Бутабай вместе с бригадиром строительной бригады Туляганом должен был еще с вечера выехать в областной центр.

Возвращаясь к своему жилью на старую водокачку, Урмаджан уже спокойно думал о предстоящем разговоре с женой, решив, что сплетня останется сплетней, а Тупаниса могла и сама рассказать какой-нибудь женщине на ферме о своем «белом питне». Каково же было его удивление, когда он, привязав коня у калитки, услышал громкий плач Тупанисы, а войдя во двор, увидел под навесом связанные, как в дальнюю дорогу, узлы. Из ком-

паты вышла Тупаниса с заплаканным лицом и растрепанными волосами. Увидев мужа, она сразу набросилась на него с упреками:

— Бессовестный! И не стыдно?.. Разве для того послал вас сюда товарищ Ахмедов, чтобы вы развратничали?

— В чем дело, жепя?— ничего не понимая, спросил Урманджан.

— Он еще спрашивает!.. А кто вызвал сюда жену Сидыкджана и поссорил ее с Канизяк? Из-за кого избили тетушку Анзират? Думаете скрыть свои подлые делишки? Бесстыжий! Весь кишлак говорит, что вы живете с Канизяк!

«Напуганный первый поднимает кулак»,— подумал Урманджан и внимательно посмотрел на жену, но на лице Тупанисы не было ничего, кроме искренней обиды и глубокого горя.

— Кто это наплел вам?— спросил он.— Откуда вы все это взяли?

— Не скажу!— крикнула Тупаниса, сразу перестав плакать.— Бесстыжий! Знаю, что тебе давно хочется выгнать этого беднягу из колхоза.

Урманджан стал успокаивать жену.

— Не торопитесь верить всяким слухам... У меня тоже найдется о чем поговорить с вами. Я тоже мог бы, поверив сплетням, крикнуть сейчас вам: «Бесстыжая!» Но, как видите, я спокоен. И вам следовало бы держать себя поспокойнее. Я коммунист, лгать не буду. Если слухи оказались вам правильными, вы могли прямо спросить меня, верны они или нет. До меня тоже дошли кое-какие слухи, и я тоже хочу кое о чем вас спросить. Давайте поговорим, и если я окажусь хоть в чем-нибудь виноват, можете поднимать шум и даже дать мне пощечину...

Но Тупаниса не поверила в искренность его слов.

— Не беспокойтесь,— сказала она,— пощечину вы и так получите! У партийного собрания рука пожестче моей. А если здесь меня слушать не будут, пойду к самому товарищу Ахмедову!

Она схватила платок, накинула его на голову и убежала на улицу.

Урманджан ее не удерживал, но тут же раскаялся в этом: сгоряча она могла разнести сплетню по всему колхозу.

С улицы прибежал сыпищка-школьник. Узнав, что он еще не обедал, Урманджан поджарил мясо, вскипятит чай. После обеда сын сел готовить уроки, а Урманджан прилег отдохнуть. Заснул он сразу, а когда проснулся, уже смеркалось.

Тупаниса не возвращалась домой. Урманджан зажег лампу в комнате, наказал сыну быть осторожным с огнем, затем вышел за калитку и сел на коня. Он объехал всех подруг Тупанисы, но нигде ее не нашел и, решив, что она побежала прямо в райком, поскакал туда же.

Было уже близко к полуночи, когда Урманджан вошел в приемную секретаря райкома. В комнате стоял синий табачный дым. Только что кончилось заседание бюро райкома, приемная была еще полна народу. Урманджан направился прямо к столу знакомого помощника секретаря, рассчитывая, что по тому, как тот встретит его, сразу обнаружится, была ли здесь Тупаниса. Но секретарь поздоровался как всегда радушно и ничего не сказал. Не успел Урманджан отойти от стола, как увидел перед собой улыбающегося Мавлянбекова.

— Ваш Бутабай закупил уйму строительных материалов, вот посмотрите,— сказал он, вынимая из нагрудного кармана и протягивая Урманджану телеграмму Бутабая.— Ну, мы кое-как наскребли ему двадцать семь тысяч и уже перевели. Надеемся, что вернете с процентами.

— За нами не пропадет,— так же весело ответил Урманджан и, поблагодарив председателя райисполкома, сунул телеграмму в карман.

В это время из кабинета вышел Ахмедов и передал своему помощнику какие-то бумаги. Увидев Урманджана, он протянул ему обе руки.

— А-а, Урманджан-ака, здравствуйте!.. Что это вы так похудели? Работы много? Ну, заходите...

Урманджан вошел в кабинет вслед за секретарем и сел на черный клеенчатый диван.

У стола сидел редактор районной газеты. Ахмедов, желая, по-видимому, вовлечь в беседу и Урманджана, обратился к нему:

— Присаживайтесь поближе... Мы на прошлом заседании бюро вынесли решение, обязывающее редакцию широко освещать ход сева хлопка. Посмотрим, как это у них получается.

Урманджан пересел на одно из кресел, стоявших перед столом секретаря.

Ахмедов взял со стола газету, исчерченную красным карандашом, и остановил взгляд на общем заголовке — шапке:

— «Сев хлопка в нашем районе идет оживленно», — вслух прочитал он и задумался. — Так, «идет оживленно...» По-моему, чего-то недостает в этом заголовке. Я бы написал так: такие-то колхозы идут впереди. Как, по-вашему, Урманджан-ака?

Урманджан, не зная, что сказать, виновато улыбнулся, но, видя, что секретарь ждет ответа, сказал то, что думал:

— Раз это газета, наверно, так и надо писать.

— Вот именно! — подхватил Ахмедов и насмешливо повторил: — «Раз это газета...» Видите, как относятся к печатному органу? — обратился он к редактору. — Слово газеты непререкаемо. Хорошей партийной газетой, конечно. Следовательно, каждое слово в ваших статьях должно быть продумано. А посмотрите, сколько у вас тут всякого словесного мусора и пустозвонных фраз! «Вносят свой вклад»... «ситуация требует»... «проблема рабочей силы»... «ясно видеть перспективу»... — снова начал читать он, отчеркивая красным карандашом отдельные слова и фразы.

Сконфуженный редактор стал оправдываться:

— Иногда проскочит, конечно...

— Нет, не иногда, — перебил секретарь. — Вся беда в том, что у вас в кармане имеется некоторый запас этих очень гладких и удобных для всякой статьи слов, которыми вы всегда пользуетесь. Я уже обращал на это ваше внимание...

Редактор, подумав, согласился с Ахмедовым и, взяв газетную полосу, заторопился уходить.

— Еще одну минуту... — задержал его Ахмедов. — Почему вы не печатаете материалов по делу Нуритдинова? — спросил он и пояснил Урманджану: — Они в газете обвинили в воровстве заведующего фермой в колхозе «Бирляшкан». А расследование установило, что все это злостная клевета.

— На сотрудника, который дал неправильную заметку, наложено взыскание, товарищ Ахмедов, — сказал редактор.

— Вы хотите сказать, что этот сотрудник редакции больше не будет писать клеветнических заметок? Допустим, а что вы сделали для восстановления честного имени Нуритдинова?

— Я лично беседовал с ним.

Ахмедов усмехнулся.

— Извинились? Сначала оскорбляете человека на весь район, а потом шепчете ему на ушко извинения! Интересно это у вас получается... Нет, не годится так. Надо так же честно признать свою ошибку и извиниться перед читателем. Не бойтесь, авторитет газеты не пострадает. За это читатели будут больше уважать ее.

Редактор молча поклонился и вышел. Ахмедов поднялся из-за стола, прошелся по кабинету и, устало опустившись на диван, позвал Урманджана:

— Идите-ка сюда, поговорим... Почему вы такой бледный? Нездоровы?

— Да нет, так... не в этом дело... — неопределенно проговорил Урманджап; подойдя к дивану, он сел рядом с секретарем райкома и опустил глаза.

Он хотел сейчас же рассказать о своей семейной неурядице, но Ахмедов перебил его:

— Понимаю. Партийная организация в колхозе еще очень молода и малочисленна. Вам и Рауфу Ибрагимову, конечно, трудно приходится... Ну, так говорите, что вас заставило в полночь прискакать ко мне?

Урманджап тяжело вздохнул.

— Кто-то распускает по колхозу разные сплетни. Я просто удивляюсь...

— А чему вы удивляетесь? — спросил Ахмедов, закуривая папиросу. — Коммунист ничему не должен удивляться. Я знаю все, что говорили, говорят и даже что будут говорить о вас.

Урманджап невольно улыбнулся.

Ахмедов задумчиво посмотрел на огонек своей папиросы.

— Ничего, вы не особенно верьте тому, что говорят о других, и не расстраивайтесь, если услышите что-либо дурное о себе.

— Дело не во мне, — возразил Урманджан. — Я-то, может быть, и не поверю, а вот другие... Подлецы, приводят даже такие доказательства...

— И о том, знаю, — перебил Ахмедов. — Вы хотите

сказать насчет «белого пятна ложной проказы»? Скажите, кто рассказал вам об этом?

— Абдусамад-кары.

— А он от кого услышал?

— Он сослался на учителя Рахматуллу.

— Скажите... кары знает, что его дружок Рахматулла арестован?

— Арестован?— удивленно переспросил Урмаджан.—

Я знал, что он лежал в районной больнице, куда попал после таинственного нападения на него, а потом куда-то уехал. Но арестован... Думаю, что и кары не знал.

— А вы допустите и другое, и тогда вам кое-что станет ясным... Конечно, печально, что Рахматулла Абиди втерся в доверие к нашим органам просвещения и в течение продолжительного времени действовал безнаказанно в Ходжа-кишлаке и у вас в Кошчинаре. Но я рад вот чему: вчерашние забытые капсанчи, которые когда-то в три погибли гнулись перед каждым таким домуллой, теперь никого не боятся. Большая политическая активность растет в массах колхозников. Это, несомненно, наше достижение. А вот бдительности пока не хватает. Тайного врага вы как следует и не разглядели. Я понимаю, все вы там так заняты своим строительством, что многое упустили из виду,— вот хотя бы этого учителя Рахматуллу. Да уж ладно, мы вам поможем. Источник всякого рода злостных разговоров отчасти обнаружен... Теперь о вашей жене и Бутабае. Неужели вы хоть немного поверили этой чепухе и всем этим, с позволения сказать, «доказательствам» с «белым пятном»? Уж слишком все глупо придумано. Допустим на минуту, что Бутабай, преступив, так сказать, законы дружбы и партийной совести, пошел на эту тайную — конечно, только тайную!— связь с вашей женой. Допустим! Но почему, с какой целью он стал бы раскрывать эту тайну учителю Рахматулле да еще приводить какие-то доказательства этой связи? Вы об этом подумали?

Урмаджану стало неловко оттого, что он, ослепленный ревностью, сам не додумался до таких простых и ясных вещей, и он сказал:

— Я не верил и даже хотел посмеяться над этой в самом деле глупой выдумкой вместе с Бутабаем. А вот жена всерьез поверила нелепым слухам насчет меня п... Капизьяк... Хотела даже жаловаться вам.

— Вот как! Ну что ж,— усмехнулся Ахмедов,— я, надеюсь, сумею помирить вас с жепой, если вы сами не сумели раскрыть ей глаза.— И уже серьезно продолжал:— Все эти слухи и сплетни похожи на части одного узора. Теперь уже становится, ясным, что это за узор и с какой целью рисуют его враги, но вот вопрос: кто эти художники? Все дело в том, чтобы раскрыть этих людей в кишлаках. К нам поступает очень много анонимных писем.

Урманджана взволновали эти слова.

— Какие письма, товарищ Ахмедов?— спросил он.— Если вы мне верите...

— Спрашивайте, не спрашивайте, я все равно скажу. Потому скажу, что если вы заранее не будете знать об этом, опять прибежите ко мне с таким же растерянным видом. А работа будет страдать.

Ахмедов подошел к столу, вынул из папки листок бумаги и повернулся к своему собеседнику.

— Вот послушайте сводные данные: «Урманджан одобрял все выступления контрреволюционера Рахматуллы Абиди против раскрепощения женщин и всячески поддерживал этого человека»; «Урманджан угощал в своем доме Гияситдина Махзума из Бишсерки и, взяв у него телку, взамен дал ему корову, а от этой самой телки в колхозе распространилась болезнь и начался падеж скота»; «Урманджан находился в развратной связи с Канизьяк, когда же это стало выплывать наружу, пустил слух, что с Канизьяк живет его друг Сидыкджан, вызвал жену Сидыкджана, а та избила Канизьяк...» Ну, хватит с вас,— закончил Ахмедов, кладя обратно в папку листок,— а то совсем расстронетесь.

— Эг-ге!— воскликнул Урманджан.— Если бы все это было правдой, меня можно было бы обвинять по всем статьям Уголовного кодекса.

— Не все, а если бы даже хоть часть из всего этого оказалась правдой, я не разговаривал бы с вами сейчас... Ну, довольно об этом! А теперь — об одной вашей настоящей вине, не выдуманной. Закир-ата у вас, безусловно, весьма опытный хлопковод, у него золотые руки. И вы с Бутабаем правильно делаете, что даете старику развернуться. Но вот в чем дело: когда между практическим опытом и наукой возникают противоречия, надо больше полагаться на науку. Бутабай иногда придерживается

примиренческой линии, а вы тоже смотрите на это сквозь пальцы. Нельзя так! Вы не только подрываете авторитет агронома Ибрагимова, но и этим ведь по существу совершаете ошибку. По методам так называемой народной медицины очень многие опухоли, как вы знаете, лечат тем, что прикладывают горячую вату. В тех случаях, когда имеют дело с простой опухолью, подогретая вата помогает, а в случае злокачественной опухоли она способствует лишь осложнению болезни. Так и здесь. Далеко не все в народной практике может быть применено, наука знает больше. И задача заключается не в том, чтобы науку приспособлять к практике, а, наоборот, в том, чтобы практический опыт пропускать через фильтр науки. Об этом никогда не надо забывать.

Степные часы пробили два. Урманджан, не веря, что уже поздно, взглянул на свои ручные часы.

— Вижу, что вы торопитесь, да и пора...— сказал Ахмедов, поднимаясь с дивана.— У меня еще только один вопрос: как вы думаете использовать теперь водокачку в Бакакуруллаке?

Урманджан тоже встал.

— Члены правления считают, что надо сделать из нее мельницу,— ответил он и вопросительно взглянул в лицо секретарю райкома.

Ахмедов подумал немного, прежде чем ответить.

Неплохое дело... Получится большая мельница, колхоз будет иметь от нее доход. Но... вы помните вечер того дня, когда мы открывали плотину? Помните огни, которые плыли по каналу? Эта картина все время стоит у меня перед глазами. Вы думаете, это была простая забава молодежи? Нет, тут сказалась давняя мечта людей о свете. Не правда ли? А что если переоборудовать водокачку в электростанцию? Вы можете сделать два хороших дела. В колхозе имени Левина электростанция ночью дает свет, а днем — энергию на мельницу. Подумайте над этим. Ваша электростанция сможет осветить три кишлака. Я как-то говорил об этом с директором хлопкоочистительного завода. Он готов в порядке шефства помочь, если только Кошчинар возьмется за это дело.

— Хорошо, товарищ Ахмедов,— сказал Урманджан,— подумаем в правлении, взвесим наши возможности.

— Но помните, что не это является вашей первоочередной задачей,— предупредил секретарь райкома, по-

давая на прощанье руку.— Главное для вас — хлопок. Это — основа основ.

— Ну вот,— засмеялся Урманджан,— не успели зажечь огни в нашем колхозе, как сразу же погасили,— говорите, что с этим можно и обождать.

Он распрощался с Ахмедовым и, выйдя в приемную, остановился, вспомнив, что так и не спросил секретаря райкома, как же разговаривать теперь с женой и можно ли открыть ей секрет злостных сплетен? Впрочем, все то, что еще недавно казалось таким запутанным и сложным, теперь представлялось ему значительно проще. Кивнув головой помощнику секретаря, который направился в кабинет с папкой бумаг, Урманджан вышел из райкома и вскочил на коня.

Сначала Урманджан ехал быстро, в самом веселом расположении духа. Он уже представлял себе, как сильно сконфузится Тупаниса и как будет хохотать, когда они вдвоем сядут за плов и начнут перебирать, кто что слышал и что думал в эти дни по поводу глупых сплетен на их счет. Но по мере того как он приближался к дому, веселое настроение покидало его и вскоре уступило место беспокойству. Он опустил поводья и поехал медленно, думая лишь об одном: что могло случиться за время его отсутствия. Может быть, Тупаниса, взяв свои вещи, уже уехала, и по всему кишлаку пошли пересуды? Гнев ослепляет человека, и в этом состоянии человек способен на всякую глупость. Неужели Тупаниса не понимает, что этим поступком она только подтвердит злостные слухи?..

Но вот за кустарниками сверкнул огонек. Урманджан поджал коня и через минуту увидел лампу, горевшую под навесом, и Тупанису, которая стояла у дверей, видимо, поджидая его. Услышав стук копыт, она повернулась и ушла в комнату.

Привязав коня, Урманджан вошел под навес. Там было все прибрано, все на месте. На столе стояла миска с горячим пловом, завернутая в скатерть. «Ну, значит, горячка прошла»,— подумал Урманджан и, подойдя к двери, сказал:

— Доброй ночи... Где это вы пропадали?

— А вам что за дело? Была у тетушки Анзират, — насмешливо ответила Тупаниса из темноты.

Через минуту Тупаниса вышла и села за стол.

— Ну, все расспросили, узнали?— спросил Урмаджак.

— Узнала. Я только удивляюсь...

— А вы не удивляйтесь,— перебил ее Урмаджак.— Я вот ничему не удивляюсь и вам не советую...

И он рассказал жене о своей беседе с секретарем райкома.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Накануне Первого мая вечером Сидыкджан заглянул по делу к Рузымату. Когда он, выпив у друга пиалу чая, собрался идти домой, Рузымат вышел его проводить.

Друзья распрощались у здания чайханы. Сидыкджан повернул на свою улицу; не успел он пройти и двух десятков шагов, как под карагачем при свете луны увидел женщину в черной парандже. Заметил ее и Рузымат. «Кто это может быть?»— мелькнуло у него в голове,— в кишлаке не было ни одной женщины, которая носила бы паранджу.

Женщина подошла к Сидыкджану, и он узнал Шарафат. Сердце у него дрогнуло от тревожных предчувствий.

— Ну?... Что нужно?— спросил он, отступая в сторону.

— Я приехала забрать моего ребенка.

— Какого это вашего ребенка?

— А сколько их у меня?

Сидыкджан ядовито усмехнулся.

— А-а... Насибали, «щенка»? С каких это пор вы стали его называть своим ребенком?

Сидыкджан вдруг представил себе нежные ручки сынишки, так доверчиво обвинявшие теперь его шею. За последние недели он все больше и больше привязывался к ребенку и удивлялся, как это он мог его раньше оставить. А Шарафат все повышала голос:

— Что бы то ни было, я — мать!

— Вы что-то долго не вспоминали об этом. Не знаю, насколько дорог вам сейчас Насибали, но мне-то он дорог, очень дорог!

— Все равно я возьму его.

— А я не отдам! Я отец!

Шарафат ехидно засмеялась.

— Не бойтесь, вы думаете, мне алименты нужны? Не нужны они мне! Что пожалуете — и на том спасибо.

— Возьмите хоть вдвойне, только оставьте ребенка в покое. Я не отдам его, и не просите!

— Отдадите. Шариат заставит, закон.

— Я не признаю шариата, а если вы хотите обратиться к закону — обращайтесь. Тогда и поговорим.

Подошел Рузымат. Он слышал весь разговор и почувствовал, что нужно вмешаться.

— В чем дело, Сидыкджап-ака?

— Вот она приехала, чтобы отнять у меня Насибали,— ответил Сидыкджап.

— И отниму!— сказала Шарафат угрожающе.

Рузымат понял, что предотвратить скандал можно только ласковым словом, и он мягко сказал:

— Э, сестрица, не надо кричать тут, на улице, ночью! Завтра днем спокойно поговорите. Пойдемте к нам, у нас перепочуете, а завтра...

Сидыкджап, ни слова больше не говоря, повернулся и пошел прочь. Шарафат зло крикнула ему вслед:

— Я подаю на вас в суд! Ждите новости!

Сидыкджап ничего не ответил.

— Пойдемте, сестрица,— снова позвал Рузымат.

— Нет,— отказалась Шарафат,— не пойду к вам. Я у одних уже остановилась. А если вы такой добрый, проводите меня до махалли Кошчинар. Там я и сама найду...

Рузымат проводил ее до Кошчинара. Там она, уже одна, подошла к дому, где жил Абдусамад-кары.

Сидыкджап рассказал Капизяк о случившемся. Он был так уверен в своей правоте, что на все советы — поговорить с людьми, знающими законы, подумать, как и что говорить на суде,— только отшучивался.

Однако Капизяк смотрела на это дело серьезнее и, несмотря на нежелание Сидыкджана «поднимать шум», сама переговорила с людьми, сведущими в судебных делах. Она упросила Сидыкджана позвать в суд свидетелями в первую очередь Зиядахон и тетужку Авзират, а также других людей, которые знали всю историю первого появления Шарафат в Кошчинаре.

Примерно через неделю после этого состоялся суд. В этот день Сидыкджап, думая не столько о том, как ему выступать на суде, а как встретиться с Шарафат, приделался. Он надел желтые хромовые сапоги, шелковый летний халат, бороду побрил, усы закрутил торчком кверху. Потом взял из колхозной конюшни одного из лучших коней —

буланого жеребца с маленькой головой, длинным туловищем и лоснящимся крупом — и в сопровождении своих одиннадцати свидетелей выехал из Кошчинара.

В район они прибыли за два часа до открытия судебного заседания. Свидетели разошлись каждый по своим делам. Не зная, как провести время в ожидании, Сидыкджаң вошел в здание суда и сразу увидел в коридоре Шарафат. В старом ватном халате и желтом платье, повязанная черной шалью, она понуро сидела на подоконнике.

Сидыкджаң, проходя мимо, сделал вид, что не замечает ее, но она выпрямилась и зашипела:

— Чтоб тебе сдохнуть, проклятому! Ну, подожди же... Ты еще у меня обезьяной запрыгаешь!

Сидыкджаң остановился и насмешливо посмотрел на нее.

— Что же ты мне сделаешь, интересно?

— Вот увидишь!

— Нет, уж больше того, что ты мне сделала, не сделаешь. Ты, как червь, источила мою молодость, ты украла у меня лучшие годы жизни! Что ты еще можешь сделать?

— Я посажу тебя, — злобно ответила Шарафат. — Я скажу, что ты бил меня, что от твоих кулаков я стала большой. Скажу, что ты держал меня в рабстве, и я долго не знала о своих правах. И пусть тебя советский закон посадит в тюрьму!

— Вот как! Еще что выдумает?

— Скажу, что ты толкал меня на распутство...

Шарафат, видимо, хотела разозлить Сидыкджаңа, а когда он выйдет из себя и потеряет самообладание, поднять вопли. Сидыкджаң это понял и решил крепко держать себя в руках, что бы она ни говорила.

В конце коридора тихо открылась дверь. Шарафат с испуганным видом, словно Сидыкджаң собирался бить ее, рванулась с подоконника и ринулась навстречу появившейся на пороге старушке. Но та, не обращая на нее никакого внимания, постукивая палочкой, прошла мимо и, спросив у Сидыкджаңа, который час, двинулась дальше по коридору.

Эта выходка обозленной женщины окончательно убедила Сидыкджаңа в том, что Шарафат ищет повода для скандала. Решив, что разумнее всего держаться от нее подальше, он вышел на улицу, чтобы найти Зиядахон и рассказать ей о случившемся.

Судебное заседание по делу Сидыкджана и Шарафат началось ровно в двенадцать часов. Шарафат сидела на передней скамье, то и дело сморкаясь и всхлипывая. Когда Сидыкджан, отвечая на вопрос судьи, назвал одиннадцать свидетелей, готовых подтвердить его слова, Шарафат побледила, закусила кончик шали и уже дальше, в продолжение всего суда, не могла прийти в себя. На все вопросы судьи — не имеет ли она других претензий к своему бывшему мужу, она ответила: «Нет, ничего не имею... пусть только отдаст ребенка».

После короткого совещания с пародными заседателями в соседней комнате судья зачитал приговор, в силу которого Насибали должен был остаться у отца, Сидыкджана Сахибджанова, поскольку его бывшая жена Шарафат Зуннунходжаева ранее сама, без всяких принуждений, отказалась от ребенка, а теперь не смогла представить суду веских доказательств в пользу того, что у нее ребенок получит лучшее воспитание, чем у отца. На подачу кассации Шарафат Зуннунходжаевой давался срок в пятнадцать дней.

Сидыкджан был очень обеспокоен последним обстоятельством, и как ни старались Зиядахон и другие утешить его, доказывая, что областной суд оставит в силе решение парсуда, Сидыкджан не мог успокоиться.

Больше всего волновала его неизвестность. Он не понимал, что теперь движет поступками Шарафат. Когда-то она думала вернуть себе мужа и своему отцу дарового батрака. Но ведь за это время она могла убедиться, что он ни за что не вернется к прежней жизни. Чего же она хочет, может быть, действительно материнские чувства проснулись в ее сердце? Но какая она мать! Только испортит мальчишку!

Зиядахон, чтобы успокоить Сидыкджана, повела его в юридическую консультацию, к одному из лучших юристов.

Юрист, расспросив о всех подробностях дела и узнав решение парсуда, сказал:

— Чего же тут волноваться? Решение суда окончательное, а для отмены его, по-моему, нет никаких оснований.

У Сидыкджана отлегло от сердца.

Выйдя из консультации, Сидыкджан подержал коня, пока Зиядахон забиралась в седло; затем одним махом

вскочил на своего буланого. Легкой трусой они поехали рядом по широкой улице.

— А вы слышали новость?— сказала Зиядахон.

— Какую?— спросил Сидыкджан, подгоняя коня, чтобы не отстать от спутницы.

— Я тут встретила одного знакомого, и он мне сказал, что Зуншупа-ходжа раскулачили...

Помолчав с минуту, Сидыкджан медленно проговорил:

— Что ж, он получил по заслугам.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

Директор МТС удовлетворил просьбу старика Курбана — освободил его от работы в чайхане. Старик переселился в колхоз «Кошчинар», и правление, по рекомендации Урмайджана, назначило его заведующим красной чайханой.

К этому времени колхозники закончили первую окучку хлопка, и большинство из них было занято строительством. В кишлаке шла горячая работа.

Курбан-ата не отставал от людей. Он горячо принялся за оборудование зимней и летней чайханы, привлекая к себе в помощь всякого, кто казался ему мало-мальски свободным, да и все, к кому он обращался, сами старались помочь ему. Перед фасадом летнего помещения чайханы были разбиты цветочные клумбы, вырыт, обложен кирпичом и зацементирован большой водоем, а вокруг него устроены супы для сидения.

Агроном Ибрагимов, любивший по вечерам беседовать в чайхане с колхозниками, тоже не остался в долгу: благодаря его помощи вскоре на колышках и веревочках возле грядкой супы появились побеги и крупные листья плюща, а в клумбах подрос райхон, наполняя воздух ароматом, все вокруг зазеленело, зацвело, запылало разноцветными огоньками. Летняя чайхана стала красивым местом, где действительно было приятно отдохнуть после работы. Сквозь зелень саженцев отсюда виднелись необозримые поля, белая река и синие горы вдали. От канала, который проходил тут же рядом, даже в жаркие часы дня веяло прохладой.

Ибрагимов перенес сюда запятая агрономического кружка и привез все наглядные пособия: ящики с посевами хлопка, образцы хлопкового волокна, разные сорта хлопковых семян. Таблицы, диаграммы, плакаты заняли в чайхане целый угол.

Молодой учитель, приехавший на место Рахматуллы, тоже развернул в красной чайхане кипучую деятельность. Он организовал здесь библиотеку-читальню и поручил комсомольцам по очереди дежурить вечерами в красном уголке. Они познакомили посетителей с новыми книгами, читали им газеты, журналы. Сюда же учитель перенес и занятия вечерней школы для взрослых.

Молодые колхозники стали активистами красной чайханы. Благодаря им здесь начала выходить стенная газета, появились музыкальные инструменты, радиоприемник, шахматные доски. Один из комсомольцев, то ли подражая где-то виденному, то ли в порядке собственного изобретательского починка, с помощью бригадира строителей Тулягана устроил в чайхане своеобразную почтовую витрину. На длинном щите в заднем углу помещения он развесил почтовые ящички по числу букв алфавита: и почтальон не ходил по домам, а раскладывал письма по этим ящичкам. Районное почтовое отделение нашло это весьма удобным и впоследствии устроило такие же почтовые витрины и в других колхозах.

Урманджан смотрел на все это как на зародыши будущего клуба, большой колхозной библиотеки, опытной лаборатории, радиотелефонной станции — всего того, что должно быть в новом кишлаке, и всячески поощрял и поддерживал активность молодежи.

Курбан-ата работал, казалось, не зная усталости; все полезное, красивое, что он видел или о чем знал по рассказам, он старался перенести в свою чайхану. Одно не пришлось старику: новая улица, проложенная от чайханы, упиралась в небольшой холмик. Снести его не составляло никакого труда, но все дело заключалось в том, что на этом холмике были старые, заброшенные могилы. Когда-то давно здесь было кладбище. Вначале это дело казалось Курбану-ата не особенно сложным. Он считал, что, если кто-нибудь из стариков покажет пример и примется раскапывать холм, остальных не трудно будет склонить к тому же. Однако, поразмыслив и приглядевшись к пожилым людям, которые свято чтитли могилы своих предков, он убе-

дился, что перенести старое кладбище на новое место не такое уж простое дело. «Ставень раскапывать могилы,— думал Курбан-ата,— старухи будут выть и рвать на себе волосы, да и старики шум поднимут».

И он начал осторожно прощупывать настроенные старики. Но тем самым он раньше времени рассказывал о том, о чем не следовало говорить, пока не началось строительство домов по новой улице. Тогда сами жители, несомненно, потребовали бы от сельсовета сноса холма. Беседы заведующего чайханой со стариками вызвали в кишлаке разные толки о душах умерших, о загробной жизни, о светопреставлении и воскресении мертвых. Впрочем, обнаружилось и другое: многие, поразмыслив, поняли, что рано или поздно придется начинать это дело, и Курбан-ата нашел немало единомышленников даже среди стариков. Первым, кто обещал помочь ему в этом деле, был Абдусамад-кары.

Урманджан сначала сильно досадовал на то, что Курбан-ата, не посоветовавшись с ним, затеял свои беседы со стариками. Однако, когда заметил, что никого это особенно не взволновало, он даже обрадовался. Не понравилось ему только, что наиболее активным сторонником сноса старого кладбища оказался Абдусамад-кары, которого после беседы с Ахмедовым он считал одним из хитрых, пока еще не разоблаченных врагов. «Чего добивается этот пройдоха?— думал он.— Почуял ли свой близкий конец и хочет вповь показать себя сторонником нового или это ловкий шаг, предпринятый с целью вызвать раздражение среди фанатично настроенных людей?» Он посоветовался с Ибрагимовым, и тот решил на первой же беседе в чайхане, когда будет присутствовать Абдусамад-кары, поговорить о кладбище.

Ибрагимов выступал осторожно, больше спрашивал, не высказывая своего собственного мнения. Велико же было его удивление, когда встал Абдусамад-кары и решительно заявил:

— Чего тут думать, товарищ агроном? Вопрос ясен: в этом деле должен уступить не живой мертвому, а мертвый живому, не кишлак старому кладбищу, а кладбище новому кишлаку, и тот, кто не понимает этого, сам мертвец!

Это заявление вызвало сочувственный смех.

Урманджан весь день провел на фермах и вернулся домой очень поздно. Только он начал умываться, как в калитку постучали.

— Бутабай, ты? — спросил он и, не услышав ответа, крикнул: — Входи, не заперто!

Калитка распахнулась, торопливо, мелкими шажками вошел Абдусамад-кары и, приветствуя парторга и кланяясь, остановился у порога.

Он еле держался на ногах, словно прошел длинный путь и очень устал; лицо его осунулось, как у больного, при тусклом свете лампы оно казалось страшным.

— Не вовремя побеспокоил вас... — уныло проговорил он, сложив руки на животе и низко опустив голову.

— Ничего, входите, садитесь, — сказал Урманджан. — Когда есть дело, со временем не считаются.

Кары сел, не поднимая головы, пальцем провел по воспаленным векам, словно смахивая слезу, и звучно сглотнул слюну. Острый кадык его дернулся вверх и встал на место, из горла вырвался глухой, хриплый звук.

— Что это с вами? — спросил Урманджан, вытирая полотенцем лицо и руки. — Обидел кто?

Не отвечая, Абдусамад-кары вдруг ударил себя обеими руками по голове и, застояв, повалился к ногам парторга.

— Вы что, с ума сошли? Встаньте! — сказал Урманджан.

Но кары поднялся только на колени. Раскачиваясь из стороны в сторону, он ударился головой об стол и, выхватив из-за голенища сапога нож с костяной ручкой, сунул его в руку Урманджану; затем наклонил голову, подставляя жирную шею, и прохрипел:

— Бейте, Урманджан-ака, бейте!.. Пусть кровь моя потечет к вашим ногам!..

Урманджан швырнул нож на стол и, схватив Абдусамада-кары за руку, рванул его с пола.

— Встаньте, вам говорю! Что случилось?

Кары поднялся и опять, подобострастно сложив на животе руки, опустил голову. На бритом виске его от удара о стол выступил багровый кровоподтек.

— Говорить — язык не поворачивается, не говорить — сердце надрывается, — промолвил он плаксивым голо-

сом.— Вы, как только прибыли сюда, отвратили меня от всего дурного... Пристыдили перед людьми... Помогли стать человеком... А я, невзирая на всю вашу доброту, застал на вас злобу...

Урманджан заставил его сесть и сам сел напротив. Затем спросил:

— Так что вы сделали, затаив злобу?

— Когда ваши враги распростили с летнего исчет вас и Казизяк, я помог им, пошел навстречу: пустил слух, что вы, мол, живете с Зиядахон.

— Вот как! А я об этом ничего не слышал. С Зиядахон?

— С Зиядахон,— подтвердил кары.— Пустить-то пустил такой слух, но вспомнил вашу доброту ко мне и сильно раскаялся.

Урманджан еле сдерживался, чтобы не ударить Абдусамата-кары. Стараясь взять себя в руки, он помолчал немного, потом спросил:

— Только и всего?

— Да... Почему «только и всего»,— разве этого мало?— слезливым голосом проговорил кары.— Чем клеветать на такого человека, как вы, уж не лучше ли мне лечь в темную могилу!

— Ну ладно,— сухо сказал Урманджан.— Раз вы не совершили более серьезного преступления, пусть этот разговор останется между нами.

Абдусамат-кары встал, поклонился.

— Спасибо, от души спасибо, Урманджан-ака. Я хотел бы съездить в город делька на три, проветриться. Уж очень устал.

— Просите разрешения у Бутабая.

— Хорошо... Да, кстати, хотел еще вас спросить... Бутабай-ка затеял очень важное дело, которое никому не приходило в голову. Я очень одобряю, очень. О моем выступлении в чайхане, наверно, слышали? Я говорил с некоторыми стариками. Все, все согласны перенести могилы. Пусть Курбан-ата только начнет, а мы поможем. Если разрешите, как только вернусь из города, мы приступим к делу. Тянуть не стоит, потому что люди готовы. Я возьму себе в помощь стариков, и в пять-шесть почей мы все закончим. Раскапывать могилы лучше почью, потому что днем как-то неприглядно. Соберутся женщины, начнут плакать, причитать... людей оторвем от работы.

— Обо всем тоже договоритесь с Бутабаем,— сказал Урманджан.

Абдусамад-кары почтительно поклонился и вышел из комнаты, а Урманджан задумался: «О Зиядахон даже Ахмедов не упоминал. В самом деле, была сплетня и относительно нее или сам кары придумал это, стараясь показать, что сплетня насчет Канизяк была пущена не им? Если это второе верно, то я, пожалуй, держал себя не так, как следовало, и заставил мошенника насторожиться».

На другой день он поделился своими мыслями с Ибрагимовым, и тот вывел вполне определенное заключение: Абдусамад-кары не только встревожен, но и начал терять голову. «Действительно,— подумал Урманджан,— ничего глупее придумать было нельзя».

Курбан-ата, получив разрешение сельсовета на снос кладбища, собрал своих ровесников-стариков и стал советовать с ними, когда и как выполнить эту работу. По утверждению Абдусамада-кары, часть могил можно было раскопать немедленно, так как родственников похороненных там людей не оказалось. С остальными могилами кары советовал несколько обождать: в кишлаке нашлись древние старцы, утверждавшие, что в них похоронены их прадеды, и не желавшие тревожить прах своих предков. Это предложение было одобрено.

Старики работали ночью, им во всем помогал Абдусамад-кары. Однако работы, рассчитанные на пять-шесть почей, затянулись.

Как-то на рассвете постучали в окно к Урманджану. Он вышел и отпер калитку. В темноте послышался голос Самандарова:

— Такие дела, а он спит себе!

Урманджан пригласил его в комнату, зажег лампу.

— Все мирно, спокойно?— по старому обычаю приветствовал он почного гостя, протирая пальцами глаза.

Самандаров усмехнулся.

— Вот теперь уж будет спокойно.

— Что ты хочешь сказать?

— Проводил Абдусамада-кары, еду оттуда.

Урманджан сразу догадался, что кары арестован, и, окончательно проснувшись, спросил:

— Забрали? Сегодня?

— К сожалению, только сегодня... На кладбище твой Курбан-ата проследил за ним и обнаружил в могилах,

кроме покойников, кое-что другое... Восемнадцать пяти-врядных винтовок, тридцать одиннадцатизарядок, шесть берданок и три ящика патронов пытался Абдусамад-кары под покровом ночи перенести в другое место.

Урманджап вздрогнул.

— Оружие? Негодяй! Так вот он почему так набивался помогать старикам...

— Ночью на кладбище захватили еще двоих, — продолжал Самандаров. — Один — его свояк Джавдат Наим, другой — из Ходжа-кишлака. Этот показался мне знакомым. Как будто сын Мирхамида-ходжи. Лютый враг! Когда оружие грузили на арбу, он еще грозить вздумал: «Ладно, говорит, берите, понадобится — еще найдем...»

— Ну, этому-то, думаю, больше ничего не понадобится! — воскликнул Урманджап. — Только, должно быть, у нас тут мог действовать не один кары, наверно, были помощники.

— Об этом и речь.

— Сейчас ты иди спи, а я посижу за раскопками. Не обнаружится ли там еще что-нибудь?

Самандаров пожал руку парторгу и направился к своему коню.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

Три дня подряд лил дождь. Земляные крыши старых домов капсанчей пропитались водой. В кишлаке не осталось ни одного дома, где бы не протекало. Обрушилось много старых дувалов. В арыках, по улочкам и переулкам текла мутная вода.

После ужина Сидыкджап взял газету, однако не успел прочитать и половины статьи, как глаза у него начали слипаться. Он несколько раз качнул головой и громко раза два всхрапнул, но тут же проснулся от собственного храпа и сонными глазами испуганно посмотрел на Канизяк.

Канизяк, объяснявшая маленькому Хашимджану буквы по букварю, искоса взглянула на Сидыкджана и улыбнулась:

— Хорошо бы такую трещотку завести на винограднике — птиц отгонять!

Хашимджап захохотал.

Сидыкджан покраснел от смущения и взглянул в окно.
— Ну и напасть, льет и льет... будто у неба дно продырявилось.

— Да, работать в поле нельзя. А вас от безделья все время клонит ко сну?

— Я не спал, думал.

— Думали и храпели?

— У меня кошачий характер: когда спокойно на душе, или пою, или подремываю.

— И мурлычите при этом? Замечательный характер... А о чем вы думали?

— Да вот все о том, что вы говорили; не выходит из головы. Это я и сам заметил, что кусты хлопчатника по обочинам дороги разветвляются, но как-то не придавал этому значения. Почему это так? Вот об этом и думаю.

— Сколько бы мы с вами не думали, правильного объяснения не найдем. Давайте сходим к Рауфу-ака, расскажем ему о наших наблюдениях. Он объяснит.

— Пойдемте,— согласился Сидыкджан, хотя вставать ему очень не хотелось.

Он медленно поднялся и, опять заглянув в окно, сказал:

— Похоже, что дождь еще усилился. Все небо в тучах.

— Не сахарные, не растаем,— усмехнулась Канизяк.

— Это так, но... товарищ Ибрагимов, может, работает, придем — помешаем. Не лучше ли отложить до завтра?

Канизяк нахмурилась.

— Ну и неповоротливый же вы, Сидыкджан-ака! За чем откладывать?

Сидыкджан стал молча обуваться.

Собирался он медленно, неохотно, но совсем не потому, что на улице шел дождь или вопрос не интересовал его. Были и другие причины.

После того как Шарафат устроила скандал в доме тетушки Анзират, имена Сидыкджана и Канизяк стали часто упоминаться вместе. В колхозе люди смотрели на обоих, как на «пострадавших», обоим невольно сочувствовали, и это еще больше сблизило их.

Сама обстановка, в которой они жили в последнее время, тоже содействовала установлению между ними большей близости. Тетушка Анзират уехала в город навеситить свою дочь Кимсаной да и пропала, не давая о себе никаких вестей.

Жили они сначала по-прежнему: в разных хибарках в одном дворе. Но однажды Сидыкджан вернулся с работы очень усталым и за ужином заснул в хибарке Капизьяк. Она пожалела будить его, набросила на него одеяло, а сама, уложив детей, легла с ними. В другой раз, когда ночью поднялся сильный ветер и разыгралась буря с грозой и ливнем, Капизьяк сама попросила Сидыкджана за ужином: «Как страшно гудит ветер... Я боюсь, ложитесь здесь». И с тех пор Сидыкджан устроил себе постель в хибарке тетушки Анзират под окном, в другом конце ее находились постели Капизьяк, его сынишки Насибали и Хашимджана.

Все в колхозе привыкли видеть Сидыкджана и Канизяк постоянно вместе, да и сами они уже больше не боялись обнаружить перед людьми свою дружбу. Но вскоре кое-что изменилось.

Однажды председатель райисполкома Мавляпбеков привез в Кошчинар двух мужчин и одну девушку. Они побывали на строительстве новых домов, затем направились в Бакакуруллак, чтобы осмотреть водокачку, которая переоборудовалась в электростанцию. Один из мужчин был корреспондентом областной газеты, а другой — инженером. Мавляпбеков назвал инженера Федором Макаровичем. А девушка, как оказалось, окончила институт в Москве и теперь проходила практику под руководством Федора Макаровича.

Весть о том, что Мавляпбеков привез большого инженера, чтобы скорее закончить строительство электростанции, сразу же облетела весь кишлак. На площадку у водокачки в Бакакуруллаке собралось множество людей. Пришли сюда и Сидыкджан с Канизяк.

Сидыкджан с таким интересом смотрел на девушку-узбечку, которая стала инженером, что Канизяк тихонько толкнула его в бок и сказала:

— Что так уставились на нее, Сидыкджан-ака? Красивая, да?

Сидыкджан несколько растерялся, но тут же напелся и ответил:

— Она похожа на вас.

А у Капизьяк тоже невольно вырвалось:

— Тогда лучше смотрите на меня!

Вот с этого момента и появилось в их отношениях что-то новое: оно, может быть, существовало давно, но про-

явилось только сейчас. Они еще не решались даже самим себе признаться в этом, но уже ревниво следили друг за другом.

Как-то вечером, когда они вместе возвращались с поля, Канизяк решила зайти по пути к Ибрагимову. Сидыкджан посещал занятия агропомического кружка в красной чайхане, но на квартире агронома ему еще не приходилось бывать. Он первым вошел во двор и отшатнулся назад: большая рыжая собака, лежавшая возле калитки, вскочила на ноги и свирепо зарычала на него. Но едва Канизяк переступила порог калитки, как собака завиляла хвостом и, ласкаясь к молодой женщине, лизнула ей руку, а на Сидыкджана посмотрела равнодушно, словно хотела сказать: «Ну уж ладно, проходи, раз пришел с ней!» В сердце Сидыкджана вкралось какое-то смутное беспокойство, но причину этого он и сам ясно не осознал. Когда же он увидел, как весело шутила и смеялась Канизяк, разговаривая с молодым агрономом, он сразу помрачнел. Это уже была ревность, самая настоящая ревность.

Вот и сегодня, когда Канизяк предложила пойти к Ибрагимову, Сидыкджан согласился с каким-то смутным чувством. С одной стороны, ему интересно было узнать, как отнесется к их наблюдениям Ибрагимов; с другой — не нравились слишком частые посещения Канизяк квартиры агронома.

На этот раз у Ибрагимова было много народу. Едва Сидыкджан с Канизяк вошли во двор, как услышали громкий смех.

В комнате сидели Тешабай, Рузымат, Иргашбай, Камбар-али и несколько молодых женщин. Зиядахон сидела за столом, заваленным книгами, как видно, она читала что-то вслух. Канизяк прошла вперед и села на скамейку рядом с Тешабаем, а Сидыкджан примостился на сундуке возле Рузымата. Ибрагимов разъяснил вновь прибывшим:

— Слушаем рассказ о сотворении мира по корану.

Зиядахон читала:

— «...В один из небесных дней солнце, достигнув зенита, остановилось в ожидании, куда ему повелит бог повернуть и где опуститься за землю. Небесный чертог хранил молчание. Ангелы-хранители дремали на мягких, как вата, облаках и лениво позевывали. Некоторые, так же лениво помахивая крыльями, как тени, передвигались по небосклону. Исафилль, небрежно развалившись под

сенью «тайнственной завесы», следил за ангелами и мечтательно раздумывал: «Сделал бы всемогущий так, чтобы мы могли летать, не махая крыльями... или, еще лучше, чтобы место, куда тебе надо, само подлегло к тебе...»

Иргашбай прыснул со смеху.

— Оказывается, эти ангелы — лодыри, не хуже нашего лентяя Кутбитдина! — сказал он, обращаясь к своему соседу Тешабаю.

Все засмеялись: лень Кутбитдина была хорошо известна.

Зиядахон продолжала:

— «Но вот приподнялся край тайнственной завесы, и из покоев господина бога вышел архангел Гавриил. Вид у него был унылый, крылья обвисли, как у больной курицы. Исафиэль, никогда не видевший его в таком состоянии, поспешил к нему навстречу и стал вопрошать: «О Гавриил, что случилось? Почему у вас такой расстроенный вид?» Гавриил схватил кончик слегка колыхающегося белого облачка и, утирая им нос, уныло промолвил: «Творец, создавший небо и землю, решил сотворить человека, по имени Адам. Воля его такова, что мы должны будем поклониться Адаму». Эта весть в одно мгновение облетела весь небесный чертог. Ангелы вспорхнули, закружились, как пчелы возле разоренного улья. У всех на лицах была печаль. На следующий день господь бог приступил к осуществлению своего замысла. По его повелению Гавриил и Исафиэль спустились на землю и доставили целые порции сухой глины. Один из ангелов, оторвав кусочек черной тучи, выжал из нее на глину столько дождевых капель, сколько нужно было, чтобы глина размякла...»

В тексте было много старых, давно вышедших из употребления слов. Зиядахон читала рассказ с трудом и некоторые слова произносила неправильно или придавала фразам не тот смысл, который они имели. Поэтому Ибрагимов сам взялся читать, и в его чтении рассказ приобрел большую выразительность. Особенно заинтересовала нелепая сказка о том, как бог вылепил из глины фигуру человека и вдунул в нее душу, как один из ангелов, по имени Сатана, отказавшись поклониться человеку, произнес перед богом заносчивую речь и был низвергнут за это в ад, как Адам, лишь открыл глаза, потребовал себе жену, и бог вынужден был выломать у него ребро и создать ему Еву.

— Ловко, — сказал Сидыкджап, — а я и не заметил, что у меня ребра не хватает.

Слушатели покатались со смеху.

Закончив чтение, Ибрагимов вкратце рассказал и о том, как наука развеяла в прах религиозные басни о происхождении человека.

— Понятно я ответил на ваш вопрос или нет? — обратился он к своим слушателям.

— Очень понятно, — сказал Камбар-али, и все одобрительно закивали головами.

Ибрагимов добавил:

— Религия учит, что все совершается по воле бога. Вы знаете, что Чингиз-хан погубил двенадцать миллионов человек. Значит, если верить религии, это преступление Чингиз-хана против человечества не является преступлением, потому что ведь в таком случае выходит, что Чингиз-ханом руководила воля бога, а он сам тут ни при чем. Кто же из сознательных людей может всерьез говорить о сотворении мира по религиозным верованиям? Конечно, каждый мало-мальски грамотный человек его на смех поднимет... Еще у кого есть вопросы?

— У меня, — сказала Манзура. — Вот вы говорили об учении товарища Дарвина...

Рузымат, сидевший рядом с ней, тихонько подтолкнул ее локтем.

— Не товарища... Дарвин — английский ученый и давно умер.

Манзура, покраснев, посмотрела на Ибрагимова.

— Это правда, Рауф-ака? Но если он говорит правду, почему нельзя назвать его товарищем?

— Можно, можно, — улыбнулся Ибрагимов.

— Вот я и хочу спросить, — продолжала Манзура, — почему все правительства не разъясняют своим пародам учение Дарвина и не ведут пропаганду против религиозного обмана?

— Очень хороший вопрос! — похвалил Ибрагимов и объяснил, кому выгодно не давать народу научных знаний.

Тема беседы, казалось, была исчерпана. Поблагодарив агронома, слушатели разошлись по домам. А Сидыкджап с Канизяк остались поговорить по другому вопросу, на который мог правильно ответить им только агроном.

Канизяк, перелистывая какую-то толстую книгу, лежавшую на столе, спросила:

— Рауф-ака, когда же я стану такой, чтобы понимать вот такие книги?

— Это зависит от вас, Капизьяк,— ответил Ибрагимов.— Нужно изучать русский язык. И не только потому, что научных книг еще недостаточно на узбекском языке. Нас ведет вперед русская наука, и если вы хотите серьезно учиться, вам без русского языка не обойтись. Я уже думал над тем, чтобы организовать кружок по изучению русского языка. Комсомольцы очень настаивают. Если имеете желание, присоединяйтесь. Вам будет легче, ведь вы пемного говорите по-русски. Кстати, где вы научились?

— В Намангане. Там меня учила моя пазванная сестра — Надежда Павловна.

— Вы родом из Намангана?— спросил Ибрагимов.

— Нет, родилась я здесь,— ответила Капизьяк и задумчиво продолжала:— Надежда Павловна послала меня учиться в Ташкент, а я вот...”проезжала по этим местам, вспомнила свое детство и... сошла с поезда... А надо бы ехать мне дальше, надо было учиться... Но я буду учиться, Рауф-ака! Научите меня русскому языку так, чтобы я могла читать все русские книги... Сидыкджан-ака, вы будете учиться, правда?

— Буду,— не задумываясь, ответил Сидыкджан.

— Вот и хорошо! Будем учиться вместе... А теперь, Рауф-ака, помогите нам разобраться в одном вопросе,— обратилась Канизяк к агроному и рассказала о своих и Сидыкджана наблюдениях над разветвлением кустов хлопчатника, растущих по обочинам дорог.

Ибрагимов слушал с большим интересом, задавал обоим много вопросов и что-то записывал. Но Канизяк почувствовала, что вопрос, казавшийся очень важным, получился в ее рассказе таким маленьким, что из-за него, может быть, и не стоило особенно волноваться. Почувствовал это и Сидыкджан.

— Быть может, товарищ Ибрагимов,— сказал он,— то, что мы заметили, и не имеет никакой цены, но все же нам хотелось рассказать вам об этом.

У Ибрагимова весело сверкнули глаза.

— Ценно уже то, что вы обратили на это внимание. Я тоже кое-что знаю о ветвистом хлопчатнике. Что ж, будем вместе изучать и дополнять наши наблюдения, постараемся добраться до корня вопроса. Если сами не справимся с задачей, обратимся за советом к профессору Васильеву. Кстати, в ближайшие дни он приезжает в семеноводческий совхоз в Катартале. Получил от него письмо.

Агроном заговорил о создании опытной лаборатории по хлопководству как о необходимом звене среди мероприятий, направленных к повышению урожайности, говорил долго, с увлечением. После его речи наблюдения Сидыкджана и Канизяк приобрели в их глазах новое содержание, и они стали перебирать в памяти все интересное, что подмечено было ими на хлопковых полях.

Когда они собрались уходить, пришел Урманджан. Увидев их, он сказал, что ему нужно поговорить с Сидыкджаном, попросил его остаться. В этом не было ничего особенного: парторг часто беседовал с колхозниками, когда — открыто, когда — наедине. Канизяк ушла домой одна.

Урманджан сел к столу и, выбрав одну из лежащих там книг, протянул ее Сидыкджану.

— Читал это?

— Нет, Урманджан-ака, — ответил Сидыкджан, взглянув на название книги.

— Прочитай, хорошая книга. Узнаешь, что такое любовь.

— Мне кажется, — усмехнулся Ибрагимов, — товарищ Сидыкджан достаточно хорошо знает, что такое любовь.

— Конечно, знаю, — недовольно буркнул Сидыкджан. Ему этот разговор был не по душе.

— Ах, так? Ты знаешь? — засмеялся Урманджан. — А откуда ты знаешь? Ведь на Шарафат вроде как женился не по любви — пришлось жениться, а больше ты в жены никого не брал.

Сидыкджан совсем смутился. А Урманджан сказал серьезно:

— Ладно, сейчас увидим... У меня есть двое знакомых. Они оба, как бы это сказать, очень любезны друг с другом, я бы сказал даже, — преданы друг другу, работают вместе, бывают всюду вместе, живут под одной кровлей — одним словом, очень подходят друг к другу. Один из них — мо-

лодой мужчина, другая — молодая женщина... Как ты думаешь, любят они друг друга?

Сидыкджан понял Урмаджана, понял, на что он намекал, и, густо покраснев, ответил:

— Может, они просто так дружат.

— А что если они чуточку ревнуют друг друга?

Ибрагимов не раз замечал, что Сидыкджан ревнует Канизяк ко всем и особенно к нему самому, но не подозревал, что и Урмаджан знает об этом. Чувствуя, что будет мешать Урмаджану, он вышел в соседнюю комнатушку, где у него была маленькая лаборатория, и принялся за работу.

Сидыкджан молчал долго, наконец поднял голову и ответил:

— Будьте уж откровенны, Урмаджан-ака. Я же понимаю — вы говорите о нас с Канизяк. Но между нами ничего нет, клянусь вам. Ничего! А раз нет ничего, не может быть и ревности.

— О ревности потом поговорим. Я хочу сказать вот что: если между вами до сих пор ничего не было, так теперь должно быть. Что этому мешает? По-моему, только одно — отсутствие смелости. Канизяк стесняется первая сказать о своих чувствах. Понятно, она женщина. А ты... не знаю, что тебя удерживает. Теперь — насчет ревности... Нехорошо ревновать. Ревность может быть оскорбительна для любящего человека, если она ни на чем не основана. Мужчина и женщина должны уважать друг друга. И вот мне кажется, что Сидыкджан, который учился, учится жить по-новому и уже вступил на путь новой жизни, охвачен именно такой ревностью, которая может быть оскорбительной.

У Сидыкджана округлились глаза.

— Я же не ревновал Канизяк... Пусть у меня язык отвалится, если я сказал ей что-нибудь обидное!

— Подожди! — остановил его Урмаджан, подняв руку. — Я верю, что ты ничего оскорбительного Канизяк не говорил и не скажешь. Но когда тебя щекочет ревность, ты меняешься в лице. Я это замечал не раз. Помнишь, например, вчера, когда мы возвращались в арбе из района? Рузымат упрашивал Канизяк, чтобы она спела песню, а когда она не согласилась, легонько дернул ее за косу. Я тогда подумал, что ты бросишься на Рузымата с кулаками.

Сидыкджан невольно рассмеялся.

— Я не ревновал, а сердился... Нехорошо же держать женщину за косы!

— Нехорошо. Но если бы Рузымат дернул за косу другую женщину, хорошо это или нехорошо, ты уж, наверно, не волновался бы так. А Капизяк чуткая женщина, особенно к тебе. Она видит твое настроение и старается поступать так, чтобы не раздражать тебя... Чего уж там — буду с тобой откровенным. Вот что я заметил: раньше Капизяк на собраниях садилась где придется — с мужчинами так с мужчинами, а теперь уже нет — сидит только с женщинами. Когда мы выбирали ее на районный слет ударников, она поглядела на тебя так, словно спрашивала: «А как вы, Сидыкджан-ака, не против того, что я поеду одна с мужчинами?» Если ты не идешь на кружок, она тоже не является... А почему все это происходит с ней? Да потому, что она видит, что ты ревнуешь... Нельзя так, друг. Не забывай, что, когда ты женишься, такая ревность потянет тебя назад, к старому, а не к новому.

Сидыкджан глубоко вздохнул и опустил голову.

— Правильно, Урмаджан-ака, — сказал он, — все ваши слова правильны. Признаюсь, я виноват.

Урмаджан внимательно посмотрел на него и по выражению его лица понял, что он сказал это искренне.

— Может быть, не так уж виноват, потому что все это получалось у тебя бессознательно, — сказал он, улыбаясь. — Но это смешно. И со мной случалось нечто подобное... Не сейчас, так позже ты сам будешь смеяться над этим. Помню, как ты представлял себе ударников, когда тебе об одном ударнике сказали, что он, мол, съедает в один присест целого барана с головой и потрохами, ты этому поверил.

Сидыкджан смутился.

— В то время я делал только первый шаг в новый для меня мир.

— В этот новый мир все мы вступили впервые, — сказал Урмаджан. — Да, вступили с грязью прошлого на ногах. У одного ее больше, у другого меньше... Вот из-за этой грязи некоторые иногда оступаются и даже падают. Мы должны очистить свои ноги от грязи прошлого. И чем скорее очистим, тем быстрее пойдем вперед.

Сидыкджан шел домой несколько растерянный, сильно сконфуженный, по чем-то бесконечно довольный.

3

На следующий день Ибрагимов осмотрел кусты ветвистого хлопчатника, указавшие ему Канизяк и Сидыкджаном. Позднее, обойдя поля, он обнаружил еще немало таких кустов, особенно на третьем участке, где работала бригада Иргашбая, поставил возле них бирки и созвал заседание совета урожайности. Сделав краткое сообщение о последних открытиях, он перенес заседание совета на третий участок.

На заседании выявились две точки зрения по вопросу о ветвистом хлопчатнике. Тешабай, присоединяясь к мнению Ибрагимова, заявил, что необходимо добиваться того, чтобы растения больше ветвились. По его мнению, ветвистые кусты должны были дать больше коробочек, а следовательно, и больше хлопка. Закир-ата не оспаривал того, что коробочек будет больше, но доказывал, что сто коробочек, полученных в результате разветвления кустов хлопчатника, дадут меньше хлопка и менее длинное волокно, чем десять коробочек обычного, неразветвленного куста.

Вокруг этих двух мнений разгорелись споры. Члены совета урожайности разделились на две группы: каждая упорно отстаивала свою точку зрения. Закир-ата, ссылаясь на свой многолетний опыт, наговорил Тешабаю много колкостей. А Тешабай, указывая на то, что опыт, приобретенный в эпоху омача, уже не годится для эпохи трактора, назвал упрямство старика невежеством. Оба они горячились.

Члены совета урожайности так и разошлись, не придя ни к какому решению. Споры продолжались по домам, в чайхане, в кружках, на полях — везде, где только возникал вопрос о повышении урожайности хлопчатника. А Ибрагимов тем временем, узнав о приезде профессора Васильева в семеноводческий совхоз, упаковал три куста ветвистого хлопчатника и отправился с ними к нему.

Пока Ибрагимов рассказывал о результатах наблюдений над ветвистым хлопчатником, профессор задумчиво

рассаживал по комнате, а когда тот кончил, снова сел на стул и вскинул на лоб очки.

— Ну-с, еще что скажете?— спросил он и, схватив пальцами клинышек седой бородки, поглядел ясными глазами на молодого агронома — своего бывшего ученика.

— Все, профессор,— почтительно ответил Ибрагимов.

— Неправда, не все!— воскликнул Иван Петрович и подошел к Ибрагимову стакан с остывшим чаем.— Почему вы не сказали свое мнение? Бойтесь ошибиться?

Ибрагимов имел свое мнение и умолчал о нем только потому, что хотел послушать сначала своего учителя.

— Тогда разрешите, профессор,— снова заговорил он и коротко изложил свои выводы.— Первое: ответвления на кустах хлопчатника являются результатом поломки стеблей скотиной; это своего рода известная уже науке чеканка, только случайная. Второе: утверждение наших стариков, что ветвистый хлопчатник не получит из земли достаточного питания для созревания дополнительных корбочек, неосновательно, потому что в этом случае наука знает подкормку растений. И третье: необходимо приступить к проведению опытов.

Иван Петрович встал, быстрыми шагами прошелся по комнате и остановился перед Ибрагимовым.

— Верно, известно науке,— сказал он и снова сел на стул,— известно! Можно ответвлять, подкармливать. Ну, а что должен доказать тот опыт, который вы собираетесь проводить?

— Мы должны доказать, что чеканка стеблей хлопчатника дает возможность повысить урожайность.

— Это само собой разумеется,— кивнул головой профессор.— Но вы должны прежде всего ответить на вопрос: когда и в каких условиях чеканка хлопчатника дает лучшие результаты? Если принять во внимание, что те два момента, о которых вы упомянули, известны науке, то основная задача проводимого вами опыта — ответить именно на этот вопрос. Следовательно, начиная с сегодняшнего дня вам предстоит следующее, записывайте!

Ибрагимов раскрыл свой блокнот, и Иван Петрович продиктовал ему четкий план работы на первое время.

— Надо начать проведение опытов,— заключил профессор.— Вы сказали, что у людей появился зоркий взгляд, они стали замечать многое такое, на что раньше не обращали никакого внимания. Так вот, надо умело ис-

пользоваться этот зоркий взгляд колхозников. Не сомпеваюсь, что у вас найдутся энтузиасты этого дела. Например, Канизьяк, о которой вы говорили.

По возвращении в колхоз Ибрагимов, стараясь поскорее выполнить указания своего учителя, поставил вопрос о выделении опытного поля на участке Канизьяк, но Закир-ата решительно воспротивился этому. Ибрагимов пытался уговорить его, однако старик и слушать не хотел ни о каких опытных полях, и агроном вынужден был обратиться за содействием в правление.

Бутабай вызвал строптивного старика и предложил ему выделить опытное поле на любом участке, где только он сам пожелает. Но Закир-ата не уступил и ему.

— Снимем с бригадирства! — зашумел Бутабай.

— А я не дам себя снимать! Не уйду! — заявил упрямый старик, и председатель правления даже опешил.

Тогда вмешался Урманджан и мягко попросил старика объяснить, почему он не хотел, чтобы проводились опыты.

— Ненадежное дело, — сказал Закир-ата. — Я не могу разрешить уродовать хлопчатник. Дети и те знают, что такое хлопок: увидят на улице кучку орехов и хлопковые коробочки, они к хлопку сначала руки протянут.

— Правильно, отец, хорошо вы сказали, — улыбнулся Урманджан. — Только вот ведь какое дело. Вы говорите, что из всей этой затеи с ветвистым хлопчатником ничего не получится. Я этого не могу опровергнуть, потому что у меня никаких доказательств нет.

— Да, да, — заулыбался и Закир-ата, — доказательств нет.

— А вот агроном утверждает, что должно получиться. Но я и этого не могу опровергнуть, потому что ведь и против этого никаких доказательств нет. Не так ли?

— Так.

— Значит, кто же прав в этом вопросе — вы или агроном? Я не знаю, отец. Это можно выяснить только на опыте. Единоличное хозяйство, конечно, не могло пойти на такой рискованный шаг. Опасно было. А нам чего бояться? Мы в колхозе можем смело провести этот опыт, потому что крупному хозяйству доступно все, а мелкому — ничего. Должны ли мы воспользоваться преимуществом, которое дает нам крупное хозяйство? По-моему, должны, обязаны. А? Как вы думаете, Закир-ата?

Закир-ата начал как будто немного сдавать.

— А сколько надо выделить на это земли? — спросил он.

Оставив вопрос без ответа, Урманджан продолжал:

— Вот на днях придет сюда учитель Ибрагимов, профессор Иван Петрович. Он, я думаю, тоже будет говорить об опытном поле в первую очередь с вами и такими, как вы, опытными стариками...

Закир-ата торопливо прервал его:

— А Ибрагимов не говорил ученому человеку, что я против?

— Этого я не знаю, — улыбнулся Урманджан и подмигнул председателю правления.

— Это что же такое? — опять загремел Бутабай. — До каких же пор будут говорить, что у нас в колхозе есть люди, идущие против науки? Вот придет ученый человек. Спросит: «Где у вас опытное поле для науки?..» Закир-ата, — обратился он к старику, — что вы на это скажете?

Закир-ата сконфузился.

— Я не против науки. Ученье свет, неученье тьма, — это я хорошо знаю. Только...

— Хорошо знаешь, — подхватил Бутабай. — Нет, если бы хорошо знал, на палочке не прыгал бы! — напомнил он старику давнюю выходку, но Урманджан, подняв руку, остановил его и обратился к бригадиру:

— Кажется, вы хотели еще что-то сказать, Закир-ата?

— Хочу сказать, что Ибрагимов, — продолжал старик, — знающий человек, и хорошо знающий, но... молод! Молодой, а говорит так, будто бы у него за спиной семьдесят лет. Верно, иногда он и скажет... умное. А молод... Известно ведь: молодо — зелено. Вот и пельзя не перечить ему. Если б к его знаниям да седину...

Бутабай оглушительно расхохотался, а Урманджан, сам еле сдерживаясь от смеха, принялся объяснять старику:

— Закир-ата, агрономическая наука намного старше вас. Согласен — Ибрагимову не хватает лет, опыта. Но если учесть все, что он берет от науки, то окажется, что и седины у него больше, чем у любого аксакала, несмотря на молодость.

— И то правда, — согласился Закир-ата. — Разве я не

понимаю, что такое наука? Ладно, пусть делает, как знает. Дураку и наука впрок не идет, а наш Ибрагимов все-таки умный парень! — сказал он и, поднявшись со стула, направился к двери.

Урманджак, шутливо разговаривая с ним, проводил его до калитки.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1

При обсуждении вопроса о приеме бригадира строителей Тулягана в кандидаты партии Зиядахон напомнила собранию о его ссоре с Бутабаем в те времена, когда колхоз только что становился на ноги. Но Урманджак сказал:

— То, что было, прошло. Мы будем судить о человеке не по старым ошибкам, а по его внешним делам и поступкам.

А дела у Тулягана оказались такие, каких никто от него вначале и не ожидал. По его собственному признанию, он никогда в жизни не построил даже шалаша, а тут выдвинулся в бригады строителей, преодолел все трудности и вышел, можно сказать, на первое место среди колхозных бригадиров.

Трудно, очень трудно было Тулягану вначале. Правление приняло план строительства нового кишлака, общее собрание колхозников утвердило его. Но план есть только план. Средства у колхоза были весьма ограничены, строительные материалы отсутствовали, все колхозники круглый год были заняты на полевых и других работах, лошадей и волов приходилось добывать у Бутабая с боем, а главное — никакого опыта в строительном деле ни у кого не было.

Однако Туляган не унывал и трудностей не боялся. Они словно оттачивали его ум, развивали способности, изобретательность, поднимали энергию. Каждый день он приходил к Бутабаю с каким-нибудь новым предложением. По его совету, после раскорчевки зарослей часть леса сплавили по реке Аккул, и колхоз получил от этого неплохой доход. Доставка жженого кирпича со стороны отрывала от колхоза много тягловых средств и обходилась очень дорого. Туляган и тут обнаружил большую смекалку.

ку: он начал обжиг кирпича на месте, без специальных печей. Этот простой и удобный способ, позднее названный специалистами «методом капсапчей», переняли и другие колхозы. Видя энергию и способности Тулягана, колхозники стали прибавлять к его имени почтительное «уста».

Заядлый строитель, как называл его Урманджан, уста Туляган со всей душой занялся строительством нового колхозного кишлака и работал с таким напряжением, что не замечал ни времени, ни усталости. Когда он не чувствовал вокруг себя запаха глины и древесной стружки, беспоконная душа его, казалось, не находила себе места. Куда бы он ни приходил, с кем бы ни встречался, на каком бы собрании ни выступал, он говорил только о строительстве. Однажды из района приехал санитарный врач и прочитал лекцию о гигиене в повседневном быту. Уста Туляган и здесь задал вопрос, близкий к строительному делу.

— Правда ли, — спросил он, — что в Зимнем дворце царя не было вентиляции для освежения воздуха?

Врач с улыбкой посмотрел на него.

С некоторых пор бригадой строителей в Кошчинаре стали гордиться не только члены ее, но и все колхозники, и каждый из них, как только выпадало немного свободного времени, старался чем-нибудь помочь строителям. Поэтому строительство нового кишлака не прекращалось ни зимой, ни летом. Здание зимней и летней чайханы, детского сада, бани, распланировка улиц, проводка арыков, озеленение и посадка фруктовых деревьев — все это было готово раньше намеченного плана срока. А это дало возможность так же досрочно закончить строительство конторы правления колхоза, клуба и двенадцати жилых домов для колхозников. Контора правления и клуб должны были быть готовы только к маю будущего года, а постройку двенадцати домов предполагалось закончить лишь поздней осенью, однако строительная бригада уже в конце октября рапортовала правлению об окончании этого строительства.

Открытие колхозного клуба было назначено на пятое ноября в восемь часов вечера.

Здания правления колхоза и клуба были построены на южной стороне улицы, пролегающей вдоль канала, фасадом в сторону парка. Широкая площадь перед ними еще до наступления темноты стала наполняться народом.

Большой газокалильный фонарь, зажженный на площади, заливал ослепительным светом красные флаги, развешанные на четырех колоннах под порталом здания, головы и плечи людей, толпившихся на площади и на широких ступеньках, ведущих в клуб.

В половине восьмого открылись тяжелые двери, и колхозники хлынули в фойе, а затем через три двери — в большой зал, ярко освещенный таким же фонарем, как на площади. Фойе и зал еще не украсили как следует к завтрашнему торжественному заседанию, но сцена была уже убрана красными флагами, зеленью и лозунгами.

Ровно в восемь часов к столу президиума вышли члены правления колхоза во главе с Бутабаем, председатель сельсовета Самандаров и секретарь райкома Ахмедов вместе с какой-то русской женщиной, уже немолодой, с пышными седеющими волосами. Весь зал встретил их огульными рукоплесканиями.

Бутабай произнес краткое вступительное слово, открыл собрание и предоставил слово бригадиру строителей.

К трибуне вышел встреченный аплодисментами уста Туляган. Никто не ожидал от него длинной речи. Он должен был коротко рассказать о работе строительной бригады и зачитать поданный в правление рапорт об окончании строительства первоочередных объектов. Но, видимо, решив воспользоваться удобным случаем, он превратил свое выступление в целый доклад, начал с самой ранней истории строительства.

Председательствующий Бутабай, видя, что Туляган сел на своего конька и долго не слезет с него, вздохнул и решил не прерывать оратора, дать ему полную волю высказаться, тем более что все слушали очень внимательно.

Русская женщина, наклонившись к Ахмедову, что-то сказала ему шепотом. Ахмедов написал записку и передал Рузымату, сидевшему позади него, а тот сейчас же поднялся с места и вскоре появился в зале.

Канизьяк сидела рядом с Сидыкджаном и внимательно слушала выступление Тулягана. Когда Рузымат подошел к ней и сказал, что товарищ Ахмедов просит ее подняться на сцену, она покраснела и, машинально сунув в руки Сидыкджану свой головной платок, вышла из рядов. Через минуту среди кулис мелькнул подол ее красного платья.

Ахмедов, заметив Канизьяк, кивнул ей, чтобы она по-

дошла, и, когда та опустилась на стул рядом с ним, познакомил ее с русской женщиной.

— Корреспондент газеты «Известия», — шепнул он ей. Женщина протянула руку:

— Мария Федоровна Новикова.

Канизяк молча подала свою, но Ахмедов попросил назвать себя, и она сказала:

— Канизяк Фарманкулова.

Тем временем Туляган говорил о том, что правление не уделяет достаточного внимания строительству электростанции, подвигал еще ряд важных вопросов и, таким образом, все торжества открытия клуба свел к обычному собранию.

Ахмедов, слушая его речь, то и дело брался за карандаш и записывал что-то в свой блокнотик. Новикова, заметив это, спросила его:

— Будете выступать?

Ахмедов утвердительно кивнул головой:

— Обязательно.

Послушав еще немного оратора, Мария Федоровна поднялась и позвала Канизяк за собой.

Когда они вошли в одну из комнат за сценой, Новикова вывернула фитиль сорокакалорийной лампы, чтобы она горела поярче, и обратилась к своей повой знакомой:

— Привет вам от Ивана Петровича. Садитесь... Вы ведь знаете Ивана Петровича?

— Хорошо знаете, — ответила Канизяк по-русски, а когда Новикова поправила ее, отчетливо произнесла: — Я хорошо знаю Ивана Петровича.

— Иван Петрович, — продолжала Новикова, — пишет сейчас для нашей газеты статью об итогах опытов, проведенных у вас в колхозе. Я говорила по этому поводу с товарищем Ахмедовым. Он тоже считает ваши опыты крупным шагом вперед в агротехнике хлопчатника. Большую работу вы провели. Я представляла вас уже пожилой женщиной, а вы, оказывается, совсем еще молоденькая. Не расскажете ли мне о своей работе, о своей жизни?

Канизяк, с трудом вспоминая русские слова, жестами и знаками прося помощи у своей собеседницы, в трудных случаях примешивая и узбекские слова, сбивчиво стала рассказывать:

— Моя работа... Я звеньевая, бригадир Закир-ата... Социалистическое соревнование: надо было сдать один-

чадцать центнеров с гектара, сдали по четырнадцать. Будет еще по два центнера, коробочки раскрылись еще во все... Учусь. В моем звене все учатся. Недавно начали учить русский язык... Живу в доме тетушки Анзират... Имею пятьсот трудодней. Говорят, получу много денег.

Новикова, быстро отметив что-то в записной книжке, спросила:

— А что вы думаете делать с заработанными деньгами?

Канизьяк ответила задумчиво:

— Хотела съездить в Москву... Увидеть Кремль, Мавзолей Ленища...

Немного помолчав, Новикова перелистала свою книжечку и сказала:

— Товарищ Ахмедов рассказывал мне про вас. Я знаю, что родились вы здесь, что родители ваши умерли, а выросли вы в Намангане. Может быть, расскажете мне, как вы жили до того, как приехали сюда.

— В Намангане у меня была названная сестра — Надежда Павловна, — начала рассказывать Канизьяк. — Вот из-за нее я оказалась здесь.

— А кто она и почему из-за нее?

— Она следователь. Я жила у нее три года, училась. Потом она послала меня учиться в Ташкент. Но я на станции Яккатут слезла с поезда и пришла сюда. Здесь и осталась.

— А как вы познакомились с Надеждой Павловной и почему она стала вам названной сестрой?

До сих пор Канизьяк, сидя с опущенной головой, отвечала на вопросы быстро, не задумываясь, и ей мешало говорить только недостаточное знание русского языка. Теперь она подняла голову и молча посмотрела на Новикову: видимо, ей не хотелось отвечать на вопрос. Новикова сначала не обратила внимания на замешательство своей собеседницы, а заметив перемену в ее настроении, удивилась и опять спросила о Надежде Павловне. Канизьяк снова потупила глаза и, помолчав, тихо сказала:

— Спросите о другом.

Новикова, видя, что ей не хочется говорить о своем прошлом, не стала на этом настаивать.

Между тем собрание кончилось, из зала послышались громкие рукоплескания, гул голосов. Дверь комнаты рас-

пахнулась, и в ней показался Ахмедов, а вслед за ним вошли Бутабай, Урмаджан, Ибрагимов и Закир-ата.

Ахмедов был очень весел.

— Вот это торжество! — сказал он, обращаясь к Новиковой. — Представьте, наше торжественное собрание вдруг превратилось в деловое, с критикой и самокритикой. По докладу уста Тулягана выступила девять человек, не считая меня. Значит, народ думает так: что завоевано — это наше, оно никому не убежит, а лучше говорить о том, что еще пужно завоевать... Ну, а вы как, Мария Федоровна, закончили вашу беседу?

— Нет, — ответила, улыбаясь, Новикова, — наша беседа, кажется, только начинается.

Ахмедов взглянул на часы.

— Тогда условимся так, Мария Федоровна. Я сейчас уезжаю в Найман и заеду за вами в час ночи. Хорошо?

— Товарищ Ахмедов, — вмешался Урмаджан, — завтра у нас будет уже настоящее торжественное собрание. Пусть Мария Федоровна остается, и мы сами доставим ее в район, когда она захочет. Доклад о годовщине Октябрьской революции у нас делает на этот раз женщина, наша Зиядахон. Будем премировать лучших ударников. А в концерте выступит колхозный музыкально-вокальный кружок.

Новикова с удовольствием приняла приглашение.

— погоди, — вмешался в разговор Закир-ата, — ты сказал насчет премирования, так вот я вспомнил... Дать новые дома ударникам — это, конечно, правильно. А что если один домик передать тетушке Анзират? Сын ее вот уже сколько лет служит в Красной Армии. Теперь, говорят, стал командиром. Он ведь тоже трудится для народа, а может, и в битву пойдет за родину... Это я в порядке совета, конечно.

Ахмедов обменялся быстрым взглядом с Урмаджаном. Ибрагимов перевел Новиковой слова старика, и та с живым любопытством посмотрела на него.

— Хорошо, отец, хорошо, — сказал Урмаджан, — обсудим на правлении.

Все вышли провожать секретаря райкома. После его отъезда Бутабай пригласил всех к себе домой на ужин. Закир-ата начал было отказываться, но Новикова настойчиво попросила старика присоединиться к компании. Она

хотела поговорить с ним и за ужином забросала его вопросами. Как выяснилось, Закир-ата у князя, бывшего владельца водокачек, был когда-то псарем. Рассказав об этом, старик и сам удивился:

— Гляди-ка, за собаками ухаживал! Стыда, что ли, в себе тогда не имел?

После ужина Канизяк проводила Марию Федоровну в один из новых домов, где для нее была приготовлена комната.

2

В комнате стояли две кровати, покрытые новыми ватными одеялами, между ними — столик под висючей лампой с шелковым абажуром.

— Пожалуйте, Мария Федоровна, — сказала Канизяк, входя в комнату.

Новикова, кладя на стол свою шляпу и сумочку, заметила:

— Не Федоровна, а Федоровна, не «п», а «ф».

Канизяк поправилась, но в ту же минуту сделала новую ошибку. Спрашивая, когда можно будет прочитать в газете статью Ивана Петровича, она сказала: «Ивана Федоровича». Но тут же сама сообразила, что допустила ошибку, и, застыдившись, обняла Новикову за талию.

— Когда вы приедете в следующий раз, я буду говорить по-русски без ошибок, — сказала Канизяк.

Мария Федоровна ласково взглянула на нее.

— Вы очень сметливая, и, мне кажется, у вас хорошие способности к языку. Вот сегодня вы переняли от меня несколько новых слов и уже пользуетесь ими в разговоре. Так вы очень быстро научитесь говорить по-русски без ошибок. А учились вы сначала, вероятно, у той самой Надежды Павловны? Извините, вы можете не отвечать на этот вопрос...

— Нет, почему же? Да, у нее я немного научилась русскому языку, — спокойно сказала Канизяк и спросила: — Вы обиделись на меня, когда я не ответила вам сегодня в клубе?

— Не я, а вы, как мне показалось, обиделись на меня за то, что я так настойчиво расспрашивала вас о прошлом.

— Нет, ападжан, не думайте ничего плохого. Я вам скажу, как мы встретились с Надеждой Павловной. Она

была следователь, а я тогда попала под суд. Меня обвинили в убийстве человека.

— В убийстве?

— Да.

— Это что же, была клевета?

— Да, меня оклеветали.

— Сколько же вам было тогда лет?

— Тринадцать.

— Какой ужас!

— Нет, ападжан, ужас был раньше... Эх, знала бы я говорить по-русски лучше, я рассказала бы вам...

— Ничего, ничего, рассказывайте,— подбодрила ее Новикова,— я вас очень хорошо понимаю.

— Да, вы хорошо понимаете, хотя я говорю плохо. Надежда Павловна была такая же...— задумчиво проговорила Капизяк.

А потом, с трудом находя нужные слова, медленно рассказала свою грустную повесть.

Капизяк была еще маленькой девочкой, когда на кишлак напали басмачи. Произошел бой, ее родители погибли во время резни. Басмачи жгли дома, и сгорел дом ее родителей. Маленькую девочку приютил местный бай Саид-Насыр, а немного времени спустя отдал ее своему родственнику, и тот отвез ее в город Скобелев. Это был богатый вдовец с четырьмя дочерьми. В доме была еще служанка, которая ухаживала за девочками. Временами Капизяк плакала, тоскуя по родителям, но жилось ей не плохо. Человека, который ее приютил, она стала, как и все девочки, называть «отцом»... Так прошло три-четыре года.

Как-то зимой, когда вся земля была белой от снега, служанка умыла, причесала, принарядила девочек и вывела их в мехманхану. Там за сандалом, накинув на плечи теплый халат, сидел высокий толстый старик с мохнатыми бровями и длинной бородой с проседью. Бай усадил девочек за сандал. Старик, пошутив с ними, преподнес им подарки: одной — чангкауз, другой — губную гармошку, третьей — браслет, четвертой — серьги, а Капизяк — серебряное украшение на шею. Девочки, поблагодарив старика, ушли. Вечером бай позвал Капизяк к себе в комнату и сказал ей: «Отец твой, оказывается, жив. Если хочешь довидаться с ним, я отправлю тебя с этим стариком к нему. Он живет в Намангане».

Канизяк от волнения за всю долгую зимнюю ночь не сомкнула глаз. А утром она увидела подъехавшую к дому извозчицью коляску и, боясь, что старик не повезет ее в Намаган к родителям, подбежала к нему и повисла на шее, плача и упрасивая его... Старик засмеялся и усадил в коляску. Через полчаса они приехали на вокзал, сели в поезд. На другой день были уже в Намагане.

Как только старик привез девочку к себе домой, из множества комнат, расположенных по обеим сторонам двора, высыпали молодые женщины. Обратившись к ним, он сказал: «Вот я привез вам канизяк».

Сердце девочки охватила тревога. «Почему он так говорит? — со страхом подумала она. — А где же мои родители?» Только потом узнала она, что старик обманул ее. Она хотела бежать, но куда убежишь? У старика было четыре жены и несколько наложниц. Девочка прислуживала им всем, и они пазывали ее «канизяк».

— Значит, это они вас так прозвали, а настоящее ваше имя другое? — спросила Новикова.

— Мое настоящее имя — Ханифа, — грустно ответила девушка.

— Вот как! А я удивилась, услышав такое имя. Никогда не встречала у узбеков такого. Слово «канизяк» я встречала в сказках «Тысяча и одна ночь». Но там оно имеет вполне определенное значение — невольница, рабыня.

— Не знаю, что значит это слово, — тяжело вздохнув, проговорила Канизяк. — Может, и так. Да и в самом деле так было...

Когда девочке исполнилось одиннадцать лет, старик велел падеть на нее паранджу. После этого Канизяк отвели отдельную комнату и сказали: «Теперь ты уже взрослая, учишься содержать свой дом». С этого времени она была освобождена от обязанности прислуживать другим женам старика.

Прошло еще несколько месяцев. Однажды старшая жена повела девочку в баню. Вечером в тот же день пришел мулла и с ним еще несколько человек. Был приготовлен плов и разное угощение. С наступлением темноты две старухи надели на Канизяк нарядные одежды и, введя ее в комнату одной из молодых жён старика, усадили возле приоткрытой двери. Вскоре по ту сторону двери послышался голос муллы, читавшего параспев тексты из

корана. Закончив чтение, мулла повторил трижды какое-то слово. Старухи с обеих сторон толкнули Кашизяк в бока и прошипели: «Скажи: да». Не понимая, что происходит, Кашизяк повторила «да». Из-за двери тотчас же отозвались голоса: «Слышали! Слышали!»

Так был совершен брачный обряд, и Кашизяк стала одной из жен старика, но поняла она это позже.

— Какой ужас!— с возмущением проговорила Новикова.

Кашизяк сидела перед ней, подперев щеку ладонью и грустно улыбаясь.

— Нет, Мария Федоровна,— сказала она,— в те времена это было обыкновенное дело. Что вы называете ужасом? То, что одиннадцатилетнюю девочку сделали женой старика? Или то, что я сама не чувствовала, что мне грозит? Вы думаете, что я очутилась в таком положении потому, что была сиротой? В те времена такая участь ждала многих девушек, даже имевших любящих родителей.

Кинул меня, как траву, отец,
Продал меня, как айву, отец.
Юную выдав за старца седого.
Знал ли, что в муках живу, отец?

Надо ль кумгану стоять на огне,
Если не надо вскипать на огне?
Юную выдав за старца седого,
Счастья они не создали мне.

Раз посадив, поливают цветок,
Каждый его охраняют листок.
Что ж меня отдали старцу седому?
Разве мне сверстник найтись бы не мог?—

тихо пропела Кашизяк, поблескивая влажными темными глазами, и, передохнув, пояснила:— Не я эту песню сочинила, и не я одна ее пела. Эх, Мария-апа, из таких песен можно составить большую книгу.

Некоторое время Канизяк даже сама не знала, что она замужем. Но однажды ночью внезапно открылась дверь ее комнаты, и вошел старик, накрытый с головой большим белым покрывалом...

Когда Мария Федоровна в клубе спросила ее: «А как вы познакомились с Надеждой Павловной», перед ее глазами сразу встало все это: белый халат, лоснящаяся бритая голова, брови, похожие на шерстяную веревку, широкая, как торба, борода, рот, подобный рваной дыре в овчине, два желтых клыка... и вся та ужасная почь. Чего только не приходится испытать человеку, чего не пережить, — все рано или поздно притуляется или совсем уходит из памяти, но ту ночь Канизяк не могла забыть. После нее она три недели лежала больной, а когда выздоровела, жалела, что не умерла.

Так прошло два мучительных года.

Пришла весна. Как-то старик сидел на супе в теги и попивал бузу. Вдруг он откинулся назад, выкатив глаза, упал на спину и, дернув раза два подбородком, замер. Старшая жена выбежала из своей комнаты и, упав на труп, начала громко причитать. Выбежали другие жены. Все они были истошными голосами и рвали на себе волосы, одна только Канизяк, одолев от страха, молча стояла в стороне. Собрались соседи. Старшая жена внезапно крикнула: «Она — убийца!» — и, бросившись на Канизяк, ударила ее ногой в живот. У Канизяк помутилось в глазах, и она упала, теряя сознание. А очнувшись, увидела себя на извозничьей пролетке рядом с милиционером.

Допрашивала ее та самая Надежда Павловна. Она очень хорошо говорила по-узбекски, и Канизяк со слезами на глазах рассказала ей все, что пережила. На следующий день она уже была на квартире Надежды Павловны, а с осени стала учиться в женском интернате. В дни отдыха девочки уходили из общежития к своим родителям или родственникам, а Канизяк шла к Надежде Павловне. Молодая русская женщина стала ей близким человеком, назвавшей сестрой.

А позднее та же Надежда Павловна решила отправить Канизяк учиться в Ташкент, одела ее во все новое, дала на дорогу денег, Канизяк вначале обрадовалась возможности получить образование, но что-то пугало ее в далеком незнакомом Ташкенте. И, доехав до Яккатута, она сошла с поезда и направилась в кипляк Капсанчи, будто

там кто ждал ее. Родной кишлак она узнала, но не могла найти то место, где стоял когда-то родной дом.

— У вас не было здесь родственников?— спросила Новикова.

— Нет. Мы ведь прибыли сюда из Бувайды. Я помню: моя мать вышла замуж за одного из капсапчей, по имени Фарманкул, а были у него тут родственники или нет, я не знала.

— Фарманкулова, значит, не постоянная ваша фамилия?

— Я не знаю имени своего отца. Звали его не то Курбан, не то Усмап, точно не знаю. Только в детстве я слышала эти имена. Бабушка моя говорила о них...

— А вы рассказали бы здесь о себе, тогда, может быть, нашлись бы и родственники.

Канизяк грустно улыбнулась.

— Э, ападжан, мне казалось, что история моего замужества, смерть старика, суд надо мной известны всему миру и что от меня сразу же все отвернутся.

Канизяк ушла из родного кишлака в Бишсерку и поступила на работу в совхоз. Два года работала она там, но ее все время тянуло в Капсапчи. Наконец она не выдержала и, взяв расчет в совхозе, снова отправилась туда. Это было как раз то время, когда в кишлаке капсапчей организовался колхоз. Так и осталась здесь Канизяк. А Надежду Павловну она потеряла из виду. Вначале стыдно было писать ей, а когда написала, Надежды Павловны в Намангане уже не оказалось — письмо вернулось обратно.

— Вот и все,— закончила Канизяк свой рассказ.— Оторвала вас от сна, Мария Федоровна. Никому не рассказывала об этом, а теперь рассказала вам, и на сердце стало как-то легче... Потушить лампу?

— Да, заговорились мы с вами. Уже очень поздно, давно пора спать. Убавьте немного свет,— сказала Новикова,— и ложитесь.

Канизяк прикрутила фитиль лампы и легла на соседней кровати.

Проснувшись она, когда в комнате уже играли солнечные лучи. Мария Федоровна сидела за столиком и что-то быстро писала. Чтобы не мешать ей, Канизяк тихонько оделась и вышла во двор.

Курбан-ата стоял возле террасы и раздувал самовар.

1

От множества красных флажков и флагов, развешанных повсюду — над покосившимися калитками и камышово-земляными крышами старого кишлака Капсанчи, над расположенными в центре нового кишлака зданиями школы, клуба, правления колхоза, детского сада и особенно чайханы, над построенными и строящимися по вновь проложенным улицам жилыми домами, — весь кишлак принял вид огромного цветущего поля, усеянного ярко-красными тюльпанами.

К вечеру с трех сторон — из Кошчинара, Кугазара и Бакакуруллака — потянулось к центру множество нарядно одетых людей.

Новикова целый день бегала по старому и новому кишлаку, заходила в дома, беседовала с людьми, но не чувствовала усталости. Она быстро переходила с места на место на площади перед клубом, делая фотоснимки. Вступающие на площадь и входящие в клуб колхозники, танцующие в кругу юноши и девушки, аплодирующие им старухи и старики, досрочно выполнившие план хлопкодачи бригады и лучшие ударники, ребяташки с красными флажками — все самое яркое, самое праздничное и радостное попало в объектив аппарата Новиковой.

Входные двери клуба широко распахнуты. У входа стоит Нишамбай. Он останавливает каждого входящего и вежливо предлагает вытереть ноги; иногда, по ошибке, останавливает и тех, кто выходит из клуба.

По стенам фойе, вокруг зала, развешаны лозунги и плакаты, диаграммы роста хозяйства колхоза, показатели выполнения договоров социалистического соревнования между звеньями и бригадами, красочные эскизы парка, общественных зданий и новых домов кишлака Кошчинар. На самом видном месте, у входа в зал, вывешен праздничный номер степной газеты с портретами передовых людей колхоза. По другую сторону входа, на витрине, выставлены новые журналы и книги.

В зале над сценой поблескивает красным лаком звезда; от нее веером в обе стороны расходятся флажки и знамена. Ниже на красном полотнище белеют буквы и

цифры лозунга в честь великой годовщины; от него по бокам сцены свешиваются транспаранты с цитатами из высказываний Владимира Ильича Ленина. В глубине сцены — большие, украшенные гирляндами зелени и цветами портреты Ленина, Калинина, Ахунбабаева. На переднем плане большой, во всю сцену, стол президиума, затянутый красной материей. По всему столу расставлены обернутые розовой бумагой глиняные горшочки с живыми цветами.

Колхозники неторопливо входили в зал и занимали места.

Канизяк с Новиковой направились в первые ряды. Но не успели они сесть, как из-за темно-зеленой кулисы выглянул Ибрагимов и знаками позвал их на сцену.

В большой комнате за сценой уже собрались члены правления колхоза и лучшие ударники.

Внимание Новиковой привлекла Зиядахон. Она то перелистывала свой блокнот в синей обложке, то перекладывала его из одного кармана в другой, и, хотя разговаривала с окружающими, видно было, что все ее мысли об этом блокноте. Побледневшее лицо ее ясно выдавало, что она волнуется перед докладом. Ибрагимов подозвал Новикову и предложил ей сесть рядом с ним. Тут же сидел Бутабай, он показал ей список ударников, которые премировались новыми домами. Новикова стала переписывать фамилии в свой блокнот и, когда дошла до Канизяк, спросила:

— Товарищ Бутабай, а вы знаете, что означает слово «канизяк»?

Бутабай не мог ответить на этот вопрос и призвал на помощь Ибрагимова. Но и тот не знал точного значения этого слова. В этот момент вошел Курбан-ата с чашками чая на огромном подносе. Услышав, о чем идет разговор, он поставил поднос на стол и обратился к агроному:

— Разве вам, сын мой, никогда не приходилось слышать сказку о Далле и Мухтаре? Одна хитрая женщина по имени Далля продает купцу каниз, украденную у Харуп аль-Рашида. Купцу же она солгала, что каниз досталась ей по наследству от мужа. Вот и выходит, что канизяк — это девушка или женщина, которую можно купить и продать.

— Значит, я правильно угадала, — сказала Новикова, — это рабыня.

Канизьяк сидела в стороне и не принимала участия в разговоре. Но она поняла, что речь идет о ней, и, сдвинув брови, сердито взглянула на Марию Федоровну. Та в ответ кивнула головой и дала понять ей ласковым взглядом, что тайна не будет выдана.

— Но как же вы могли угадать, Мария Федоровна? — спросил Ибрагимов.

— А я тоже знаю одну из сказок «Тысячи и одной ночи», где слово «канизьяк» употребляется в смысле рабыни, невольница, — ответила Новикова и обратилась к Бутабаю: — Как видите, нехорошее имя. Для передовой ударницы совсем не годится. Я бы на вашем месте внесла сегодня такое предложение: премирывать Канизьяк не только новым домом, но и новым именем — дать ей имя «Ханифа».

— Очень хорошее предложение и имя хорошее, — загудел Бутабай и, взглянув на смущенную Канизьяк, нарочно еще громче сказал: — Вот как закончим уборочную, премируем ее еще хорошей свадьбой, Мария Федоровна. Тогда уж заодно запишем ей в загсе и новое имя.

Раздался звонок.

Члены президиума вышли на сцену и под аплодисменты заняли места за красным столом. Самадаров, открыв торжественное собрание, поздравил колхозников с наступающим великим праздником Октябрьской революции и, как только затихли аплодисменты, объявил:

— Слово для доклада имеет товарищ Зиядахон.

Зиядахон сильно побледнела, однако, стараясь не обнаруживать свою робость, твердыми шагами прошла к трибуне и, раскрыв блокнот дрожащими пальцами, оглянула зал.

В зале стояла тишина. Кто-то тихо кашлянул, и этот тихий кашель, прозвучавший так неожиданно громко, привел Зиядахон в замешательство. Почувствовав, что внимание сотен людей сосредоточено на ней, что все с напряжением ждут ее слова, она совсем растерялась. Прошло несколько секунд, показавшихся ей минутами, а она стояла и смотрела в зал, не в силах начать речь.

Урманджан, заметив, что она сильно взволнована и никак не может начать свой доклад, палил из графина стакан воды и, ставя его на край трибуны, тихо шепнул ей: «Когда тут стесняться! Все свои — капсанчи!»

И Зиядахон, точно это и было то слово, которое она искала и никак не могла найти, сразу начала свою речь:

— Товарищи капсанчи... бывшие капсанчи! — поправилась она. — Товарищи колхозники!.. — Почти половину своего доклада она собиралась посвятить сущности и всемирно-историческому значению Великой Октябрьской социалистической революции, а затем, рассказав о победе колхозного строя, остановиться на успехах, достигнутых колхозом «Кюшчинар». Однако обращение «Товарищи капсанчи» увело ее в сторону.

— ...Сегодня мы празднуем годовщину дня, когда впервые над нашим кишлаком — кишлаком несчастных, обездоленных, рабски эксплуатируемых капсанчей — поднялось и засияло второе солнце, солнце Великого Октября. Это солнце осветило нам путь в другую, светлую, свободную и счастливую жизнь, где нет угнетения и эксплуатации человека человеком...

Речь ее полилась легко и свободно. Да, заговорив о прошлом, настоящем и будущем капсанчей, Зиядахон и не нуждалась ни в каких тезисах. И бывшие капсанчи, затаив дыхание, с волнением слушали ее речь, — это она о них говорила, о их борьбе за новую жизнь, о их трудовых подвигах на строительстве канала, на хлопковых полях, на стройках нового «Кюшчинара». Они шумно рукоплескали ей, из рядов то и дело слышалось:

— Верное слово, товарищ Зиядахон! Правильно!

Больше часа говорила Зиядахон. Когда она закончила свой доклад благодарностью великой большевистской партии, все поднялись и подкрепили эти слова горячими, дружными рукоплесканиями.

Постановление правления о премировании лучших ударников должен был прочитать бригадир Каримов. Но успел он еще дойти до трибуны, как из первого ряда на стол президиума бросили записку. Самандаров развернул ее и прочел:

«Сын мой Урмаджан!

Я хочу сказать несколько слов в дополнение к докладу Зиядахон.

Твой Курбан-ата».

Самандаров усмехнулся в усы и передал записку Урмаджану, а тот, прочитав ее, показал Новиковой и кив-

жул головой па старика; Курбан-ата, вытянув шею, нетерпеливо глядел на сцену из пятого ряда.

— Интересно, что хочет добавить этот старик к докладу?— спросила Новикова.

— Не знаю,— ответил Урманджан.— Хотите, вызову его?

Новикова кивнула головой, и Урманджан дал знак старику, чтобы он прошел за сцену.

Курбан-ата сразу встал, вышел из ряда и, прихрамывая, быстрыми шагами направился в боковой проход. В комнате за сценой его ждали Урманджан и Новикова.

— Ну, отец,— спросил Урманджан, придвигая старику стул,— что у вас за дополнение к докладу? Разве вам доклад не понравился?

Курбан-ата сел, задумчиво провел рукой по столу, смахивая соринку, затем проговорил взволнованно:

— Поправился, но я тоже хочу говорить. Сердце переполнено, сынок, не могу молчать...— Голос его дрогнул, на глазах показались слезы.— Дайте излить перед народом мою печаль! Она слоями лежит у меня на сердце.

— Э, отец, разве можно плакать в такой великий день, когда у всех радость на сердце! Что за печаль у вас? Что за горе?

Курбан-ата сразу овладел собой.

— Зиядахон,— стал он объяснить,— еще молода. Она только поцаслышке знает о прошлом калсанчей. Я хочу рассказать, что я сам испытал при князе, при ишпане Абдуваккасе, юзбаши и элликбаши, что пережил, когда погубили моего старшего брата и обрекли мою мать на вечные страдания.

— Верно, следует рассказать. Я вас понимаю,— сказал Урманджан,— погибших поминуют в дни больших праздников. Но, отец, будет ли удобно говорить об этом сейчас? Слышите, как люди рукоплещут? Это премируют ударников. Все веселые, все радуются... Будет другой, более удобный случай, и мы попросим вас рассказать.

Но Курбан-ата заупрямился. Тогда Новикова предложила старику, чтобы он ей рассказал об этом, и пообещала поместить его рассказ отдельной главой в книге о кишлаке калсанчей.

Официальная часть собрания кончилась. Все пачали поздравлять премированных, в зале и фойе стало шумно.

Вскоре начался концерт кружка самодеятельности

колхоза «Кошчинар». Нашлось много певцов и танцоров и среди зрителей, желающих выступить, концерт затянулся.

Курбан-ата, услышав от кого-то, что Новикова уедет рано утром, настойчиво потребовал от Урмапджана, чтобы тот сейчас же устроил ему беседу с пей. И хотя Новиковой очень хотелось послушать концерт, она, не желая обидеть старика, решила тут же выслушать и записать его рассказ.

Концерт закончился только поздно ночью. Мужчины и женщины, парни и девушки хлынули из клуба на улицу и группами начали расходиться в разные стороны, в направлении Кошчинара, Бакакуруллака и Кугазара, раскинувшихся вприду, по берегу реки, которая при лунном свете сверкала молочной белизной. Молодежь уходила с песнями. Старики и старухи, вспоминая свои молодые годы, подшучивали друг над другом и шли медленно, опираясь на палки.

2

Канизьяк должна была почевать с Марней Федоровной, но ей сначала пришлось зайти домой. Новые туфли на высоких каблуках так жгли ноги, в них было так неудобно ходить, что она решила переобуться. Сидыкджан положил на плечи головку Насибали, уснувшего на руках тетушки Анзират, Канизьяк взяла за руку Хашимджана, и они двинулись в Бакакуруллак.

Тетушка Анзират, словно только она одна присутствовала на концерте, всю дорогу пересказывала, как танцевали, что пели.

Канизьяк сменила туфли, и Сидыкджан пошел ее провожать. Чтобы сократить путь, они шли верхней дорогой, пролегающей над Кошчинаром. Люди еще не спали, молодежь продолжала веселиться. Где-то вдали слышалась песня девушек:

В райсовете — настезь дверь:

Все туда спешат теперь.

Девушкам страны Советской

Бай не страшен — жадный зверь.

Канизьяк остановилась, прислушалась. Песни раздавались с той стороны реки. От берега к берегу легла от луны светлая, переливающая серебристой рябью дорожка.

Подлети к нам, самолет,
Позамедли быстрый ход:
Мы к тебе письмо прицепим,
В Кремль оно скорей дойдет.

Сидыкджап, задумчиво глядя на лупнущую дорожку, сказал:

— Смотрите, Капизьякхон, как красива река ночью. Раньше я почему-то этой красоты не замечал.

Капизьяк глубоко вздохнула.

— Да, Сидыкджап-ака,— также задумчиво ответила она,— многого мы не замечали раньше. А теперь вот и мы видим все красивое...

Они двинулись дальше. Но не прошли и полкилометра, как Сидыкджап опять остановился и восторженно воскликнул:

— Огни! Электричество!

Вдали за рекой горело бесчисленное множество огней.

— Верно, электричество!— радостно отозвалась Капизьяк.— Это колхоз «Янги Хаят» пустил гидростанцию.

На дороге показались темные силуэты двух человек, которые быстро приближались. Заметив их, Капизьяк схватила за руку Сидыкджана:

— Кто-то идет... Сойдем с дороги, спрячемся, Сидыкджап-ака.

Сидыкджап положил ей руку на плечо.

— Зачем?

— Как «зачем»? Что скажут люди, увидев нас вместе ночью?

— А что они могут сказать? Не бойтесь, теперь не скажут ничего дурного.

Но Капизьяк потянула его с дороги вниз, за кусты, и Сидыкджап не сопротивлялся.

Это были Курбан-ата и Ибрагимов.

Курбан-ата, припадая на одну ногу, шел так быстро, что Ибрагимов едва поспевал за ним. Они ветром промчались мимо куста, но Капизьяк и Сидыкджап услышали, как Курбан-ата с тоской произнес какое-то слово и несколько раз повторил его.

Скоро они скрылись из глаз. Сидыкджап и Капизьяк двинулись на дорогу.

— Чем это так расстроен отец? — с беспокойством проговорил Сидыкджан.

Капизьяк была озадачена не меньше.

— Не знаю... — тихо сказала она и вдруг заторопилась: — Пойдемте скорее, Сидыкджан-ака, спросим у Марии Федоровны. Ведь они все втроем выпили из клуба. Мария Федоровна предупредила меня, что Курбан-ата будет ей что-то рассказывать, Рауф-ака — переводить, а она — записывать.

Когда они подошли к новому дому, Мария Федоровна стояла на террасе. Увидев Капизьяк, она спросила:

— По дороге никого не встретили? — и, не ожидая ответа, пригласила их в комнату. Она была сильно взволнована.

— Что с вами, Мария Федоровна, — спросила Капизьяк, — почему вы так на меня смотрите?

Мария Федоровна ничего не ответила на вопрос. Она то вставала, то садилась, то, заглядывая в блокнот, пыталась что-то сказать и не могла.

— Вы узнали бы своего дядю? — вдруг спросила она, и, страшно, на глазах у нее блеснули слезы.

В это время из-за двери послышался дрожащий голос Курбана-ата:

— Ханифа! Родная моя!..

В комнату быстро вошел Курбан-ата. Плача и улыбаясь сквозь слезы, он прижал к груди Капизьяк.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В конце декабря в одной из центральных газет республики появилась передовая статья под заголовком: «Ударники колхозных полей». В статье говорилось о передовых людях колхоза «Янги Хаят», «Коммунизм», «Ак алтын», имени Ленина и других колхозов Бухарской, Наманганской, Сурхандарьинской, Самаркандской и Ферганской областей Узбекистана, о методах сева, полива, обработки и сбора хлопка, созданных и создаваемых этими передовиками, а вместе с тем перед руководящими органами сельского хозяйства и деятелями науки ставилась задача — всемерно помогать ударникам, опытным и новаторам

колхозных полей, создавая все условия для обеспечения успеха их борьбы за высокие урожаи.

Эта статья была приурочена к открытию в областном центре совещания ударников хлопковых полей.

Канизьяк, которая теперь стала Ханифой Усмановой, никогда не думала, что ее опыты с ветвистым хлопчатником дадут такие результаты и что успех ее бригады превратится в такое большое событие. Ее не только послали на областное совещание ударников, но избрали в президиум этого совещания. В перерыве, когда ее окружили фотографии и корреспонденты газет, она сильно смутилась. Потом, овладев собой, она рассказала о парторге Урманджане и агрономе Ибрагимове, которые подхватили ее мысли о ветвистом хлопчатнике, об Иване Петровиче, который перевел неумелую практику в научный опыт, о рядовых колхозниках — членах ее звена, работавших на опытном участке, и, перечисляя имена этих колхозников, назвала и Сидыкджана Сахпбджанова.

Эта беседа была напечатана в областной газете, а через два-три дня на имя Сидыкджана в колхоз «Кошчинар» поступили сразу три приветственные телеграммы: одна — от брата и матери, другая — от председателя правления колхоза в Бахрабаде, Саттаркула, и третья — от бывшего кучера Сабирджана-кары Хайдара-али, который стал председателем сельсовета как раз в том кишлаке, где проживал Зуннуп-ходжа.

А в середине января бывшие капсанчи увидели в одном из московских журналов большой очерк Марии Федоровны. В очерке рассказывалось о кишлаке Капсанчи того времени, когда земля и вода были в руках князя и ишана, о самих капсанчах, которые, как рабы, трудились на паразитов, а сами влачили жалкое существование — и досыта не наедались и с голоду не умирали, о Фарманкуле и его жене, которые героически погибли за Советскую власть во время гражданской войны, и, наконец, о нынешних людях колхоза. Довольно много места в очерке заняла повесть о Ханифе, дочери героев гражданской войны, и старике Курбане — Мария Федоровна трогательно описывала их встречу.

Закир-ата, прослушав очерк Новиковой, пасунил брови и несколько обиженно проговорил:

— Пусть будет долгой ее жизнь, все у нее хорошо, обо всем она написала так, будто своими глазами видела,

но все же есть недостаток — зачем надо разносить на всю страну, что я был царем у князя?..

Свадьба Ханифы и Сидыкджана должна была состояться после распределения колхозных доходов. Но за несколько дней до отчетного собрания колхозников уста Туляган посоветовал отложить свадьбу на февраль, когда предполагалось пустить колхозную электростанцию. Совет был дельный — какая же свадьба без огней?

Впрочем, такое решение соответствовало и желанию жениха и невесты, ибо после распределения доходов у них оказалось очень много забот. Вначале им казалось, что самое большое и важное дело — это свадьба, но на «совещательном ужине» в беседе с друзьями выяснилось, что до свадьбы надо еще переехать в новый дом, а дом требовалось обставить всем необходимым.

Урмаджан высказался по этому поводу так:

— Радость и веселье в доме должны быть не только в день свадьбы, но и каждый день после свадьбы, — и предложил сократить издержки на угощение почти в три раза. Прибавив к сэкономленной таким образом сумме еще столько же, можно было приобрести новую обстановку для нового дома. А мебель и многие из вещей надо было доставать в районном центре и в городе.

Жениху и невесте пришлось немало побегать по магазинам. Сидыкджан шуточно говорил Ханифе:

— В те дни, когда я стал ударником, я удивлялся тому, что одному человеку, оказывается, под силу столько работы. А теперь меня удивляет другое — неужели человеку, для того чтобы жить по-человечески, требуется столько вещей?

После того как все необходимое было закуплено и перевезено, Сидыкджан поехал за матерью в Бахрабад.

Он часто навещал ее и уже однажды намекнул ей, что намерен жениться; она сначала возражала против вторичной женитьбы сына, а когда он в последний свой приезд определенно сообщил о предполагаемой свадьбе, она сказала:

— Воля твоя, сынок, как хочешь, так и поступаешь. — По-видимому, она поверила, что сын ее нашел в Кошчинаре свое счастье, и внезапно изменила свое отношение к будущей невестке. С тегушкой Аузират она уже заочно подружилась, а на свадьбу сына даже начала откладывать кое-что из своего заработка в колхозе.

Когда Сидыкджан пригласил мать на свадьбу, тетушка Хадича, быстро собравшись, захватила с собой подарки для тетушки Анзират, Хашифы, Хашимджана и внучонка Насибали и отправилась в Кошчипар вместе с сыном.

Сидыкджан долго скрывал от матери, что Шарафат подбросила ему ребенка, но теперь скрывать это уже не имело смысла, и он рассказал все.

Выслушав сына, тетушка Хадича тоже кое-что припомнила. Оказалось, что летом Шарафат явилась к ней и весь двор перевернула вверх дном. Кипулась было и на свекровь и побила бы старуху, если бы не подоспели соседи.

В Кошчинаре Хадича вместе с тетушкой Анзират, призвавшей на помощь соседок и близких знакомых, почти две недели работали не покладая рук, чтобы приготовить все для свадьбы: шили одеяла, подушки, готовили свадебные подарки для всех, кого полагалось одаривать, украшали и убирали дом «по-новобытному», расспрашивали знающих людей, как проводится «красная свадьба», советовались с Ибрагимовым. Курбан-ата с резвостью юноши бегал с разными поручениями, стараясь во всем помогать старухам.

Тем временем колхозная электростанция была закончена, и открытие ее назначено на второе февраля. Правда, уста Туляган говорил, что «авторитет» электростанции Кошчинара сильно подорван тем, что в соседнем кишлаке открылась более мощная, которая должна была дать энергию десяти близлежащим колхозам. Но хотя кошчинарцы и смотрели на свою маленькую электростанцию, оборудованную на месте старой водокачки, как на ишака, который может служить, «пока не подрос жеребенок», все же на открытие ее в Бакакуруллак собралось много народа.

Сыпал мелкий колючий снежок.

Бутабай открыл митинг. Урмаджан произнес короткую речь и поздравил кошчинарцев с лампочкой Ильича. Бутабай махнул рукой — и по всему Кошчинару вспыхнул электрический свет.

Теперь навеки была изгнана темнота с улиц старых и новых кишлаков, из дворов и домов. Все кошчинарцы — родственники, друзья, соседи, взволнованные и радостные, ходили из дома в дом и поздравляли друг друга.

Свадьба была назначена на воскресенье. За два дня до свадьбы Сидыкджан поехал в районный центр, чтобы

сделать последние покупки. Проезжая мимо райисполкома, он увидел огромного рыжего коня Зиядахон.

Сидыкджан зашел в райисполком. У дверей кабинета Мавлянбекова толпились сотрудники райисполкома и, вытягивая шею, заглядывали в полуоткрытую дверь. Зиядахон с кем-то разговаривала по телефону. Увидев Сидыкджана, она бросила трубку на рычажок и нетерпеливо спросила:

— Ханифа... Ханифа не с вами?

Сидыкджан не успел ответить, как она схватила его за руку и потащила в кабинет. Сотрудники расступились, давая пройти.

Не понимая, что происходит, Сидыкджан с волнением переступил порог кабинета.

Там были Мавлянбеков, Бутабай и незнакомый старик в русской одежде — крепкий, с большой белой бородой, закрывавшей его широкую грудь.

— А вот это и есть Сидыкджан Сахибджанов! — сказал Бутабай.

Старик встал, положил в пепельницу трубку, которую курил, и удивленно, сразу повлажневшими глазами посмотрел на Сидыкджана. Потом широко развел руки и, обнимая его, сказал на чистом узбекском языке:

— Не опоздал на вашу свадьбу...

Бутабай, увидев растерянное лицо Сидыкджана, громко расхохотался.

— Это Усман-ата!.. Что, не узнаешь своего тестя? Отец Ханифы! Твой тесть!

Сидыкджан снова обнялся со стариком.

Через несколько минут они поднялись, чтобы отправиться в Кошчипар. Кажется, все сотрудники райисполкома вышли на улицу. У всех на устах были имена Канизьяк-Ханифы, Курбана-ата, Новиковой...

Усман-ата шел размеренным шагом, обнимая за плечи то одного, то другого, жал им руки.

У подъезда их ждали кони.

Зиядахон выехала вперед, и все двинулись вслед за ней.

По мере того, как сокращалось расстояние между ними и Кошчипаром, Усман-ата волновался все больше. При мысли о том, что приближается момент, когда он увидит свою дочь Ханифу и брата Курбана, он испытывал небывалую радость, и только где-то в уголке сознания мелька-

ла мысль, что эта радость могла бы прийти несколько раньше. Ему хотелось и смеяться и плакать от этой огромной радости, которая не оставляла его с того момента, как он прочел очерк Марии Новиковой.

Всю дорогу он говорил без умолку. Припимался рассказывать то о случае с юзбаши в Бувайде, то о том, как он был сослан в Сибирь и как в шестнадцатом году услышал от одного человека, прибывшего из Бувайды, об исчезновении семьи и брата, то о своем участии в гражданской войне в Сибири, где он нашел вторую родину и работал теперь председателем райисполкома в Новосибирской области. И несколько раз повторил, как тепло принимала его Мария Федоровна в Москве и как жалела, что не могла поехать вместе с ним на свадьбу Ханифы и Сидыкджана.

Когда всадники въехали на мост, перекинутый над каналом, вдали между белыми домами на возвышенности и по берегу реки зажглись бесчисленные огни.

— Наш колхоз! — сказал Сидыкджан.

Усман-ата, пятанув поводья, остановил коня.

— О-о, — восхищенно протянул он, — неужели так красив кишлак капсапчей?

— Эге! — весело отозвался на его слова Бутабай. — Когда-то вот так же я смотрел отсюда в сторону нашего темного кишлака и думал: «А где же кишлак? Да ведь это развалины старого кладбища!»

— А так оно и есть, — сказала Зиядахон. — Ведь это сверкает огнями наш новый кишлак — Кошчинар!

— Наша новая жизнь! — добавил Сидыкджан.

Усман-ата задумчиво произнес по-русски:

— Да, жить стало лучше, жить стало веселее...

И, не в силах выдержать последних минут ожидания, он пустил коня крупной рысью по новой широкой и ровной дороге.

Вдали радостно сверкали огни Кошчинара.

1951—1952